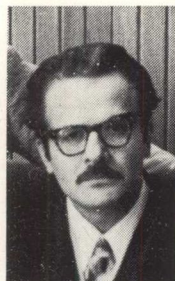


КОНТИНЕНТ 21

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

И, может быть, в том, что именно в Полагаю необходимым предать глас-
России... с каждым днем множится ности случай с Богданом Ребриком —
число людей, про- он достаточно ха-
отивопоставляющих рактерен, но не
тотальному наси- все осмеливаются
люю лишь силу рассказывать о
своего духа, — мо- том, как их били,
жет быть, именно тогда как Богдан,
в этом высший мой многолетний
пример для истин- сокамерник, сам
ных поборников продиктовал мне
справедливости во подробности...
всем мире...

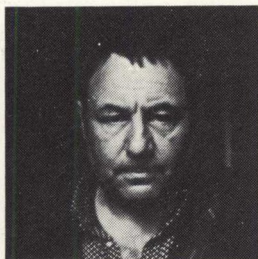


Владимир
Чернявский



Эдуард
Кузнецов

...олигархия функционеров — конечно, не движение к демократии, как
многим хотелось бы. Ведь сталинизм — это не просто прихоть или ошибка
Сталина. Это историче-
ски сложившаяся ситуа-
ция, при которой функ-
ция управления такова,
что кардинальные изме-
нения изнутри аппара-
та невозможны. Конеч-
но, сейчас один функ-
ционер не может схва-
тить и бросить в засте-
нок другого, но все вме-
сте они могут это сде-
лать с кем угодно; и
если не всегда поса-
дить, то затравить, за-
плевать, заставить эми-
грировать или умереть.
Терроризм продолжается,
просто личный тер-
роризм Сталина заме-
нен терроризмом ма-
шины, создателем кото-
рой он считается.



Эрнст Неизвестный

Литовскому народу выпало немало С какого-то момента материалы от
страданий — такова уж воля Прови- ходоков стали преобладать в доку-
дения. Заботясь только о будущем ментах Группы... каждое обращение
своего народа, в Хельсинкскую
мечтаю о том, что- группу в советских
бы никогда боль- условиях есть акт
ше литовцы, не борьбы за граж-
стреляли в невин- данские права —
ных и беззащит- свои или своих
ных... единомышленни-
И тут главная роль ков. «Ходоки» —
должна принадле- тоже правозащит-
жать Церкви. ники...



Антанас
Терляцкас



Людмила
Алексеева

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, P.O.B 7433, Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 200 16, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

21

Издательство «Континент»
1979

СОДЕРЖАНИЕ

Эрнст Неизвестный — Три фрагмента. Главы из книги	7
Михаил Еремин — Стихи разных лет	34
Валерий Левятов — Земную жизнь пройдя до середины...	39
Стихи украинских и польских поэтов. В переводах Н. Горбаневской	71
Гелий Снегирев — «Как на духу...»	89
Юзеф Алешковский — Песни	146
Кирилл Косцинский — Наброски к будущей книге	154
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Людмила Алексеева — Юрий Орлов — руководитель Московской Хельсинкской группы	177
Андрей Григоренко — Поиски взаимопонимания	204
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Антанас Терляцкас — Еще раз о евреях и литовцах	213
ЗАПАД — ВОСТОК	
Тьерри Вольтон — Париж — Москва или Париж под Москвой?	227
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Эдуард Кузнецов — В защиту Богдана Ребрика	241
Уолтер Рейч — Мое мнение	245
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Виктор Тростников — На берегу Океана Истины	259
ИСТОКИ	
Владимир Чернявский — Довод слабых. К истокам терроризма	281

СПОРТ И ПОЛИТИКА	
Эммануил Штейн — Кентавровы шахматы	305
ИСКУССТВО	
Вадим Нечаяев — История Оскара Рабина	323
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Виолетта Иверни — По ту сторону смеха	339
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	361
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
В. Бетаки — Памяти Ходасевича	365
Сергей Юренъен — С ответственностью за будущее	370
Эмиль Коган — Удав и ножницы	375
Майя Муравник — Сохранить для России...	382
КОРОТКО О КНИГАХ	387
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	399
НАША АНКЕТА	
Интервью с Андре Глюксманом	407
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

ТРИ ФРАГМЕНТА

Главы из книги

I

Красненькие и зелененькие

Как-то мой приятель — не маленький аппаратчик ЦК — выручил меня, взяв билет на самолет в своей кассе, что в обычной сделать было невозможно в этот день. Он просил прийти к концу работы на Старую площадь, к зданию ЦК, и подождать его, поскольку он может задержаться.

Так и случилось. Кончился рабочий день, и из дверей посыпались люди. Моего приятеля среди них не было, и, поскольку приходилось ждать и, по возможности, не скучать, я начал рассматривать единый мозг страны, вываливавшийся из ячеек кабинетов и рассыпавшийся в отдельных особей.

Но неожиданно для себя я заметил, что это множество людей не воспринимается мной как обычная толпа, имеющая персонализированное многообразие. Это сытое стадо было единообразным. Передо мной проходили инкубаторные близнецы с абсолютно стертыми индивидуальными чертами. Разница в весе и размере не имела значения.

Такое огромное количество внеиндивидуальных масок, костюмов, жестов буквально ошеломило меня. Но постепенно я начал их дифференцировать. Я увидел, что эти люди, отпущенные с работы и вываливаемые лифтами с этажей на улицу, различаются — но не персонально, а группово, как две породы одного вида.

И для себя я обозначил их как «красненьких» и «зелененьких».

«Красненькие» — как правило, крестьянский тип людей (тип грубого крестьянина, а не ладного и аристократического мужика). Хорошие костюмы сидят на них нелепо; пенсне, очки — все как будто маскарадное, украденное, чужое. Они как-то странно и неестественно откормлены. Это не просто толстые люди, что нормально, — нет, эти люди явно отожрались несвойственной им пищей. Они как бы предали свой генотип. Видно, что стенически они призваны работать на свежем воздухе и что их предки из поколения в поколение занимались физическим трудом. Вырванные из своего нормального предназначения, посаженные в кабинеты, они стали столь же нелепыми, как комнатная борзая. Эти люди — «красненькие» в прямом смысле слова. Их полнокровие неестественно и не ощущается как здоровье. На щеках у них играет утрированный багровый румянец. Они не знают, что делать со своими странными, отвыкшими от работы руками, распухшими, мертвыми, напоминающими ласты. Плоть, раскормленная сверхкалорийной пищей и не усмиряемая полезной деятельностью, разрослась: всего у них много — щек, бровей, ушей, животов, ляжек, ягодиц. Они садятся в машину так, как будто их мужские гениталии мешают им, но при этом не теряют карикатурного достоинства. По всему видно, что они-то и есть — начальство.

А вот и «зелененькие». Поначалу их трудно отличить в этой однорожей толпе. Но, присмотревшись, ты замечаешь, что часть близнецов обладает бóльшим воображением в жестах и поведении, и уже по одному этому видно, что это какие-то затруханные интеллигенты, которым никак не удастся достичь стенического совершенства «красненьких». И как ни скрывай — видно, что ты из университета, из журналистов, из философов или из каких-то там историков, — в общем,

оттуда, откуда настоящий человек появиться никак не может. И даже если они достаточно красны, то гармонию нарушают красные *от работы* глаза, что резко отличает их от незамутненных никакой мечтой, прозрачных глаз красненьких. Даже и не заглядывая в секретные списки, понятно, что «зелененькие» — референтский аппарат. У них, у «зелененьких», явно испитой вид (что, конечно, не свидетельствует о том, что «красненькие» пьют меньше).

Они, «зелененькие», в сравнении с каменной повадкой «красненьких» — юрки, нервны. И против киноvari «красненьких» они бледноваты, красны недостаточно, хотя едят ту же пищу; но эта пища не идет им впрок.

«Красненький» потому так победно красен и спокоен, что он создан для того, чтобы принимать всегда безупречное решение. Он принадлежит к той породе советских ненаказуемых, которая может все: сгноить урожай, закупить никому не нужную продукцию, проиграть всюду и везде, — но они всегда невозмутимы, ибо они — не ошибаются. Они просто по социальным законам не могут ошибаться. Эта беспрецедентная в истории безответственность целого социального слоя есть самое крупное его завоевание, и совершенно ясно, что они скорее пустят под откос всю землю, чем поступятся хоть долей этой удивительной и сладостной безответственности.

Они безнаказанно могут заплевать и испакостить нужнейшие стране научные тенденции и открытия, произведения литературы и искусства, составляющие гордость нации.

И они же — даже лица все те же, не другие, — как только жизнь докажет их неправоту и правоту затравленных ими людей и идей, — будут присутствовать и произносить речи на юбилеях и похоронах мучеников культуры и искусства.

Они присвоят себе заслуги замученных и наградят друг друга за дела тех, кого они убили.

Они украшают друг друга орденоскими побрякушками и регалиями.

Они поздравляют друг друга с наградами.

Они восхищаются друг другом.

Они косноязычны — но они говорят, не переставая. Только они говорят, остальные молчат. У них — радио и телевидение, у них — газеты, у них — кино.

У всех остальных есть одно только занятие: вкалывать за них и благодарить их за то, что они пока не отняли хотя бы воздух.

Они требуют, чтобы все без исключения восхищалось ими.

Они довольны — и правы в своем довольстве: когда они говорят «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» — они не врут. Где, когда, в какую эпоху люди, обладающие такими качествами, могли получить так много? И не поплатиться при этом за глупость и хамство, нерадивость и расточительность — да просто за общее и несомненное безобразие собственной личности?

История — не невинная девица, было в ней много злодеев и садистов, но столь тотально-бездарных победителей, я думаю, не было никогда.

Поскольку «красненький» от природы безгрешен, никакой намек на компетентность ему в принципе не нужен. Кроме того, если ему и приходится выбирать, то из двух простейших вариантов: ДА и НЕТ. И ДА и НЕТ разработаны референтским аппаратом, и ДА и НЕТ одинаково научно обоснованы. Кроме того, по законам групповой безответственности, по законам аппарата, частью которого они являются, «красненькие» функционируют не индивидуально, и как только некое определенное количество «красненьких» зажглось как ДА или как НЕТ — принимается решение.

Единство и равнобездарность «красненьких» гарантирует их стабильность, что бы ни происходило со страной по их групповой воле или групповой летаргии. Любое движение такого огромного тела, такой огромной массы, как СССР, порождает событие, называемое или кажущееся историческим, и наделяется часто смыслом, о котором многочисленные виновники этого события даже и не помышляли.

Уже в силу реакции мира на любой их полудремотный, полуосознанный поступок, у «красненьких» возникает реальное чувство значительности и безошибочности принимаемых решений. «Красненький», пока не снят, всегда в выигрыше. Время идет, события развиваются, и само сидение «красненького» в своей ячейке-кресле уже есть победа. А победителей не судят.

Представьте себе, что генерал А выиграл бой по своей схеме. Этим как бы механически подчеркивается, что схема генерала Б была порочна и неверна. Но почему же? Ведь схемы генерала Б никто не пробовал — может быть, она была целесообразней, может быть, она была оптимальной! Но историю не переиграешь, и генерал А навсегда остается победителем, а генерал Б — неудачником.

Итак, «красненькие» никогда не ошибаются, ошибаются только «зелененькие». «Зелененькие» — это те, кто мычание «красненьких» должен превратить в членораздельную речь. Те, кто должен угадать их желания, но сформулировать их так, чтобы коллективный мозг признал формулировки своими, как если бы «красненькие» сами их создали. Чудовищная работа, неблагодарная, бессонная, — и, ко всему, по тем же муравьиным законам аппарата она перестает быть творческой.

Один «зелененький», бросив свою собственную фразу в ворох фраз других «зелененьких», теряет ее; потом они все вместе всё это мусолят, и в этом общем вареве никто уже не знает, где начало, где хвост его

мысли и фразы. Я не знаю, есть ли действительный смысл в их работе, но когда я слушаю выступления главных «красненьких», то для меня совершенно очевидно, что слова, который «главкрас» не может выговорить, вписаны его «зелененькими», но общий смысл, конечно, соответствует интересам «красненьких».

«Зелененькие» страдают множеством аппаратных комплексов. Им всегда кажется, что они лучше, чем «красненькие», знают, что нужно делать для успеха и благополучия «красненьких», — что, разумеется, неверно, ибо именно «красненькие» — величайшие мастера знать собственные выгоды!

«Зелененькие», даже обладая иногда серьезным влиянием, тем не менее, остаются париями партии, хотя для постороннего взгляда это может быть и незаметно. «Красненькие», даже провинциальные, даже находящиеся ниже по официальному рангу, относятся к «зелененьким» высокомерно, потому что способ их красненькой жизни, их карьеры строится по законам нормальным: от первичной партячейки до заоблачных партвысот. Они, «красненькие», — и есть внутренняя партия. Им свыше предназначено править всеми людьми, животными, лесами, реками, горами, прошлым и будущим страны. И, конечно же, внешней партией. И если «зелененькие» и дорастают до уровня «красненьких», то путем гигантских нервных издержек, путем отказа от многих своих личных привязанностей и интеллектуальных претензий.

«Красненькие» же спокойны. В отличие от «зелененьких», они неспособны к анализу общественных условий, элементом которых они являются. Им не приходится сомневаться и нет нужды от чего бы то ни было отказываться, они просто живут и делают карьеру по праву «красненьких». Конечно, нельзя считать, что «красненькие» всегда и обязательно глупее «зелененьких». Рефлексия, связанная с многознанием, —

еще не ум. Но в силу многих причин «зелененькому», прежде чем совершить то, что он считает подлостью, нужно оправдать это теоретически. Исторический детерминизм, диалектика и обветшалые догмы уже не дают ему возможности вычислить эффективность жертв, принесенных на алтарь прогресса, — он ищет новых догм, но — увы! — упирается в старые: государство, нация, империя и т. д., и т. п. Он грустен, потому что пессимист — всего только хорошо информированный оптимист. Информация порождает ворох мыслей, которые, даже быстро проходя, все-таки оставляют след в душе. Либеральная поза, застольное ухарство и цинизм — не спасение. Конечно, в свободное от работы время можно пить, что и делается.

«Красненькому» же для спокойствия и самоуверенности не нужен даже простой бытовой цинизм. Он поступает безо всяких там теорий — только так, как ему лучше. Он всегда уходит от дискомфортной ситуации. Амеба убегает от капли серной кислоты не потому, что она что-то о ней знает. Не разбирается в химии амеба. «Красненькие» исходят из самых простых предпосылок. Вся их философия укладывается в поговорку: «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Они делают карьеру, потому что знают: чем выше — тем лучше живешь, меньше работаешь и меньше несешь ответственности.

«Зелененькому» же, особенно с претензиями на какие-то остатки иллюзий или своей личности, — трудно. И они находятся внутри аппарата, как сложное существо внутри примитивного, но могучего и огромного одноклеточного, которое до поры до времени по своим биологическим нуждам терпит некоторые качества «зелененьких». Но рано или поздно эта гигантская амеба превратит их в состав своей ткани или просто выплюнет. Как сейчас общество, для того чтобы скорей превратиться в гомогенную недифференцированную массу, выплевывает в тюрьму, эмиграцию или

катакомбную культуру все, что отличается от повседневной и обязательной, законами предписанной серости. «Зелененькие» и приткие циники-интеллектуалы — просто временное отклонение, вынужденная тактика. В сложившейся ситуации ясно, что простейшее этой системе свойственной.

Самым неправдоподобным для нормального человеческого сознания является элементарность множества личных желаний, становящихся социальным явлением, которое приводит в движение эту машину. Масштаб последствий порождает иллюзию сложности и накручивает научные и псевдонаучные теории и термины, анализы и аргументы, навязывающие миру столь изощренную картину, что просто диву даешься. Почему любого насильника, который умудрился изнасиловать мир самым грубым и вульгарным способом, армия интеллектуалов непременно пытается изобразить великаном? Видимо, очень не хочется сознаваться в том, что нас часто насилуют пошлые и тупые карлики. Низ народного тела побеждает верх, но не в положительном смысле карнавала, а в самом прямом смысле. Задница разрослась, и, оставаясь задницей, заняла место всего остального, поэтому питекантроп неминуемо победит человека, крыса — питекантропа, а вошь — крысу...

Так я стоял и фантазировал у дверей самой огромной конторы мира, и мне стало жалко зелененьких людей, тратящих свой часто незаурядный ум и талант на эту страшную игру в бисер, и я почти увидел, как они вот-вот все начнут похрюкивать и встанут на четвереньки; я почти физически почувствовал, как их рассасывает это серое-серое здание, незаметно, день за днем, отнимая ум, инициативу, талант и в первую очередь — главное: человеческое достоинство.

От безликой толпы отделился человек с очень красным, полнокровным лицом, я сперва не узнал сво-

его приятеля — он был такой же, как все; но уже изда-
лека я понял: это «зелененький».

Москва, 1974

II

«Веселые поросята»

Очень часто западных людей — да и не только западных — вводит в заблуждение человекообразие современных советских деятелей государства, идеологии и культуры. Эти функционеры, если и не находятся на самом верху лестницы, часто занимают достаточно высокое официальное положение. Благожелательных западных партнеров по диалогу очень обогащает знание языков, литературы и приятное домашнее свободомыслие их относительно не старых собеседников (как правило, это люди среднего поколения). Многие западные наблюдатели видят в этом знамение изменений, якобы происходящее в самом управленческом аппарате.

Не находясь в плену подобной иллюзии, но и безо всякой предвзятости я дружил с некоторыми людьми этой категории. Мне очень скоро стало понятно, что связывать надежды на изменение структуры управленческого аппарата с наличием там таких личностей — часто незаурядных — беспочвенно. Скорее эти личности меняются в сторону, нужную аппарату, чем наоборот. Да и странно было бы думать, что можно изменить ход машины, находясь внутри нее и выполняя частную функцию, подобную функции крохотной, автоматически заменяемой детали кибернетической машины.

А система представляет собой машину, отлаженную машину. И места, занимаемые людьми, являются ячейками, лунками внутри машины, так что

работает место, а не человек, находящийся там. Человек может создать микроклимат внутри этой камеры, но сама система работает по законам машинерии, и всякий, кто пытается персонально на нее повлиять, вылетает из машины или уничтожается ею.

Сейчас, я думаю, машина еще более отлажена, чем во времена Сталина и Хрущева. Поэтому она и так некрасочна, и стабильна, и удивительно скучна. Действия этой машины могут поражать воображение, но если ее проанализировать — она окажется элементарной. Для ясности можно привести такой пример. Представьте себе очередь. Стоят в этой очереди генерал и поэт, стоят ребенок и слесарь, художник и красавица, стоят профессор и домработница. Но ведь не личные качества, биографии, судьбы и характеры составляют очередь. Очередь деперсональна; то, что составляет ее, происходит в промежутке между людьми — пространство, воздух между впереди и сзади стоящими содержит общественный договор, скрепляющий очередь.

Примерно такая же ситуация возникла в сегодняшнем советском обществе. Никто ничего персонально не решает, все «утрачивается». Вопрос поднимается вверх, уходит вбок, спускается вниз — т. е. решение проходит все так называемые «заинтересованные» инстанции, вентилируется, утрачивается, выясняется, снова вентилируется, — и по законам некой комбинаторики устанавливается порядок, принимается решение, родившееся в промежутке.

Но олигархия функционеров — конечно, не движение к демократии, как многим хотелось бы. Ведь сталинизм — это не просто прихоть или ошибка Сталина. Это исторически сложившаяся ситуация, при которой функция управления такова, что кардинальные изменения изнутри аппарата невозможны. Конечно, сейчас один функционер не может схватить и бросить в застенки другого, но все вместе они могут это сде-

лать с кем угодно; и если не всегда посадить, то затравить, заплевать, заставить эмигрировать или умереть. Терроризм продолжается, просто личный терроризм Сталина заменен терроризмом машины, создателем которой он считается. Конечно, работа советологов, пытающихся угадать развитие событий, исходя из оценок личных качеств руководителей, интересна, но навряд ли существенна без понимания того, что не это — главное. Главная же загадка лежит в принципах этой небывалой машины, где, по существу, нет личностей и даже нет мозгового центра в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современного аппарата власти. Поэтому так стабильна, так неизменяема эта система. Амеба, у которой жизненные центры — везде и нигде.

И так как люди с цивилизованными манерами являются частями машины террора, то, видимо, надо рассматривать *их функцию* внутри управленческого аппарата. Это неизбежно приведет нас к выводу, что поскольку они пока не отстранены от дел и выступают в качестве умных, элегантных и якобы свободомысленных собеседников, то это означает лишь, что именно в *этом качестве* они сегодня и *нужны* машине; но ни о каких существенных изменениях это не свидетельствует и свидетельствовать не может. Реальная суть их действий не отклоняется от целей их грубоватых учителей, ходивших в пиджаках первых сталинских пятилеток и не умевших говорить не то что «по-иностранному», но и на родненьком русском.

Эти мешковатые старики с масками добродушных обывателей, эти людоеды, боявшиеся собственных жен, до сих пор не научились словам «коммунизм» и «социализм» (видимо, в силу этого они и пережили сталинские чистки), но их «коммунизмов» и «социализмов» оказалось достаточно, чтобы держать мир за глотку. И их элегантные ученики, пере-

водящие «социализму» и «коммунизму» на все языки мира, щелкающие всеми красотами герметической культуры, всеми новейшими геополитическими терминами, так старающиеся выглядеть либералами, — служат (да иначе и быть не может) «коммунизме» и «социализме» в незамысловато-полицейском варианте своих учителей и наставников. Но при этом они искренне хотят выглядеть либералами. Они с наслаждением ведут культурные, свободомысленные разговоры, они хотят быть тонкими ценителями искусств — особенно они любят подарки от проклятых художников, они коллекционируют проклятую литературу и музыку. (Я сам с удивлением слушал песни запрещенного Галича на квартире у одного из помощников Брежнева. Но все это прodelывается, разумеется, при полном отсутствии свободомыслия в их реальных делах.)

Гений лицемерия широко и вольно распахивает здесь крылья. Как и у всякого достаточно широко распространенного явления, у него много причин. Пока отметим одну *психологическую*, и далеко не самую пустую. Вся эта публика находится в плену двойственной внутренней ситуации. С одной стороны, они получили права и привилегии русского дворянства и купечества (разумеется, в своеобразном, партийном, варианте). У них невероятно (по современным масштабам, а сейчас, я думаю, и по мировым) высокий жизненный уровень: пайки, дачи, услуги, относительно высокая свобода передвижения (во всяком случае, в порядке культурного обмена с заграницей они предлагают только себя), информации. Но, в отличие от «законных» привилегий дворянства и купечества, их привилегии — в прямом смысле противозаконны, поэтому они законспирированы, скрыты от народа. И ни одна из них не имеет конституционного оправдания. Это создает хотя бы на первых порах некоторую психологическую неловкость перед интеллигентским кругом,

из которого очень часто эти люди выходят. Ведь преподавание в школе и институте построено на уважении к традициям декабристов, Чаадаева-Радищева-Герцена, на традиции русского свободолюбия. И пока Молох революции пускал кровь, пока проходила борьба с оппозициями и врагами народа, в чад смерти и войн могло показаться, что все, в том числе и имущественное (разумеется, временное) неравенство, оправдывается диалектикой истории.

Но сейчас всем ясно, что *Бог революционных свобод в России умер*. И советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач, ее породивших, и имеющей одну цель: удовлетворение собственных постоянно растущих потребностей и бесконечное продление своего существования. И людям достаточно грамотным ясно, что сама непроницаемость, окостенение, невозможность творчества в рамках этой секты, невозможность ее изменения изнутри, ибо общественная функция ее такова, что она не может измениться, не разрушившись, — свидетельствуют о реакционности развития общественного процесса.

Но — нувориши партийной элиты, дети XX съезда, положившего, в основном, начало их карьере, — они привыкли пусть к куцей, но либеральной позе, столь привлекательной для нежных сердец. Эта поза вызвала к жизни либеральную гримасу в поэзии, литературе, кино и наложила несмываемую печать двойственности на целое поколение так называемых «деятелей культуры».

Особенно культивировала эту двойственность творческая интеллигенция. После смерти Сталина кое-что всплыло и выяснилось. Победители — хуже побежденных, убитые и проклятые постепенно становятся классиками, а убийцы из официально назначенных гениев превращаются в общественном сознании в то, чем они были с самого начала: в дерьмо. И по-

сколько страдание, как выяснилось, удел гениев, а успех в делах — удел дерьма, то стало модно страдать. В России, по словам Пушкина, любить умеют только мертвых. И потому весьма ангажированные советские интеллигенты, сидя за черной икрой и настоящей русской водкой (доступной только иностранцам, правительству и им) в прекрасных квартирах и дачах, плачут крокодиловыми слезами — так, как будто именно они и есть оскорбленные и угнетенные, а не оскорбители и угнетатели. Они хотят быть страдальцами, не будучи таковыми. Они хотят славы повешенных декабристов и одновременно — комфортабельно и вкусно прожить свою жизнь. И если переполненный доброжелательной благоглупостью иностранный гость попадет в эту среду, ему может показаться, что он присутствует на конспиративной сходке действительных борцов и диссидентов. А если заглянуть в души рассматриваемых персонажей, то заветная мечта их откроется, как на ладони: быть главой КГБ, но иметь международную славу и престиж Сахарова и Солженицына.

Естественно, в большой реальности им это уже не удастся, но в рамках домашнего театра, щедро оплачиваемого государством, они подменяют ряд действительных проблем мнимыми и при помощи зарубежных наивняков создают видимость социальной жизни, видимость относительной свободы высказываний, — и фиктивной постановкой проблем создают красочную вуаль, прикрывающую старческое безобразие системы, стремящейся к уничтожению любой творческой индивидуальности.

Но в свое время, во времена хрущевской оттепели, борцам «справа» и «слева» их борьба казалась социально содержательной. Еще бы! — как колыхались серые либеральные знамена, как противостояли им чугунные лбы старых, но еще стойких птеродактилей! Нет слов, чтоб описать кипение чувств и размах бит-

вы, например, уродцев из Союза художников с уродами из Академии художеств! Как бились разгоряченные сердца (а сердце у уродцев и уродов находится, как известно из древней литературы, у самого заднего прохода)! Вы и представить себе не можете атмосферу этих битв!

Да, история издала неприличный звук, как некогда Пантагрюэль, и породила уродов и уродцев. И время сейчас играет роль Панурга и заключает браки между ними, в результате чего народилось такое количество насекомых. Та историческая битва велась за святое святых — за ключ от сейфа, где деньги лежат. И выяснялось, кто важнее для государственной казны — серые из черных или серые из белых. Кто более достоин стать палачом духа, пребывающего в искусстве. Спор приобрел и теоретический размах. «Что такое социалистический реализм» — «сопли с сахаром» или «сопли с солью»? Решался научный вопрос, как должен выглядеть убийца в наши дни — страшно или сладко. Некоторое время художественная, творческая среда выглядела, как смешанный ансамбль дрессированных хищников: птеродактили, гиены и мандавошки. Но в конце концов всех временно победили либеральные «веселые поросята». Почему временно? — потому что по естественным социальным законам они сами очень скоро превратились в птеродактилей. Они доказали, что заплочных дел мастер может и подсезанивать, и подхемингузывать, и подкафкивать — без ущерба для идеологии. Они доказали, что могут лизать задницу власть имущим более квалифицированно и за меньшую плату; они доказали, что у них более острый нюх на врага и более быстрый бег за врагом. Как говаривал один из них: «Что-то эта работа мне нравится, надо нам к ней присмотреться, скорей всего в ней есть что-то антисоветское». Горький цинизм. Жалкий цинизм.

Я думаю, что круг таких людей уже составил стихийно сложившийся институт, взятый на вооружение

государством. Совсем как валютные магазины, валютные бляди; как комфортабельные лепрозории для приемов и оболъщения иностранцев, где грудастым переводчицам разрешено имитировать не только свободу взглядов, но и нравов — перед радостно удивленными гостями; где национальные меньшинства на всех языках страны говорят о свободе, пляшут и поют за иностранную валюту, которая так необходима государству, — делают то, что они давно уже перестали делать в собственных своих деревнях; где есть даже еврейский журнал.

В атмосфере лжи и камуфляжа появилось некое циническое братство, где простяга-душитель, сталинский птеродактиль в хромовых сапогах уже не подходит: он нецелесообразен в сложившейся ситуации. Ему может найтись место в провинции, но никак не на фасаде, обращенном на европейскую и мировую арену. Люди этого братства вездесущи — от политика до исполнителя эстрадных куплетов. Это «ученые», «журналисты», «врачи», «киноработники», «художники», непреременные участники многочисленных международных конгрессов, гости посольств, несменяемые «львы» всех раутов и вернисажей, где присутствуют иностранцы. Они узнают друг друга по какому-то чутью, по цинизму — «мы одной крови, ты и я»; и чем более ты двойственен, чем быстрее ты меняешь маску — тем более ты свой, тем больше тебе цена в этой теплой компании.

Эти люди делают карьеру внешне *вопреки* старым советским законам. Именно благодаря своей двойственности. Но никто не должен обманываться: они сейчас нужны. Такова реальная международная обстановка, она обязывает.

Некоторые из них, возможно, при определенной социальной ситуации займут действительную позицию свободомыслящих либералов — когда общество поощрит их к этому и если им самим это будет вы-

годно. Но время работает против них. И циническое братство двоемысленных, как плесень, возникшая в атмосфере оттепелей и детанта, — есть некое испытание, всего только половое созревание советского функционера. Это юношеский онанизм. Такое баловство допускается только до определенного уровня. Но если начинается подлинная карьера — не на вторых, а на первых ролях, — то тут уж двоемыслие невозможно. И хоть делай лоботомию, но будь, как все старшие: искренне смейся, когда все смеются; пой и пей, что поют и пьют все; ешь всё, что все едят, и хрюкай, когда все хрюкают. И тогда либеральные юношеские черты окостенеют, пышные губы рта-хохотальничка сложатся в жесткую и надменную щель, и подлинное, неподвижное социальное выражение, а не юркая меняющаяся маска, украсит твою отвердевшую, заматеревшую физиономию. Ты покинешь «референтский аппарат» и войдешь в святая святых. Из «зелененького» ты превратишься в «красненького».

III

Двор

Проспект Мира, 41. Обыкновенный день. Утро.

Нинка украла у матери дорогую брошку и выменяла на поллитра.

Ее брат Николай пригнал огромную машину-грузовик. Ему парк, где он работает шофером, разрешил стоянку во дворе по причине его болезни: он пьяница.

Сварщики с соседнего завода попытались продать мне вынесенный с родного государственного предприятия тяжеленный сварочный аппарат. Не продав, они, чтоб далеко не ходить, бросили его тут же, у меня на дворе, и начали клянчить пять рублей. Убедившись, что у меня их нет, они попросили бутылки, стоявшие

у окна, в надежде сдать их, получить деньги и опохмелиться.

Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосудики... Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и товарищи ищут деньги, чтобы опохмелиться. Без привычной утренней дозы алкоголя нельзя — невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жажды — его томил похмельный синдром. Этот синдром порождал массу историй — забавных и трагических. Собственно, вся история двора и вся биография его обитателей покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Время сплющилось и остановилось в алкогольном бреде: не было ни «вчера», ни «завтра», а было только — «сперва взяли банку на троих, я, правда, до этого — грамм двести, было, для почину, но, однако, не двести, а почитай, триста, ну, значит, раздавили еще по одной — ты считай, значит, приятель, уже по восемьсот на рыло будет, а тут Васька говорит — давай солнцедар, а по мне хоть мочу, лишь бы забирало...

...смеху полные штаны, я ему и говорю, а он мне — молоко на губах не обсохло...

...Нинка, впрочем, тоже стерва — тихонькая, а как где — она тут, а как у самой — днем с огнем не найдешь...

...Бог с ней...

...живем снова...

...мой дядя самых честных правил...

...Семен, может еще сообразим?

...а нам что — обос... и в стойло!

...орлы, взмахнем крылами...

...а сам с копыт?

...нет, брат, нет, брат, некультурно: отойди и блюй культурно, имей понятие, а то — на людей: культура, бля...

...говорят, повара уволили с работы. За что, ребята? Горячую кашу х... мешал. — Ух, ох, гы, га-га, бррр, — смеху-то, смеху — полные штаны...

...тут Сенька со спиртягой, его козырь всегда старше, а я не против и денатуратику, только гнуть его, братцы, так — должен отстояться, няша уходит вниз, в стаканчик — сухарик, выпьешь — нектар, сухариком заешь, во рту так чистенько-чистенько...

...как на улице Донской меня е... доской...

...приняли по одной, дают — бери, бьют — беги...

...теща у меня, ребята, теща — «мимо тещино дома я без дела не хожу, то ей х... в окно просуну, то ей ж... покажу»...

...однако, я вам скажу, неправы вы...

...у нас завсегда так...

...далеко еще, братцы, до коммунизма...

...ты меня уважаешь — я тебя уважаю...

...они — нас, я — его, мы тебя — ты нас...

...подрались маленько, потом я, он и даже...

...какая свадьба без стакана, какой еврей без жигулей, какая пьянка без Ивана, какой Иван без п....ей...

...эх, твоя татарская морда! — что? армянин? по мне, хоть китаец, лишь бы с бутылкой...

...эх, летали, как голуби, смеялись, аж ус....лись — ну хватит, робя, сачковать, на работу пора...»

И я, со своими своеобразными интересами, скульптурой, Данте, Библией, и музыкой, и поэзией, был погружен в размягченное, не доброе и не злое, а полудиотическое общество улицы, где находилась моя мастерская. Не окраина и не трущоба — всего восемь минут от Кремля.

Я пытался создать непроницаемость, отдельность, своего рода батисферу, но это было возможно только внутри себя самого. Я нуждался во многом — бронза, гвозди, доски, гипс, глина, камень и т. д., и т. п. Многие годы я — отторгнутый от официальных заказов скульптор — не имел возможности получать это у го-

сударства, единственного хозяина всех этих благ. Поэтому я был потенциальным покупателем неофициального рынка — и я стал центром притяжения и жертвой похмельных интриг, и поэтому вся алчущая масса населения тащила к моим ногам все, что могла, — большей частью, ненужные мне предметы и механизмы.

Чего только ни предлагало в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из рабочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовлетворить жажду и поэтому тянувшее из предприятий и контор все, что возможно! Мне предлагали женские дефицитные лифчики и трусы; чешские магнитофонные пленки; мясной фарш для пирожков; сложные электронные механизмы; ручного зайца; японские презервативы с усиками; лодочные моторы; золотую фольгу, украденную реставраторами кремлевских церквей; полуботинки хорошей кожи без подметок; ремни без пряжек и пряжки без ремней; дефицитный растворимый кофе; электронные лампы для телевизоров; иконы; типографский шрифт; драгоценный металл гарт; целлофановую пленку; туалетную бумагу; треножки для киноаппаратуры; значки, предназначенные только для иностранцев; всяческую рухлядь, украденную из дому: занавески, табуретки, этажерки, дамские чулки, платки, фотоаппараты, золотые монеты, корень жень-шень, морфий из аптек, шприцы, бинты, йод — и все за бутылку...

Иногда — бутылку дорогого и, видимо, краденого коньяку в обмен на большее количество водки. Причем интересно, что незадачливые купцы могли часами уговаривать меня купить ненужный мне товар, но мое предложение чем-либо помочь мне и за то же время заработать больше, чем выторговал бы, воспринималось как оскорбление, и умирающий от жажды купец, не жалея ни своего, ни моего времени, вместо того, чтобы за двадцать минут заработать нужную на бу-

тылку сумму, будет час тебя уговаривать, что тебе остро, жизненно необходимы, скажем, консервные ножи в количестве шестидесяти штук.

Торг сводится к следующему:

Я. Убирайся, мне этого не нужно.

ОН. Нет, Эрнст, ты не понимаешь, ключи — первый сорт, и все шестьдесят — за одну бутылку...

Я. Убирайся, ты мне надоел.

ОН. Нет, ты посмотри, какие ключи, абсолютно новые!

Доходило до рукопашной, очень часто назойливых купцов приходилось выбрасывать за дверь, но — увы! — все это снова лезло в окно. Обитатели двора поняли, что есть моменты, когда я не могу сопротивляться и отказать. Увидят, например, иностранную машину — значит, важный гость, ну и ломиться в дверь с шумом и грохотом: «Эрнст, дай на бутылку!» Ну и откупаешься, даешь — а что же делать? Ведь иностранец не поймет, если перед его глазами кому-нибудь морду начнешь бить! Сколько выдумки, сколько бесстрашия, сколько остроумия и нелепости порождало желание немедленно заполучить бутылочку — именно немедленно, а не через час, не через полчаса — сейчас, сию секунду; как говорится, вынь да положь!

Женька по пьянке прижал знакомую девчонку в телефонной будке и снял с бедняги часы — ясно, не затем, чтобы следить за быстротекущим временем, а выменять их на бутылку. К сожалению, он так и не успел совершить товарообмен и выпить, потому что через десять шагов его остановил милиционер, прибежавший на вопли огорченной девчонки. Не опохмелившийся Женька, как говорят, отделался легким испугом: за него хлопотал коллектив, он иногда красовался на доске почета как ударник коммунистического труда. Получил всего три года, но во дворе все уверены, что он освободится досрочно, да и в лагере Женька не пропадет — он хороший слесарь, так что и

в лагере насчет бутылки все будет в порядке: там начальству хорошие работники очень даже нужны, потому что начальство там на свою бутылку имеет именно с них.

Вот приходит пенсионер и приносит тюк копировальной бумаги и канцелярских скрепок — все это для хорошей канцелярии на год работы, и все это за бутылку. А если поторговаться — продаст и за рубль. У меня нет пишущей машинки, и мне нечего скреплять, но мне жаль старика, и я предлагаю ему сделку: если он уйдет сейчас же со своим товаром и перестанет мне надоедать, я дам ему три рубля. Он согласен, но ему хочется срочно выпить, поэтому он просит о любезности: пусть товар полежит у меня, а потом он его заберет. Бросив огромный тюк, загромоздивший мне прихожую, он уж потом не стал утруждать себя и тюк не забрал, пришлось его выбросить на помойку. Бедный он бедный — жена его работает в канцелярии, а там, кроме канцелярских принадлежностей, украсть нечего, вот она ежедневно и таскает домой копировальную бумагу и скрепки, чтобы откупаться от мужа, но, увы, это неходовой товар!

И действительно, все говорят, что «Сергеичу с женой не повезло», у других-то товар куда более ходовой! Например, одно время очень процветал негоциант, выносивший с государственного предприятия вкуснейшее варенье. Но дела его несколько испортились после того, как он по пьянке и благодушию выдал тайну транспортировки: оказывается, он сшил себе целлофановые кальсоны с завязками внизу, так что варенье, залитое внутрь кальсон на ноги и на интимные, скрытые от взоров охраны места, не вытекало. Многие, в том числе и я, по причине излишней брезгливости перестали покупать у него товар, а многие — нет, ели так или кипятили и этим убивали микробов, которые могли выпрыгнуть в варенье из разных срамных мест предпринимателя.

За окном мастерской шум. Это сыновья моего помощника, милого и непьющего инженера, опять объявили войну своей престарелой и больной мамаше. Два обалдуя по 35-38 лет вынесли ее во двор, на снег, на матрасе, и голую держат в одной рубашке, требуя, чтобы старуха выдала бутылку портвейна, где-то от них спрятанную. Соседи не вмешиваются, боясь огромных бугаев, я тоже — потому что понял: это бесполезно. Я уже как-то вызывал милицию, но, как только наряд приезжает, мамаша отрицает, что избита сыновьями, — боится их посадить. Впрочем, мне и моей помощнице кажется, что зря старуха боится: между всей этой публикой и столь же жаждущей бутылки милицией есть некое взаимопонимание, даже сговор. Но это уже другой разговор.

Но посмотрите, посмотрите! — сегодня стойкая и упрямая старуха победила мощных сыновей исключительно силой своего духа: несмотря на температуру и пытки, учиненные сыновьями, не сдалась; и прильнувшие к окнам болельщики увидели, как угнетенные неудачей и усталые обалдуи, которым надоело трудиться безрезультатно, бросили мамашу посреди двора и пошли, ссутулясь, искать счастья в другом месте.

Двор провожал их взглядом, в котором было двойное чувство: их жалели, так как вполне понимали, как трудно им с похмелья, но вместе с тем жалко было и избитую мамашу. Правда, некоторые — в основном, мужчины — говорили: «Ну что упрямится старая? Все равно налижутся в другом месте. Отдала бы — и дело с концом, жалко ей, что ли, бутылки?»

О бутылка, бутылка — символ жизни, вокруг которого крутится все, о бутылка — мера всего: это стоит столько-то бутылок, а это — столько-то... Как возненавидел бы двор какого-нибудь арабского шейха, если бы узнал, сколько он может купить бутылок за продаваемую им нефть! К сожалению, нефть в чистом виде, как известно, пить нельзя.

Вот ватага рабочих, ломавших соседний дом, обнаружила в подвале огромную бутылку чего-то — но чего? И как к местному интеллигенту, да к тому же еще пьющему, ко мне двинулась делегация, чтобы я их облагодетельствовал и определил — можно это пить или нельзя. Но, хоть у меня и высшее образование, хоть я и попиваю иногда, этого сказать я им все-таки не мог и посоветовал обратиться в аптеку. Но был найден гораздо более простой и совершенный способ: пошли к пивнушке и нашли добровольца, обладавшего смелостью камикадзе, прямо и честно все ему рассказали и предложили продегустировать, пообещав, что если он от первой не умрет, то разделит общую пьянку до конца, наравне со всей компанией. Сказано — сделано. Прямо перед окнами моей мастерской расположилась алчущая ватага во главе со смелым дегустатором, хватившим залпом стакан подозрительной жидкости, пахнувшей, однако же, вкусно — спиртом. Нетерпеливые собутыльники с радостью констатировали, что немедленной смерти не последовало, и выпитое, что называется, «прижилось» или «легло на кристалл». Просто и весело.

Чего только не пили в этом дворе! И денатурат под названием «Голубой огонек», и политуру, в которую бросали соль, чтобы самое клейкое ушло на дно; и тройной одеколон, и зубную пасту, разведенную с водой, и валерьянку, и зубной эликсир невкусного фиолетового цвета, — и ничего, сходило. Правда, не всегда.

На тех же ящиках перед моим окном умерли два человека, опохмелившиеся чем-то, не очень полезным для здоровья, и весь двор обсуждал, почему Петька погиб сразу, а повар, Петькин друг, не из нашего двора — из соседнего, еще несколько часов мучился. И пришли к выводу, что повар как-никак всегда ест и поэтому в желудке есть что-то, что помешало его сразу сжечь, а бедняга Петька, в общем, ничего не жрет,

а когда пьет — то и вовсе, поэтому жидкость «вытекла сразу через живот».

То же случилось и со стариком Зубаниным, отцом моего форматора Сергея Зубанина. Выпить у них, правда, было что, но старик попутал с похмелья бутылку, — да прямо из горлышка, да такого крепкого препарата, что как в глотку попало, так и ахнуть не успел — вылилось снизу наружу и потекло по полу.

Много, чересчур много можно рассказать по этому поводу. Вот так же погиб брат Зубанина, но не оттого, что выпил плохого, а просто, выпив, разгорячился и похвастался, что поднимет столько, сколько и десяти человекам не под силу (был он грузчиком). Взвалили на него — ну, его и раздавило.

Ох, много можно рассказать на эту тему! И все это было — проспект Мира, 41, строение 4.

Мои соотечественники знают, что я не говорю ни слова лжи — и с ними такое бывало, а если не с ними, то с их знакомыми, а уж недоверчивый иностранец если не верит, пусть попросит своих корреспондентов сходить по этому адресу и спросить, было ли все это или не было, и как там сынки Владимира Петрова живут, и что с Нинкой и ее братом, шофером Колькой, и что произошло с группой моих друзей-сварщиков во главе с бригадиром Папаней, принимавшей с утра, как обязательный школьный завтрак, по семьсот грамм портвейна на нос, — им еще и не такое расскажут. И, возможно, расскажут о двух старухах — удивительную русскую сказку...

О том, как жили-были две сестры. Обе не красивые девицы, а пенсионерки. Одна — парализованная, а другая относительно бодрая. И вот эта, другая, — относительно бодрая — хозяйничала, ходила за пенсией, в магазины, а другая по причине паралича лежала неподвижно. Жили они нелюдимо, к ним никто не ходил — смысла не было, ясно, что на опохмелку они все равно не дадут.

Жили они не тужили на своих пяти метрах и забыли уж, когда подали заявление на очередь на квартиру. Неожиданно привалило им счастье — дали им квартиру, которой они тридцать лет ждали. Но старухи заартачились, по каким-то соображениям не захотели уезжать. И инспектора к себе та, подвижная, не пускала — под предлогом, чтобы не беспокоили ее парализованную сестру. Дом опустел, уже выбили стекла в соседних квартирах, уже начали отключать газ и электричество, а старухи все не съезжают. Воинственная ходячая так просто и сказала: расцарапаю лицо, кто войдет на нашу территорию — хошь дворнику, хошь милиционеру.

Но в конце концов пришло время сносить дом, и тогда, несмотря на вопли старухи, ворвались все-таки туда милиционер и дворник с одним еще очень важным гражданином из райсовета. Запах больно нехороший был в комнате, не проветривалось, видно, тридцать лет — ровно столько, сколько квартиры ждали. Не проветривали — думали, наверное: вот новую получим — надышимся.

Но оказалось — дело не в этом. Оказалось, что на постели уже много лет лежала иссохшая мумия. Оказалось, что ходячая сестра, как умерла ее родимая, боясь лишиться пенсии на двоих, мумифицировала ее и много лет проспала с ней рядом. Удивительна научная хватка этой старухи: до сих пор ученые гадают тайну мумификации; говорят, что и Ленин-то — не мумия, а кукла, а вот у ней не сгнила сестренка! И удивительна выдержка этой старухи — жить с трупом, спать с трупом столько лет!..

Даже меня — привычного, тертого — эта история несколько подкосила. Завидуй, Хичкок!

Но обитатели двора отнеслись к делу просто: на пенсию-то одну не проживешь — помрешь, так что

же лучше — с трупом жить или самой мертвой быть?
Вот так-то... Нужда пляшет, нужда скачет, нужда пе-
сенки поет...

Нью-Йорк, 1977

НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст Иосифович — выдающийся современ-
ный скульптор. Родился в 1926 году в Свердловске. Окончил Ху-
дожественный институт имени Сурикова. В 1976 году эмигрировал
в США. Как прозаик выступает впервые.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Боковитые зерна премудрости,
Изначальную форму пространства,
Всероссийскую святость и смутность
И болот журавлиную пряность
Отыскивать в осенней рукописи,
Где следы оставила слякоть,
Где листы, словно платья луковицы,
Слезы прячут в складках.

1957

На болоте, как на лопате,
Держа окрестных сел дары,
Грабитель выплетает лапти
Из липкой солнечной коры.
На подберезовые листья
Ему прилечь, примерив лапоть,
Под вкус малиновый молиться,
Большого Бога заставляя плакать.

1958

Сохатый крест рогов, как идола,
Возносит над кустарником,
Корову не выигрывает, а выпиливает
Из самых нежных мышц соперника.
Гудит в юдоли трубный рог
И ранит бок до соли.
Вдыхают важенки пригожие
Жестокий запах отца и сына.

1959

Золотое перышко выпало из облака,
Словно колечко из наволочки.
Бабушкины сумерки в окна заболоченные
Барабанят острыми ягодами волчьими.
Над крыльцом опять золотой цепочкой.
Ноги светлым мячиком по ступенькам спрыгивают.
Каждая туфелька подобна красной шапочке,
Лукошку с белыми подарками.

1960

= 0

И дробь це больших прожекторов
Стоящих валит с ног на тень.
Подобный обескниженной этажерке,
Парит би-Планк над Т Ньютона,
Над часовыми, значительными как пожарные,
Над живородящими тополями,
Над белковым покровом России,
Библиотекой и футбольным полем.

1963

*Течет меж градом река быстрыми струями
В пространно тричисленны впадая устами
Море...*

А. Кантемир

Люблю грозу в начале мая...

Ф. И. Тютчев

Дождем омыты уличные жабры.
Насторожились лепестки и нити.
Гром-ау резвится пасынком грозы,
По тимпанальной коже барабанит.
Топорщит акварельные ресницы
Фасеточная колея — весенний клин,
Лоскут бывшего рукодельного наряда,
Базальтовой культуры манускрипт.

*Одна заря сменить другую
Спешит...*

А. С. Пушкин

В городских садках сирени нерест.
Сажены шалеют от безночья.
Тополі собой являют ряд
Превращений от скопца до роженицы.
Нет двоякодышащим деревьям
Полной кислорода темноты,
И ползут на ощупь в белый свет
Ветви их подобно дендробенам.

Зрю кумиры изваянны...

Г. Р. Державин

Подобно медной орхидее,
Кентавр о двух стволах
Воздушный корень изогнул,

Чешуйчатый и ядовитый.
Как между префиксом и суффиксом,
Змея меж Петрос и Петром. Вечнозеленый
(Не хлорофилл, а CuCO_3)
Вознесся лавровый привой.

1972

Беглец есть храм, подобный храмам
Таким, как осень, храм Спасителя*
И повесть про девицу Машу**.
Бежать вражды и лжи, бежать России,
Бежать грехов, гордыни и суда,
Чтоб наизнанку, словно рукавицу,
Темницу вывернув, припасть к стопам Того,
Чей храм сердца людей.

Задуманная как белоснежная лента
В пятнах мазута, бензина, солярки
Дорога, как сплюснутый ствол березы,
Местами, как раздавленная сорока.
Сугробы, утратившие кошачьи повадки,
Не крадутся, не притаились, не обернутся заносом;
Мост не прыжок, а шаги под марш, и только
Полынья еще вздрагивает, как засыпающий окунь.

1974

ЕРЕМИН Михаил — ленинградский поэт «поколения 56-го года». Его стихи распространялись в самиздате конца 50-х годов, были напечатаны в 3-м номере журн. «Синтаксис». Позднее Еремин продолжал писать стихи, почти никому не показывая их и не распространяя. Живет поденным литературным трудом — в основном, переводами.

* К. А. Тон

** А. С. Пушкин

Читайте в следующем номере «Континента»

Авторы «Метрополя» — в «Контитенте»

прозу

Фазиля Искандера

СТИХИ

Юрия Кублановского

комедию

Василия Аксёнова

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОИДЯ ДО СЕРЕДИНЫ...

МАРКСИЗМ

«Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор»...

...Не выйдет ... с человеческим лицом.

ПРИТЧА

Рылеев молил царя:

«Государь! Пощади моих товарищей. Они много пользы могут принести отечеству нашему. Это я вовлек их в преступную деятельность. Я один виноват. Казни меня, а их прости».

Не простил царь земной. Ни его, ни товарищей. Тот, который должен был быть милосердней закона.

А в подробности расписал всю процедуру. Что за чем должно идти, и какую музыку играть, и в какую форму солдат одеть, и кого первого вешать, и кого второго.

А через много лет взгрустнул Жуковскому:

— Как, Рылеев был поэт? Что ж никто не сказал мне об этом? Это бы смягчило его участь. И так бедна Россия талантами.

Бог ему судья.

Но верю, что за одну просьбу, за одну эту мольбу

простил Царь Небесный несчастного, восторженного раба Своего Кондратия Рылеева...

«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти».

* * *

«Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою; ибо делая сие, ты собираешь горячие уголья на голову его, и Господь воздаст тебе».

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных...»

Как близко и — какая разница!

ГОРЫ, СМОКОВНИЦА, ЗАКВАСКА, СЕМЯ

Гор мы своей верой не передвигаем. Стоят. Да что — горы! Какие горы? Тут не до хорошего — пить бросить, по бабам, куски себе лакомые из толкучки выхватывать...

А так — что ж? Что проку от нашего христианства? Чем мы уж так кичимся? Я знаю — это обидно, когда нас объединяют, ну и простите мне, я не буду объединять. Не вы, а — я, я согласен, пусть. Чем я уж так кичусь? Чтó я так чванюсь? О это христианское чванство!.. Да я в купели омылся, я причащаюсь, я — не такой.

А чем — не такой?

Может, смерти не боюсь? Не боюсь! Трубки себе искусственные вставляю, куски из себя вырезаю, лишь

бы пожить еще хоть часок на этой грешной земле, юдоли слез.

Или, может, я целоваться лезу, кто мне пакость сделает? Да. Мне вот недавно сказал один человек:

— Ты, — говорит, — личность! — Так я ему на шею бросился обниматься.

А другой говорит:

— Ты и плохой отец, и плохой писатель. — Так нет у меня теперь на земле хуже врага. Это за слова только.

И кровь я свою никому не отдам переливать. И добро б боли боялся, а то — не боли — неприятности, как будут вену протыкать. А я знаю нескольких нехристиан, которые кровь свою отдадут совсем незнакомым людям, даже не думая...

Да полно врать!

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют».

Ведь я всё, абсолютно всё нарушаю.

Сказано: «Любите врагов ваших», — а я и друзей-то любить не умею.

«Не заботьтесь о завтрашнем дне», — а я только и делаю, что о завтрашнем, послезавтрашнем и через десять лет наступающем дне забочусь.

«От взявшего твое не требуй назад», — а я и в долготу вообще не даю.

«Начальствующего в народе твоём не злословь», — а как я могу отказать себе в трогательном, безопасном, уходящем в глубь веков, свободомыслящем, неретроградном удовольствии остроумно, потихоньку похихикать над властью!

Онан-то, который семя свое контролировал, проклят был Богом и поражен, а что есть мои хитрости и предохранения, как не тот же онан?..

...И если б в борьбе уступил. Сунулся — а он мне плюхнул, и я — брык в грязь. А то ведь нет. Я всё себе сам, заранее разрешаю. Мне можно, я — рядовой. Заповеди, это если святым захотеть стать. Упаси Боже!

Нет, уж лучше я по рюмашечке, да по бабёшечке, зато ведь — со смирением! Не так ли? Уж этого у меня не отымешь? И когда с месячишко этак попою, не переставая, так мне наконец гнусно станет. Я рубашечку расстегну, и начну грудь царапать, и гаркну так, что с этажей прибегут:

«Боже, милостив буди мне грешному!!!»

И заплачу пьяными слезами. Вот она и молитва мытаря! Да за такие мгновения можно послезавтра все сначала начать с удвоенными дозами и грязнотой, чтоб раз в месяц по-мытарски лихо помолиться.

Вот так! Мера мытаря! На том стою. А большего мне (что делать?) не дано — я на земле последний. Блин, на который муки не хватило.

Ведь, что ни говори, хоть благодать не стареет, а все-таки тогда ее больше на нашего брата отпущалось. Им Спаситель что сказал?

«Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».

А я змею не возьму (а вы возьмете?). Меня уже раз кусала — правда, когда неверующим был... И больного я не исцелю...

Ведь я погибну?

«...ни блудники, ...ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые...»

Пить бы мне бросить! Я ведь понимаю, что вру про мытаря, но что я могу сделать? Тут и вера последняя глохнет. В крови, говорят, тела какие-то образуются, и ничем, кроме водки, их не задобрить. Христос мне Тело и Кровь Свои отдает, а из моей крови тела

эти выпить просят, в магазин посылают. И они побеждают, эти тела. Я иду в магазин, и не помогает причастие.

«Не обманывайтесь...» ...Я один, а их сколько, мне не победить.

«...но даже все священники мира не всегда могут отучить русского пьяницу от вина». Это еще когда сказано!

И если князя склонило к христианству, что веселие Руси есть питие, то куда мне. Надо мной такая толща, не пробиться мне наверх к воздуху.

Будто сию я трезвый на седьмое ноября в пьяной квартире, вся квартира пьяная, и у всех гости, тоже пьяные, и все галдят, ругаются, смеются, бродят по коридору, блюют, дерутся и целуются, и дверь загородили, а я один трезвый, и не выпустят они меня одного к трезвым людям, их много, они сильнее; так их много, а я один, что кажется уже, что трезвых людей нет, нигде нет там на улице, весь семимиллионный город пьян, и все против меня, и не выпустят они меня из пьяного города, и так их много, что кажется — весь земной шар пьян, нет больше трезвых людей, нет ни единого, и не выпустят они меня отсюда, потому что выпускать-то некуда.....

«И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще *не время было собирания смокв*».

Зачем же тогда собирать, если «не время»? Это безумие? Да, безумие.

Сын Божий безумно верил, что она так Его сможет полюбить, что себя превзойдет. От встречи с Ним она захочет совершить чудо, плоды принести не во время.

А Сын Человеческий так же безумно верил Богу, так же безумно знал, что тварь сама по себе ничего не может — против нее столько, — только не мешать

Ему вечными, нормальными, взрослыми прибаутками — что «так не бывает».

Это ребенок может поверить, что в какой-то год за осенью может снова наступить лето — он еще не окостенел десятками прожитых осеней, зим, весен, лет...

От меня Он ждет безумия — вот оно что! Я должен, если б я только мог, поверить, что могу превзойти самого себя, естественное естество, законы, силу этих тел в крови. Мне только поверить и *решиться* (преподобный-то Серафим что сказал, помнишь?), а сделает Бог.

Вон Петр поверил и *пошел*, а вспомнил, что «так не бывает», испугался и стал тонуть.

Веры совершенно безумной требует от меня Бог. До того безумной, что, если отрежут ноги, верить, что они могут вырасти, веры буквальной, что не только во времена Иисуса Навина Он останавливал солнце, но и сейчас при мне, при исполнении Его правды, если сто из ста, что я погибну, — это еще неизвестно, солнце может остановиться для меня, если Он захочет.

А тут смелость нужна — тоже безумная, ненормальная. Ведь первый-то шаг самому придется шагнуть, от опоры уверенной оторваться, а уж потом Ангелы понесут на крыльях своих...

Но у меня нет такой веры! Я — не христианин. И подозреваю... Потому что далеко не глупый вопрос Смердякова остается пока без ответа — горы стоят на своих местах, а мы (пардон, я) ... а я барахтаюсь на пьяных четвереньках, как пес лижущий.

Да мне насчет ног и солнца пока и не надо, не до того, зафантазировался, ну а это хоть я могу (тогда и пить бросить смогу)? — не верить самой жуткой, неопровержимой наследственности, точному и неопровержимому математическому анализу, карандашиком говорящему, что я смогу прокормить маленькую и не смогу большую и что благодаря этому карандашику

(будь он проклят!) я имею право решать, сколько моих детей будет жить, а сколько не будет, у Бога отбирая решение, сколько нас в семье и на земле будет.

Нет, нет и нет.

Я верю! Я правда верю! Но чем-то одним, умом, наверное, ну и немного волей. А надо, для той-то веры, которая плоды может принести в январе и саму Землю свергнуть, — верить всеми тремя.

«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все».

Ум и сердце чтоб верили, это не от меня, мне об этом только молиться, а воля — моя, решимость — моя, ибо только воля у меня свободна, а волю-то свою я не утруждаю.

И вот, если только я решусь пойти до конца, дойти до безумства, и буду молиться о вере сердца, и буду понуждать себя жить, как Он велел, с таким настроением, что отступать мне некуда, за Волгой для меня земли нет, и не буду бояться, что свиньи засмеют и потопчут, то Бог и даст победить, и никого тогда сильнее меня на Земле не будет... По вере моей, по силе молитвы моей, которая от силы воли — от силы желания.

А когда — не мое дело.

«Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю; и спит и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он; ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».

Только не надо разрывать землю — как там дела? И в зеркало смотреться тоже не надо. Всему придет время. Для каждого плода свое. Не наше свое, а Его свое. Он сам знает, когда Ему прийти к смоковнице искать плода.

Но и Он же знал, что человек не слушает. Зачем же тогда? Зачем и предупреждать человека было, чтоб не ел плода, если знал, что съест? Ведь совсем немного пройдет, и все полетит вверх тормашкой, брат брата убьет, и пошло-поехало.

Так замысел полюбил, что не мог остановиться? Но не мог Он полюбить плохого замысла, и не могло у Него быть плохого замысла. Не хотел лишать человека свободы? Так ведь если борьба за существование и «вся тварь мучается и стенает», так, наверное, лучше лишить?

Будем мы стоять и смотреть, как в петлю лезет, только из принципа свободолюбия, не посягнем ли мы на его свободу в этом случае, даже если его постучать придется?

А может, так?

...И говорит Серый Волк Ивану Царевичу:

— Ты жар-птицу бери, а золотую клетку не трогай, не слушаешь — беда будет.

Не послушался Иван Царевич. Как клетку золотую не взять, если лежит плохо, еще неизвестно, что лучше, птица или клетка.

И действительно пришла беда, взяли его за белые руки, скрутили и привели к царю. А царь велел ему достать коня златогривого — тогда отдаст жар-птицу с клеткой в придачу, а не достанет — его меч, а Иванова голова с плеч.

Куда не беда? Златогривые кони на дороге не валяются. Сейчас бы вернулся давно домой, лежал бы себе, полеживал. Царь бы батюшка его наградил, полцарства бы ему отсыпал. А теперь — ищи-свищи по всему свету, а под конец придешь без коня взмыленный, а тебе же еще вместо отдыха голову с плеч сымут.

Хорошо, пожалел его Серый Волк...

— Ты, — говорит, — коня возьми, а золотую уздечку не трогай, не слушаешь — беда будет.

А Иван-то царевич на золотые побрякушки падох был. Только зарябило у него в глазах золото — про все забыл, когда удача в рот лезет, мы про прошлое горе не помним, — схватил коня, схватил и уздечку.

И опять беда на него понадвинулась, смерть не за каменистыми горами, счастье было возможно, близко, — а тут ищи Елену Прекрасную, посвистывай, а она — одна в целом мире, ее голыми руками не возьмешь, это тебе не конь...

И что ж? Если б послушал Иван Царевич Серого Волка, то избежал бы многих бед и трудов, но досталась бы ему одна только жар-птица, да и то если б она в саду яблоки не воровала да волк коня не загрыз. Но он волка только и делал, что ослушивался, и много бед, трудов и страхов от этого претерпел, даже жизни от братьев лишился, но в конце-то концов у него оказалась и жена, какой не найдешь, и конь златогривый с золотой уздечкой, и жар-птица в красавице-клетке...

Но тут ведь вот что...

Когда я в семнадцать лет решил креститься, накануне — всю ночь не спал. То был уверен-уверен, а тут страхи на меня накатились: А может, зря все это? Может, ничего Там нет на самом деле, хоть как ни абсурдно, а нет. И другие мысли накатывали следом. Нет, есть-то есть, конечно, да только вдруг — мало что нам так хочется, что душа человеческая — христианка, — а на самом деле, тоже пусть хоть и абсурдно, а вдруг — Там всё не так и плевать на нашу душу, и стремление, и добро, — вдруг на Небесах истина в магометанстве или в буддизме, или просто в жестокости, а не в добре, или в совсем других, в нас неуместимых тригономомо-алгебраических и еще хлеще категориях. Потом и эти мысли уносились и набегали, как татары, третьи. Нет, конечно, всё так, и по-другому и быть не может. Не может душа врать, ибо она

так создана с добром в самой глубине, а ничего искусственного на той глубине не бывает. Лев летать не хочет, нет у него такого стремления, потому что это для него неестественно, как неестественно было бы для него питаться травкой и целовать антилоп, значит, для него естественно другое. А мы вот все, даже самые злые, все-таки понимаем, что жить надо по-доброму, и как-то оправдываем наше зло. Значит, для нас истина в добре. А раз истина в добре, значит, та религия истинна, которая учит «положить душу свою за други своя». А если б истина была в другом, то мне другая истина не нужна и бессмертие при жестокой истине не нужно. (Хотя эта мысль, как я сейчас, через двадцать лет понимаю, уже и от лукавого, потому что никаких «если», даже как в допущении от противного, тут нет и быть не может, потому что это самый сатанинский оборот «если бы», когда нас лукавый мечтательностью усыпить хочет, а я, всю свою прошлую жизнь рассмотрев, ведь убедился яснее всяких доказательств, как будто глазами Его увидав; но дело вот в чем, думал я, — раз хорошо человеку страдать, раз через страдание он в Царство Божие попадает, раз блаженны плачущие и раз «ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое» — так, может, из любви к ближнему надо ему не добро, а зло делать? Может, для спасения человеков ловцам человеков, власть имеющим, сознательно Лазарей плодить, чтобы лежали они у ворот их в струпьях и желали бы питаться крошками со стола их, и псы, проходя, лизали бы струпья их? Спасти таким образом человеков и самому потом быть прощенному за то, что Лазарей ко спасению привел?)

В ту ночь сатана вцепился в меня когтями, не желая отпускать уже, казалось, навечно принадлежавшую ему добычу (ведь я до этого, до веры, серьезно готовился к самоубийству, только откладывал на время, желая ничего не упустить на всякий случай — по-

лучше исследовать женские прелести и попробовать на вкус славу человеческую)...

Но мысль эта о зле во имя добра действительно может прельстить, и еще как.

Апостол предупреждал:

«Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъясляет гнев? — говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят и говорят, будто мы так учили. Праведен суд на таковых».

Зло остается злом. И если Господь милосердием Своим и всемогуществом может горькие плоды превращать для нас в еще слаже сладких и даже наше послушание использовать нам во благо, зло цвет свой не меняет, оно пахнет, и те, чрез кого оно...

...Иосиф братьям своим сказал:

«Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда; потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни.

Ибо теперь два года голода на земле: еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут.

Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением.

Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле Египетской».

Братья Иосифа сделали гнусность. И если Иуда Искаротский «по определенному совету и предведению Божию» послужил орудием для исполнения замысла Божьего, так он для этого был тепленький и уж, конечно, думал о тридцати сребренниках и негодовал на Учителя, что Он допускает неразумные тра-

ты, а не об исполнении Божьего Плана. И братья Иосифа имели гнусность в душе, когда продавали, и не знали, не ведали, что через семь лет наступит голод, и что придется им отправиться в Египет, и что Иосиф станет тем, кем он стал в Египте, и они благодаря этому выживут, чтобы когда-нибудь через толщу веков в роду одного из них родился Мессия.

Но все-таки зачем Он говорил человеку: не вкушай, — когда знал, что вкусит?

Ну, а мы своим детям, даже будучи уверены, что они нас не послушают, по крайней мере — пока сами в стенку не врежутся, будем советовать добро делать или зло делать?

Да и как у человека возникло бы покаяние, если б он не знал, что — воля Божия?

Зачем же я все это писал, если не призываю делать зло? А мне как-то не страшно жить среди зла становится, когда я так думаю. Чтобы не опускались руки, видя океаны зла. Это все так нужно. Когда-нибудь, когда Он Сам предопределил, все это зло отдернется, как покрывало, и мы тогда поймем, да не поймем — увидим, что иначе и быть не могло без этого зла, что такое Добро, какое Он нам уготовал в конце веков, получилось.

И будем мы радоваться, и убедимся, что нужна была для этого слеза замученного ребенка, да что слеза — миллионы слез замученных детей, нужно было, чтобы Христа распяли, и Отец заранее предопределил это зло для Своего Добра.

И тогда нам не будет казаться странным, что мать обнимается с мучителем своего ребенка, — ведь Он обнялся с нами, распявшими Его Сына. И тогда мы увидим, что стоит Царство Небесное всех наших слез на земле вместе взятых, как Он еще задолго до появления нас понял, что стоит для Него Царство, уготованное для нас, Его ран и «жажду».

ЕЩЕ О КРАСОТЕ

Что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? (Ио. 14, 22)

Ты украсил небо звездами, воздух — облаками, землю же — морями, реками и зелеными садами, где поют птицы, но душа моя возлюбила Тебя и не хочет смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен. (*Старец Силуан*)

1

«Мир спасет красота!»

2

Все красиво: и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход. Но красота красоту перечеркивает.

3

Версиров сегодня о тысяче русских идеалистов со слезами говорит, которых нигде, как кроме России, в целом мире нет, а завтра икону топчет. — Красиво!

4

Служил со мной в армии один белорус, который до остервенения сверх необходимого служебного рвения, да и не было у него этого рвения — из плохих у начальства считался, — наеживал свои сапоги, сапоги у него лоснились от удовольствия и сверкали. Он был влюблен в красоту блестящих сапогов, и поклонялся ей, и творил ее. Чуть свободная минута выдастся — кто в курилку лясы заточать, кто письма писать за-

очницам, кто — в ножички, а он за них принимался. И действительно было красиво...

А у других красивая мебель или занавески, и они всех себя в эту красоту вкладывают, и люди, не чувствующие этой красоты, люди с рваными обоями, для них неэстетичны.

5

В публичных домах, или в стриптизах, или когда на стадионах акты показывают, тоже, если есть на что посмотреть, наверно, красиво, уж там таких подбирают, что Федору Карамазову тут бы не «цыпленочек» пригрезился, а Рафаэль.

6

Едва дойдя до слов:

«Любите врагов ваших», — я понял, что Иисус не был просто человеком, — такой неземной, небывалой, нечеловеческой красотой они мне просияли.

7

А Толстой разделял красоту и мораль, поэтому и считал красоту бесполезной, а значит, по его — и ненужной, если не вредной.

Их таких много моралистов.

Они всего с возрастом попробуют. В молодости они комифируют, очень на женские прелести падки бывают, славу человеческую любят беспрдельно, высоким искусством наслаждаются. А потом, всё испробовав и пресытившись днями, они всё объявляют грехом. И правильно делают. Только очень уж громогласно объявляют, с тимпанами и восклицаниями анафемствуют.

Как вам не стыдно, дескать, молодые люди, плотским чувством любить — ведь это мерзость!

А вы — писатели — романы зачем пишете, славы желаете? Но ведь это грех, страшный грех, грех самолюбия. И писать их не надо, и читать их не надо — один соблазн. Вот я, например, их больше не читаю и не пишу.

8

Пить тоже начинают часто из-за красоты. Золотой Ремарк. Три лихача, надежных друга, красиво-ироничных, остроумных, с крепкими кулаками, пропускающих бесчисленное множество напитков с названиями, похожими на хризантему или золотые шары, разбивающих челюсти в промежутках между «бродячее кладбище бифштексов» и «душевнобольной недоносок». — Покоряет.

А Ремарк-то не золотой. Пройдут сквозь ремарковскую ложь дальше, туда, где алкоголь отнимает все: и честь, и совесть, и дружбу, — все заполняя и подчиняя себе; очнутся — ан поздно.

9

Это грех литературы последних веков — показывать зло привлекательным.

И у Достоевского это есть. У Толстого я чуть не блял от восторга от красоты Долохова, пьющего на спор на карнизе... Бесчисленные Печорины, Базаровы, Сильвио, Дубровские, Хаджи-Мураты, Иваны, Ставрогины, Челкаши. Один Гоголь этим не грешил. В этом его заслуга и неповторимость. Он низводил бесов до хлестаковых, городничих, иван иванычей. Верней, не низводил, а скидывал с них шинели и пускал в настоящем виде, нагишом.

Чтоб Раскольников убил старуху, надо было ее самому про себя убить.

Преподобный обладал таким зрением, что мог сказать про бесов, что они гнусны. А нас грешных они колпачат, как хотят. И даже самых великих, самых умных из нас, и даже великих-то еще пуще, чем невеликих. Придуриваются, импозантный вид принимают.

Они ж знают, если б они приходили к нам в своей настоящей гнусности, то никто бы за ними не пошел.

Полюбя какого-нибудь красивого персонажа, мы обкрадываем в любви живого человека. Ради призрака. У нас запас любви не бесконечен.

И что я всё — Достоевский то, Достоевский сё. А ведь я через него ко Христу пришел.

Я начал с красоты коммунизма, пришел к красоте Христа, упал в красоту Ремарка и Долохова, разглядел в ней и обпился красотой Барона, Актера и Сатина и, уже почти до смерти отравившись, из глубины возвах, нашел исцеление в красоте Христа. Но это была не совсем та красота, что в Христе моей юности.

Лицезрея красоту Бога, Адам променял ее на красоту Евы. В этой любви к творению больше, чем к Творцу, уже была любовь к самому себе. Дальше — больше, дерево разрасталось, и, возлюбив красоту себя, мы возненавидели другие творения и стали их уничтожать.

И полюбили мы уже не творения Божии, а свои творения, не природу, а картины, но еще подражали в творчестве Богу, гармонии Его. Но чем дальше мы уходили от простой любви к Богу, тем больше извращались, пока не восхитились не гармонией, а дисгармонией. Эстетикой нашей стало безобразие.

Когда человек стал жить сам по себе, то он миру Божьему расценки сделал, разделил на красивое и некрасивое. И ему стало мало в мире Божьем красоты, мир этот перестал его удовлетворять, и он стал заменять «некрасивое» выдуманной им красотой, чтоб «некрасивое» от себя прогнать и окружить себя только красивым. Так появилась мечта, чтобы каждый миг на земле стал наслаждением.

Техники, те физическим мигом удовлетвориться не могут, все им дуло, и они решили, чтоб отрицательных эмоций у человека от материи не осталось; а этим духовных наслаждений подавай (хотя и от материальных не отказываются), хотят всех духовных воровьев пострелять, а на их месте лебедей расплодить.

И, конечно, такая любовь к красоте, чтоб глаз радовался да ухо ласкалось, она ведь прежде всего становится и прежде любви к человеку. Он, эстет, может восхититься добром за зло в произведении, но в жизни как воплотить? Тут ведь любовь ко всему нужна,

даже к собственному страданию, а человек наслаждаться хочет.

Положим, к тому человеку, что щеку подставит, и услада придет такая, что эстету и не снилась, но потом, после креста, — сначала-то Адам, которого по щеке ударили, закопошится, заскулит, верещит. А эстет кресты только на картинах, на иконах и в церквях любит или в Евангелии почитать. Он ведь и Евангелие почитать любит в охотку. Конечно, красиво: пришел, чтобы людей спасти, а они Его распяли. (Хотя Иешуа Булгакова в общем-то покрасивше будет.)

И вот такой любитель сходит восьмого ноября в храм на Ордынке, послушает литургию на музыку Чайковского, всплакнет не украдкой, слезу утрет, придет домой и будет жену учить жить разумно, и куда она два с половиной истратила. Это у них запросто, такие переходы.

17

«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».

18

Всякая красота — жемчужина. Но когда мы найдем *ту жемчужину*, нам все другие простыми стекляшками покажутся. И даже если б не показались — не хватит нам богатства нашего, чтоб и *ту* купить, и эти оставить. *Та жемчужина* стоит дорого. Вот или-или: или мы *ту* приобретем, но взамен отдадим все эти, или же у нас останутся эти, но не будет той.

Та жемчужина требует всей души без остатка.

Если мы в это время будем создавать или любоваться красотой сапогов, то не сможем в то же самое

время лицезреть красоту ангелов. Ибо время у нас одно. И это всё так, даже для настоящих жемчужин. Так что же — для поддельных, которые кажутся нам таковыми, а на самом деле полны «костей мёртвых и нечистоты»?

19

Есть и такие любители жемчужин. Они когда *ту жемчужину* найдут, они все и всех презирать начинают.

Они ведь как к Красоте приходят? Через Достоевского, Толстых Льва и Константиныча, Гоголя, философов. — А теперь они на них с высоты своей чихают. Все они для них соблазн и похоть очес, им святых отцов потребно. И добро б — для себя, ладно, забрались они по лестнице на высоту великую, с которой Достоевский в бинокль букашкой кажется, им искусство мира сего, мирское размышление о Боге оскорбительны с той высоты.

Ведь и правда, «если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская», — а уж, конечно, все эти писатели имели и зависть и сварливость...

Но они, жемчужинки-то эти, и другим, кто к истине еще не пришел или только-только пришел, их читать воспрещают. Читайте, дескать, святых отцов, а достоевские вас знаете куда уведут? Они ведь страстные, земляные, бесноватые, в рулетку шпарились, их только в туалете расположившись читать прилично. Забывая, что сами несколько лет назад через них Христа открыли, восприемник для них Достоевский в своем роде. Способный вместить да вместит. А если насильно в рот запихивать, вырвать может.

«Зачем нам кусать груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались?»

Давно у меня была такая мечта. Играл же Орфей, что звери заслушивались. Так вот, можно, дескать, написать что-нибудь так красиво, что любого проймет, опешат они от такой красоты и напечатают, несмотря на все свои идеологии и боязнь, что отнимут такую жизнь. Красота, она все победит. Но, конечно, такая должна быть, чтоб до слез прошибала.

Пойдут они тогда к игемону и будут умолять разрешить напечатать гениальную вещь, хоть и не советскую.

А его и упрашивать не надо будет, он сам будет рыдать:

— Как же я этого раньше не понимал? Он мне глаза открыл! Раз такие на нашей земле есть, пишите теперь, ребята, что хотите, ругайте меня, старого, как заблагорассудится, а в школах — закон Божий...

Вот я все и мечтал.

Пока меня не печатают, потому что пишу сильновато, но не очень сильно, а вот поднатужусь — и прибежит ко мне в Бирюлево Чаковский:

— Да понимаете ли вы, гражданин, что вы поэт, и поэт истинный!?

Против силы-то и красоты кто ж будет рогом переть? Один камень, да и тот расплавится. А человек, будь он хоть растрепан, негодяй...

А в один прекрасный день пришла ко мне одна простая и прекрасная мысль, настолько простая, что я удивился: почему она мне столько лет не приходила?

«А от Него не зарыдали, не изменились чаковские. Живую красоту видели, о живой красоте читали и не изменились...

Так куда ж нам со свиным рылом!»

Надо быть готовыми, что Там всё не так. Что то, что здесь на земле ценится и люди любят, славят и чтут, по той шкале — ничто. Чтó здесь красиво, Там — уродливо, чтó здесь уродливо — Там красиво. Что, может быть, Там великий Пушкин меньше почти бездарного Рылеева. И я не могу сказать — потому что это будет ложью, — что я готов сам погибнуть, лишь бы он спасся, но я молюсь, чтобы Он простил Пушкина.

Это, может, фантазия, дай Бог, чтоб фантазия, чтоб и по *той* шкале Пушкин был красив и распутство его красоты этой не затуманило. Но, может быть, так. Может быть, так, обратно, увиделось все апостолу, висящему вниз головой.

Можно прийти к Богу и через цинизм.

Если мы за что-то на земле держимся, то нам и здесь хорошо, нам Царство Небесное на душу не приходит, как евреям, когда они побеждали. А когда человек во всем разуверится, когда во всем высоком, прекрасном и чистом он увидит низкое, уродливое и гадкое: когда в дружбе он увидит вражду, в ромео и джюльеттах — весенних кошечек и собачек, в искусстве — онанизм, в природе, которой любитесь дачник, — борьбу за существование и поедание падали, в патриотизме — любовь к себе и всему, что с собой связано, в благородстве — или глупость, или слабость, или что у тебя всего много и нет нужды у другого вырывать, в успехах техники — нарушение природного равновесия и рубку сука, на котором сидим, а в себе самом — мильёны мерзостей и в даже с виду благородных поступках — мерзкие побуждения, — тогда: или билет возвратить, или в злобное подполье поползти, или искать настоящие ценности...

А мы в России уж так устроились — нам меньше, чем кому, дают позаблуждаться и пообольщаться. Нам уж показано с рождения, что не за что здесь уцепиться на голом шарике: ни за право, ни за собственность, богатство, красоту, семью — все у нас может в любой момент быть запрещенным, растоптанным, никогда не существовавшим, да и климат, не такой сердитый, но гнусенький, помогает быть реалистами. И все зыбко, неустойчиво...

И тогда мы находим камень и строим на нем дом. Кому Бог пошлет.

23

Отец Сергей Булгаков в пылу безверия и упивания земной красотой приехал в Дрезден и увидел Сикстинскую Мадонну. И он вспомнил, и его обожгло красотой Небесной. И она с тех пор не уходила, а тихо жила в душе, пока не разрослась и всего его не перевернула.

Лет через пятнадцать, уже будучи православным священником, он, проезжая неподалёку от Дрездена, решил завернуть, чтоб вновь испытать то чувство, и уже предвкушал...

Но он ничего не испытал, он увидел молодую земную красивую женщину с ребенком на руках, и радующуюся, и боящуюся, как всякая мать. Но он не увидел Богородицы.

Картина была все та же — он был не тот. Когда он был душевным, то чуть-чуть, что отрывало все-таки эту женщину от земли, показало ему Небо. Когда он стал духовным, когда он впитал в себя бесстрастную, трезвую духовность русских икон, он ничего небесного не нашел в этой здоровой, кровавой женщине.

Итак, что же? Да ничего... ничего.

* *
* *

«И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить».

А мы своими сапожищами какой там «если хочешь» — Очисти, и всё!

* *
* *

«Имманентно», «Трансцендентально», «Теургично», «Онтологично»... Боже, сколько мудрености. Научи меня врагов любить, и довольно с меня.

ХУДОЖЕСТВО

Вот я молюсь, а ведь я этих чувств не ощущаю. Ни благоговения, ни сознания своего ничтожества, ни любви всем сердцем и всем помышлением, ни мольбы, ни отношения сына к Отцу, раба к Господину. А просто произношу слова, как камни из горла выбулькиваю. Молитва на меня меньше действует, чем хоккей.

Вот по этому самому от книжек-то я часто плачу...

Что же мне делать? Или сердцу не прикажешь, насильно мил не будешь?.. Неужели я это Богу скажу? Что Он, дескать, мне насильно не будет мил и что уж если нет в сердце такой любви к Нему, которая сильнейшей любви к себе, то никак себя не заставить такую любовь занять...

Стану-ка я актером. Нет, не перед людьми я буду

играть. И не перед Богом я буду играть, дурак, перед Ним не сыграешь. А перед самим собой.

Я буду играть роль любящего сына и преступника, просящего о пощаде. Только у артистов сегодня свет, а завтра — тьма, или одновременно и свет, и тьма, а я буду играть только это. Все время это буду играть. Всю жизнь.

И уж если буду просить помиловать, так буду так говорить, как если б на земле валялся и еще один взмах — и победитель мне голову снесет, и мне надо успеть, надо попросить его, и так жалобно попросить, с таким унижением целуя ноги, чтоб он передернулся и уже занесенную руку отвел.....

В пятьдесят пятом — пятьдесят шестом годах пошли есенинские вечера. Это был мой первый, найденный мной, которого меня не учили любить, поэт.

А от меня он перешел и к Алику. Мы школу прогуливали, забирались на сизый чердак и там в пыли и в кале часами кричали друг в дружку:

Все прошло, поредел мой волос,
Конь издох, опустел наш двор...

Грусть, тоска считались политикой, и мы изголодались по тоскливым стихам...

И вот я попал на вечер... А в антракте фотограф Свищов-Паола с белой бородой, откинувшись назад, как профессор, и рассказывая, что его сыновья дружили с «Сереженькой», продавал его фотокарточки по десятке старыми деньгами. У меня был рубль на дорогу. Но я не мог остаться без нее. Я его никогда не видел.

Я подошел к Свищову-Паоле и — откуда взялось:
— Дедушка, подарил бы!

— Ну что ж, дарю! — сказал он, еще более откинувшись.

Видно, так я это сказал, с такой щемящей, щенячей интонацией, так жалобно в душу влез, что не смог

мне отказать. Человек. Торгующий человек. Бумажный квадратик с нарисованным самоубийцей.

А у Бога я так не могу попросить. С такой просьбой, с такой силой просьбы. Спасения попросить, а не квадратик. Хотя бы так захотеть спасения, как я тогда захотел квадратик...

Но я буду делать вид, что так хочу, так прошу, так жалобно молю. А чтоб лучше мне удавалось, я буду — чтоб все внешне было так. Чтоб я всегда одетый перед Ним стоял, на все пуговицы застегнутый, хоть и дома никого нет, как я перед своим даже мелким начальством стою подтянуто. Чтоб в землю Ему кланялся, как царю бы кланялся грозному, чтоб в церковь вымытый ходил, праздничный.

И когда-нибудь я сыграю эту роль. Я сначала сыграю ее раз, вроде случайно, и сам удивлюсь и обрадуюсь. А потом все чаще и чаще будет получаться, пока постоянной не станет. Только это будет уже не игра, а деланье.

* *

Ну, так что ж здесь такого, что человек проткнул другого человека? Чего возмущаться-то, марксисты луковые?..

Гнусная и трусливая обезьянка, разочаровавшись в своих силах и обладая нескончаемыми трусостью и жадностью, взяла в руки камень, заострила чуть-чуть и давай кромсать головы направо и налево. Это был, батеньки вы мои, гигантский шаг вперед, это был архипрогресс, это было признаком недюжинного ума. Разве когтями и зубами достигнешь такого эффекта? Это уже была не обезьяна...

Не так ли, дурашки?

Маленькие малышки и идиотики не говорят и не думают «Я». «Женя пошел, Женя скушал» — говорят они сами про себя. Они не отличают субъекта от объекта, сказали бы мои ученые друзья...

Мы такими должны стать. Хорошо бы, если б смогли.

ПРИТЧА

От Москвы до Владивостока тысяча десять, наверно, километров, ну и обратно... Всего — двадцать тысяч.

И когда человек удалился от Москвы на тысячу километров, он на тысячу километров к ней приблизился.

ДЕТИ

Первые два года проходят благополучно, и мы думаем, что ребенок не выколол себе глаз и не разможил череп потому, что мы всё предусмотрели.

Когда у нас появляются еще дети, мы уже физически не можем не сводить с них глаз, и кто не верит — приходится полагаться на случай, а кто верит, полагается на Бога.

И мы уже понимаем, что не от нашей предусмотрительности цел ребенок. Он мог сто раз проткнуть себе глаз, но не проткнул...

Вот так на четвертом ребенке мы и приходим к тому, что «ребенок падает, а ангел подушку подкладывает».

ГОГОЛЬ

Он совершил подвиг, а мы морщимся и, даже друзья, пытаемся его оправдать. Это он, дескать, связался с недоумком-попом, а тот на него давил, а он не смог духовному отцу воспротивиться.

Человек совершил подвиг, а мы его оправдываем...

Мы-то сожжем ли хоть одну нашу графоманскую строчку?

«ЕСЛИ СОЛЬ НЕ СОЛОНА БУДЕТ»

Порок, говорят, имеет остроту, а добродетель пресна. Кроме того, что нас на зло больше тянет, это еще потому, что под доброделанием мы подразумеваем злонеделание. А это, действительно, пресно. Во всяком случае, безнадежней зла.

ГОГОЛЬ

Кажется, он умней всех в девятнадцатом веке. Но ум этот до того не важный, что его долгое время не замечаешь. Ну, Достоевский — тут сразу видно. А Гоголь? Да как-то неудобно его умным назвать. У него даже ни одного интеллигента, «про и контра» не найдешь. Чичиков — в его масштабе интеллектуал.

И так у него в этом смысле несолидно, что ума этого долгое время не только не замечаешь, но в нем-то именно ему и отказываешь.

Гениальный, дескать, художник, но больной, но со сдвигом, глупый...

И вдруг чего-то в нас повернется, мы на какой-то миг прорастем и увидим, и поразимся...

Ну хоть насчет крепостного права. Ведь он здесь правей всех, всего девятнадцатого века, вместе взятого. Они ведь все ногами топали, свистали и в этом все

сходились: и правые, и левые, и западники, и славянофилы, почвенники и непротивленцы, — что Карфаген должен быть разрушен.

А он — один. И говорил каким-то неумным языком о «неумытом рыле», об отце-помещике и детях-крестьянах, что он с себя должен продать, а их накормить, если есть нечего, что он за них ответ дает Богу... И сначала думаешь, что это — бред, потом, когда скинешь с себя обаяние смазливового письма Белинского, — что это идеал, а в жизни так нельзя, и т. д.

А тут я как-то лежал больной, и вдруг меня осенило, и стало ясно не только голове, но всему как бы телу, как будто глазами увидел и пальцами дотронулся.

Он и не говорил, что это не идеал. Идеал, идеал, но если так люди не смогут друг с другом жить, когда от самого их внутреннего отношения друг к другу слова «крепостное право» станут полным звуком, то и никак больше не построить отношения, никакими реформами и революциями, и вы после долгожданного праздничка тут же, башмаков не износив, сами вззоете: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?», только ничего все равно не поймете и будете валить всё на «серого» — на «жида да на соседа» и что, дескать, без земли освободили. И всё будете на это валить, и что именно после отмены стали спиваться целыми деревнями — тоже всё от этого.

Вот этого гоголевского понимания, что дело не в жертве, а в жертвеннике, не во внешнем, а во внутреннем, так никогда и не стало у Толстого.

Перестаньте работать на помещика; помещики, возьмите косы в руки; люди, перестаньте пить и курить и выносите сами за собой парашу — и все будет хорошо. И не отвечайте еще, если вас по физию ударят, — тогда и вообще отлично будет. Великий-великий, а так никогда и не понял, что христианство

— религия внутренняя, или внутреннее тоже Павел придумал?

«Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их».

Христос не учил народ свергать оккупантов-римлян, ни Он, ни ученики не призывали к отмене рабства, Иоанн Креститель не говорил воинам, пришедшим к нему с вопросом, что им делать, чтоб они побросали мечи.

Все оставалось на своих местах, и все менялось.

А от внешнего внешнее и изменится, да и то...

* *

Всякий человек — ложь...

Я как-то для шалости переключил певца и поэта — Джек Лондона, мужское начало, белокурую бестию, льва рыкающего — на 78 оборотов... Куда что девалось: исчезла белокурая бестия, как сон, как утренний туман, от механики в прыщик превратилась. Значит, и всегда сидел в нем этот прыщик, и, значит, и его самого простой механикой можно до этого прыщика довести. Как, Сартр, можно?

ГЕРОИНЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Стояла на набережной знакомая мне женщина и плакала, и слезы, как кудри, текли по лицу.

— Ты чего плачешь? — спросил я ее.

— А кошку чуть машина не задавила.

Но я ж знаю ее, как облупленную стенку. С людьми, особенно с теми, перед которыми кривляться не надо, она бесчеловечно жестока.

* * *

Я православный христианин. Но в сорок лет мне уже не очень важно, что кто обо мне подумает. Православие для меня не мундир. И когда я читаю у Брянчанинова, что святыми могут быть только православные, а всякие их франциски и терезы не что иное, как сумасшедшие, — мне становится стыдно за Брянчанинова, и мне хочется защитить грудью родного мне человека — католика Франциска — от чужого.

* * *

И что это мы так озлились на мораль? Как будто мы уже по ту сторону добра и зла стоим.

Один даже так и сказал:

«Мышиная возня добрых дел».

И всю мораль мы протестантам да католикам уступили. Стоит только заикнуться о морали, а тебе сразу:

«Да ты, братец, уж не католик?»

Да называйте, как хотите! Дай Бог стать таким, как католик доктор Гааз.

И обычно те из нас на мораль разъяряются, кто до такой степени низко стоит, что ему доползти хоть до пупка морального протестанта. А то — себя оправдываем только.

Мораль конечна, Дух бесконечен. Можно не вместились в морали, но нельзя — вместо ее.

* * *

Толстой нас так запугал, что мы уж как будто и забыли, что «Не противься злему» из Евангелия. Сто-

ит заикнуть только «не противься злему», как тебя тут же в толстовстве уличат.

Послали меня на неделю работать на стройку, и, когда я об этом одному дьякону к случаю рассказал, тот удивился:

— За квартиру что ли?

— Нет.

— В комсомольский маразм впал под старость?

— Тоже нет.

— Так за каким хреном? Дома что ль делать больше нечего?

— Есть чего, да не противься злему.

— Ну, это, голуба, уже непротивленчество какое-то!

* * *

Мы загордились и, христиане, не уступаем. Любим поносить тех, кто делает добрые дела за плату. По-моему, пусть так, лишь бы делали.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО

По воскресеньям народ на Руси свободен. По воскресеньям он предоставлен самому себе.

И вот интересно в воскресное утро рано посмотреть, кто куда идет в нашем районе, когда люди предоставлены самим себе.

А доходят они до развилки, а там одни — основная густая масса — идут налево, а другие — небольшой, еле-еле душа в теле, ручеек — направо.

Налево, как вы изволили догадаться, пивная, направо — церковь.

А вперед, на станцию, люди почти не идут, когда они предоставлены самим себе. Потому что уж что-

что, а это у нас почти каждый дурак понял, что никаких переёдов нет...

Или направо, или налево...

ЛЕВЯТОВ Валерий — московский писатель. Работает редактором в бюро технической информации. Печатался в журнале «Грани».

СТИХИ УКРАИНСКИХ И ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

В переводах Н. Горбаневской

Виктор Ворошильский

* * *

В затягивающей трясине
наших глухих вседневных боев
в этой рутине в этой тине —
я еще не был так свободен

Где газ болотный гад ползучий
ползут и душат из колдобин
с губою рваной раной жгучей —
я еще не был так свободен

Бумажных звезд шипами вздетый
на гвоздь на свист на крест Господень
униженный полураздетый —
я еще не был так свободен

Где на кругу трамвай скрежещет
и вспышка прямо в очи хлещет
среди соблазнов блазней своден —
я еще не был так свободен

Ибо становится свободой
всё когда чаша перельется:
воплъ камня почвы дух и воздух
по-над заплеванным колодцем

И ход подсолнуха за солнцем
и чуткий сон и стих свободный
это — замок с пространства сорван
и всё становится свободой

Под вёками как под колодой
жизнь шевельнется и проснется
и всё становится свободой
чего мы в этот миг коснемся

ИЗ ЦИКЛА «ТЫ ЕСТЬ»

1

Ты есть А значит ты здесь
под этим застиранным небом На сыпучей земле
На пустыре На кромке льда В четырех стенах ветра
степного (Стены имеют уши Заговори с ними)
В четырех стенах пожара осеннего
Со своим пожаром внутри
истекающим стружкой крови

Ты тут Ты не где-нибудь
Ты бывает хотел бы куда-нибудь
Но ты есть тут
В этой колыбели На этом табурете В этом гробу
Картошка Брюква Бурьян Пепелище
Скрюченный хребет (ревматизм милицейские дубинки)
Щепотка патетики суровой (разбойничьи баллады)
Навеки В этом окаме пепла
Его мельчайшая серая пылинка
и есть ты

Ты есть Значит в тебе есть
некий смысл тебе неизвестный Но твой

Нечто в тебе слушает и нечто в тебе говорит
Нечто в тебе поет бежит замирает

Нечто в тебе спотыкается и падает
Нечто воздвигает башню

Это он это оно Это из тебя из этого ты
как неизлечимая болезнь как эликсир жизни

И ты не знаешь этого но иногда подозреваешь
или нечто подозревает в тебе

Нечто в тебе вызывает о свободе Нечто тебя
как смолистую щепку швыряет в чашу ночную

Ты выбираешь Или нечто в тебе выбирает

Ты пишешь Нечто в тебе пишет В том числе и эти
вот эти слова

Нечто в тебе Ты в чем-то

Ты есть А значит ты это я
познавший благодать любви но не познавший
благодати веры

познавший благодать восхищенья
и благодарности но

веры надежды жаждавший словно
теплого веянья на перепутье ветров

стоявший
перед мадонной этой страны
темноликой в шрамах
и моливший
о надежде о вере
о надежде на веру
о вере в надежду
лишь о надежде

Василь Голобородько

* * *

Этой ночью молоко перельется,
переполнено самим собой.

А ты слушай, ты только слушай,
как цветы языками собачьими лижут окно твое,
как спешит через речку кладка к тебе.

Ты гляди, ты только гляди,
как прячется месяц за тучу,
чтобы я сказал тебе слово,
что, как яблонный цвет, прилипает к губам.

* * *

Укralи мое имя (так ведь не штаны —
можно и без него прожить).

И теперь зовут меня — тот,
у кого украдено имя.

Я сеять умею и складывать белые стены,
и когда я посею — все узнают,
что сеял тот,
у кого украдено имя.

А на белых стенах я всегда пишу:
стену поставил тот,
у кого украдено имя.

Поздравительные открытки и телеграммы приходят
на мое новое имя, на имя того,
у кого украдено имя.

Уже все смирились (я первый)
с моим новым именем. И жена привыкла.
Только вот как это будет с детьми,
когда их окликнут по отчеству?

* * *

Хотел быть человеком.

Чтобы не плясать — отрезал себе ногу
(и к друзьям ходить перестал)

чтобы не драться и шиш не казать — откусил себе
пальцы
(и вишни не мог сорвать)

чтобы не слышать брани — оборвал себе уши
(и песен не слышал)

чтоб не дразнили его носатым — нос открутил
(и стал курносой)

чтобы не видеть гадюк — выколол очи
(и не видел роз)

чтобы чего не сболтнуть — вырвал язык
(и любимой в любви не признался).

Что ни день проводил на себе
очередную пластическую операцию,
чтобы стать как люди, как все.

* * *

Дед Давид
спрятал челнок
голубой челнок
спрятал дед Давид

Дед Давид
речку смотал
ниткой в клубок
и спрятал в челнок

Скосил траву
согнал коров
солому собрал
и сложил в челнок

Дед Давид
спрятал челнок
голубой челнок
спрятал в курган.

*Выдавала дочка замуж
мать родную*

Мать (расставив чарки на столе):

Чего ж это чарки пустые,
лью, лью горилку, а они пустые.

Дочка: У меня полна-полнехонька,
а я горилки не лила.

Мать: И чего ж это людей никого нету,
звали-созывали, а нету.

Дочка: Ой ли, мама? В хателюдно,
только люди все молчат.

Мать: Вот ведь молчат, пускай запоют,
а ну, затягивай, доню...

Дочка: Чайка летит над водою,
а слеза бежит за слезою...

Мать (перебивая): Спой-ка повеселее,
свадьбу гуляем, веселье,
а ты в слезы. *(Музыкантам):*

Эй, музыканты, сыграйте веселую!

Музыканты: Так не на чем же играть...

Дочка: На моих руках заиграйте,
на сухих и тонких, как скрипки,
голова моя будет бубном,
а мокрые очи — жалейкой,
ну, музыканты, ну, золотые,
и потом, поглядев на себя: А-айй, я-то голая,
где мое платье, венчальное платье?

А-айй, его мать у меня украла.

Мати, мати, отдай мне венчальное платье.

как я увижу на дне речном
два камушка
один зеленый, другой желтый
некому мне про них рассказать
и я ношу их с собою
и думаю есть у меня два камушка
один зеленый, другой желтый
но если когда-то на них погляжу
нахожу всего лишь два камушка
один не-зеленый, другой не-желтый
потому что мне некому было про них рассказать

ГОЛОБОРОДЬКО Василь — родился в 1946 г. в Луганской области. Окончив в 1963 г. среднюю школу, пошел работать на шахту. Первые подборки его стихов, опубликованные в 1964 г. в «Литературной Украине» и журнале «Днипро», встретили горячие похвалы и резкую критику (в результате которой уже принятый издательством сборник стихов так и не был опубликован). Дважды начинал учиться в университетах (Киевском и Донецком), но оба раза был исключен и в 1969 г. взят в армию. После армии вернулся на Луганщину и работает шахтером. В 1970 г. книга его стихов «Летучее окошко» была выпущена издательством «Смолоскип» (Париж - Балтимора). О поэзии В. Голобородько см. статью Э. Райса в № 13 «Континента».

ИЗ ЦИКЛА «ПО ЭТУ СТОРОНУ ДОЖДЯ»

Ирине Стасив

пиявки струй по стеклам
нутро из домов выгрызают
кровь сосут из бумаги
кровь сосут из бумаги

снова будильник ход замедляет
ход свой к ходу дождя примеряет
ход свой к ходу дождя примеряет
ворочает рожками стрелок
улитка времени желтая
мир разделён и переделён
бывший мир теперь поделён
на эту сторону дождя и на ту

в аквариуме преогромном
проплывают первобытные твари
водоросли раскачавши
нарастает днище скелетам
кораблей давно затонувших
из которых самый недавний
невеликий ноев ковчег

мы припадаем глазами к стеклам
это в этом аквариуме преогромном

что звался улицею или полем
что звался тополем или трамваем
что звался памятником архитектуры
затоplen наш ковчег

вечно ли дерево дождя
корнями вросши
в стремнины рек

стволом раскинуто
на неохватность наших рук

как птаху спящую
заоблачною кроной
всю землю притулив

и сосчитают ли когда-нибудь
слои его
по срезанному пню

вечно ли дерево дождя
гадаем мы

а на головы нам с него упал
единственный листочек

один сказал перейду
в дождь и оказался
притчею во языцех
мы все как один пожали плечами
сидел бы ты себе тихо

а те загомонили
объявился новый мессия

а тот который сказал
перейду перешел он или
не перешел но себя
перешел да и говорит
мало я человек имею
веры мало я человек
имею веры

еще один сказал а я
вот выйду из воды сухим
и стал посмешищем для всех
мы плюнули все как один
вот человек мудрит
а те все тоже как один
плюнули вот чушь

а тот один который там
сухоньким вышел из воды
или не вышел говорит
не знают что творят кому
хвалу поют не знают

а то еще один нашелся
говорит а я себе
промеж дождя а я себе промеж
дождя промочит правое плечо
отрекается промочит левое

отрекается в конце концов
целиком себя отрекся

так вот тот еще один
что промеж дождя себе
возвращается мы поглядели но
не увидели был человек
да и нету человека

остается приветствовать вторжение
слизи ползущей по стенам
сталактитов плесени пухнувших
как на дрожжах
в последнем приюте
в вертепе где цокот капель
язык отбирает мозг отберет
я вывел пальцем по стенке
доисторического зверя
но это не про нас мы
те что боимся поранить
крылышко мухи но свергли
громовержца в пучину
мы оставим веру в бизонов
на волглой трухлявой стене

КАЛЫНЕЦ Игорь — родился в 1940 г. Окончил Львовский университет. Первый сборник стихов выпустил в 1966 г. во Львове, в изд. «Молодь». Вместе со своей женой, поэтессой Ириной Стасив, участвовал в акциях национально-культурного возрождения и протестах против репрессий на Украине. Арестован в августе 1972 г., через несколько дней после суда над Ириной Стасив, и приговорен к тому же, что она, сроку: 6 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки. В пермских лагерях (35 и 36 зоны) был активным участником лагерных протестов. В настоящее время вместе с женой находится в ссылке в Читинской области. С 1970 г. самиздатские книги

его стихов регулярно переиздаются украинскими эмигрантскими издательствами. Цикл «По эту сторону дождя» входит в книгу «Подытоживающее молчание» (изд. «Сучасність», Мюнхен, 1971).

Ежи Фицовский

ПЛАТЬЕ ПОЛНОЕ НИКОГО

Монаршая процессия
окончилась успешно
Новое Платье Короля
сохранило форму
хотя на пузе поползли
последние иллюзии

а голый надел кальсоны
вздернул регалии старые
истопил на прощанье камин
и стал достоянием истории

Теперь над нами реет
одно пустое платье
за пазухой декреты
бесцарствие в середине
по мерке и на вырост
и на живую нитку
и мертвых петель ряд

А как воскликнет кто-то
что в этом пышном платье
полным-полно ох никого

из рукавов и оборок
посыплется верная стража
налицо его и наизнанку
прошмонают не протасил ли
в одежде себя самого

ИЗ ХРОНИКИ СОБЫТИЙ — 2

в доме повешенного
разливались речи
о воде

в доме утопленника
анализировались узловые проблемы
веревки

оживленные дискуссии
были смертельно серьезны
докладчиками были
канатчик и ныряльщик
что обеспечило
высокий уровень
воды
и сжатость
петли

ИЗ ХРОНИКИ СОБЫТИЙ — 4

Ой-ёй вылетела птичка
ой там гляди какая
ой еще чуть-чуть и нет
ой опять тут

оперенье какое хотите
на зиму не улетает

живет под надежной охраной
гнездится в удобных развилках
запутанных обстоятельств
сор из гнезда не выносит

Когда ясь не хочет есть
когда ян хочет есть
а Пусто словленное в горсть
в кулак преображает кисть
и на вопрос нивесть о чем
нет ни ответа ни известий

тогда ой вылетела птичка
ой там гляди какая
ой еще чуть-чуть и нет
ой опять тут

а недавно видали особь
чрезвычайно огромных размеров

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Он оказался в безвыходном
положении

он стоял у открытых дверей
и молча ломился в них
так плотно были открыты
что и стук не пробьется

а с той стороны
ждут не дождутся
медная ручка в зелени
ото всех запотелых рук
и потолок тишиной поперхнулся

вдруг языки на родном языке
от молчанья мозоли натершие
забормотали о нем по-смешному
смущенные благодарные
за вынутый кляп

тут-то его и заметили

Так коротко полыхнуло
не успел и тени отбросить

ПО-ПОЛЬСКИ

Люсьене Рей

Ни в одном ни в одном пейзаже
нету столько столько как тут как тут
терпеливости терпких трав
плоского долготерпенья низин

каждый из нас
врытая в землю ось
проржавевшая до корней
горизонт застыл и ни с места

одна карусель где-то на площади
Поражения
в раскраске государственных ярмарок
головокружительно подтверждает
последние слова Галилея
и все-таки она вертится
вращающаяся виселица

из мозговых извилин
вытягивается и вьется
длинная длинная нитка

ею мы стреножены
ею одержимы
с вываленными языками
фейерверками
юмора висельников

Р. С. я хотел бы это дать понять
иностранцам братьям но
опасаюсь что
это непереводимо

может взмахами рук фокусника
но не словами я не нашел их
в иностранных словарях
огнеупорной терминологии

я думал о комментарии но
и он недоступен языкам чужеземным
он только завел бы
в бездорожья в тощие торфяники
куда и единорог не забегаёт
где подымают русалки
где из века в век доживает дни
эта гулко немая страна
в выкорчеванных зарослях
истории

ФИЦОВСКИЙ Ежи — родился в 1924 г. в Варшаве. Во время оккупации — участник Варшавского восстания, боец Армии Крайовой. Поэт, прозаик; исследователь и переводчик цыганского фольклора; переводчик Федерико Гарсия Лорки; исследователь и издатель произведений Бруно Шульца. С 1948 года опубликовал несколько десятков книг, с 1976 — находится под цензурным запретом как активный участник открытых протестов. Широко публикуется в независимой прессе, участвует в редактировании журнала «Запис», откуда взяты включенные в нашу публикацию стихи. Член Комитета общественной самозащиты КОР.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,
USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

«КАК НА ДУХУ...»

Трудно писать о человеке, которого любил и которого нет теперь в живых. Более того — которого убили. И не в бою, не в честном поединке.

Он сам рассказывает, как его убивали.

Лет тридцать тому назад это делали куда проще, примитивнее. Тогда просто били. Истязали. Сейчас все это совершается с «человеческим лицом». Допросами (без мордобоя), искусственным питанием, лечением... Нет, я не осмелюсь обвинить лечивших Гелия врачей в сознательном убийстве, но... Может, настанет все-таки время, когда доктор Инна О., которой Гелий посвятил и преподнес стихи, расскажет нам, как оно было на самом деле...

Читать эти странички, написанные рукою Снегирева — и сердцем его, — трудно. Даже страшно. Несмотря на браваду первых страниц, несмотря на стихи — некое спасительное средство, — которых не надолго хватило. Дальше идет проза. Страшная проза...

Гелий не был человеком из стали. Но он был человеком. Не очень сильным, но правдивым — даже с самим собой — и очень искренним. И в правдивости этой и искренности — талантливым. Ну и — задохнувшимся от лжи. Все это и привело его туда, откуда он уже не вышел.

Гелия убили...

Одной из пуль, убивших его («Мама моя, мама» имела еще пророческое название «Патроны для расстрела»), самой отравленной, ядовитой, оказалось «письмо», появившееся в советских газетах за подписью Снегирева. Он рассказывает о нем, не боится... И становится ясно, что «письмо» это — позорное пятно на совести не Снегирева, а советского правосудия, юстиции, следователя Слобоженюка. Я знал его, он меня тоже допрашивал, но я никогда не думал, что у него поднимется рука с автоматом...

28 декабря 1978 года Гелия не стало.

Где он похоронен, нам неизвестно. Кто нес гроб, мы тоже не знаем. Меньше, чем вшестером, гроб не поднять. Нашлось ли

Рукопись пришла без заглавия, заглавие дано редакцией.

столько отважных друзей? Боюсь, что среди этих шестерых не меньше трех были дюжие ребята «в штатском»...

Тяжело писать о друге, которого больше нет в живых, которого убили. Но еще тяжелее читать написанные им перед смертью строки. А не прочесть нельзя. Они — эти строки — тоже пули. Не отравленные, не ядовитые. Они не убивают, они приговождают. К позорному столбу.

8 июня 1979

Виктор Некрасов

ВСТУПЛЕНИЕ*

...Это — материал, литературное сырье. Я спешу его хоть как-то оформить для потомства, поскольку пути Господни неисповедимы. Не стану здесь, во вступлении, ничего предвирать.

Одно только: если суждено мне еще жить, то комментарии к стихам вырастут в отдельные разделы. Да и еще много чего прибавится, ибо интересного, неповторимого было порядочно.

Итак. К 22 сентября я был в западном антисоветском эфире — без преувеличения — в первой пятерке. «Континент» печатал мое эссе о процессе СВУ, не проходило дня, чтобы какая-нибудь станция не цитировала мое открытое письмо правительству СССР, где я заявил, что «вся ваша новая конституция — ложь от начала до конца», отказался от советского гражданства и отослал в Верховный Совет свой паспорт (беспаспортный бродяга). На очереди были и еще документы — нет, письмо Картеру уже Запад опубликовал, а в том письме я назвал СССР главным провокатором и поджигателем войны.

* Первая часть записок Снегирева, «Вступление», печатается в сокращенном виде: мы не воспроизводим большинства его тюремных стихов. — П р и м. р е д.

К 22 сентября 1977 года я уже позволял себе заходить в очень немногие дома — в смысле к друзьям-приятелям, не больше, так как хвост за мною тащился (лучше сказать — волокся?) постоянно.

22 сентября 1977 года в 9 часов 20 минут утра я вышел из нашего дома на улице Тарасовской №8, повернул налево и пошел к Ботаническому саду. Светило солнышко, на мне было легкое светло-серое пальто, сандали. У здания пожарной команды стоял, загораживая мне дорогу, голубой «рафик». Я хотел его обойти, когда справа, со стороны пожарной команды, возник плотный, невысокий, большеголовый и седовласый человек. И он сказал:

— Здравствуйте, Гелий Иванович. Садитесь, пожалуйста, в машину.

Сто раз я готовился к этому моменту, к аресту: крикну, упаду, привлеку внимание. Тут же я только и нашелся (правда, довольно громко, кто-то с противоположной стороны улицы слышал, видел, и жена моя Галя через два-три дня знала, как это выглядело):

— Что такое? Зачем? Кто такие?

А уже рука справа распахнула дверцу голубого «рафика», а сзади меня уже крепко держали под локти и пихали под зад — мгновение спустя я сидел «в середочке, два жандарма по бокам», а напротив — еще четверо, в том числе седоватый, большеголовый (через десять минут я узнал, что это и есть тот следователь Слобоженюк, который будет вести мое дело и с которым мы, как с самым близким человеком, общаемся 6 месяцев).

А голубой «рафик» уже ехал. Не очень спеша, обычный микроавтобусик. Я высчитывал загодя, что меня завезут в Харьков, поскольку я там родился и жил, там будут вести следствие, там и суд устроят: Миколу Руденко увезли в Донбасс, Гинзбурга — в Калугу. Но «рафик» вывернул на Владимирскую, музей Ленина, Академия, ресторан «Лейпциг», серое здание

КГБ (почему-то оно всегда в лесах), повернули на Ирнинскую, заехали в ворота и — приехали! Мной занялась столица, уже красиво.

Начали обыск. Какие-то бумаги и подписи — хотя нет, без подписей, я сразу же заявил, что подписывать ничего не буду. Понятые. Какое-то начальство, которое произнесло:

— Да, Гелий Иванович, вы изрядное ведро грязи вылили на нас и тут, внутри, и там, за рубежом.

Потом меня повели через двор, завели в двухэтажное здание, в маленькой каморке общмонали уже донага и с заглядыванием в зад («нагнитесь, раздвиньте ягодицы!»). Коридор, лестница, коридор, в руках у меня два матраца, лязг замков и — камера. Сосед: чернявый, симпатичный. Я плохо помнил все эти первые минуты, а он, Иван Иванович, мне потом рассказал: я походил, осмотрелся, оценил наблещенный паркет и высоту до потолка, метров около пяти (до революции был здесь то ли дешевый отель, то ли бордель), присмотрелся к нему, к соседу, и сказал:

— О, здесь можно жить, красота! — И, придвинув к нему лицо вплотную, заговорщицки бормотнул: — Так что, «подсадной»? Ну-ну!

Был он «подсадным» или нет — не знаю, как не уверен, что «работал» со мной и второй мой сосед — Григорий Тимофеевич. Чёрт их разберет, да еще с моим нынешним зрением.

Ну, вот. И потекла жизнь — да, жить можно, красота! И с первых же дней я стал сочинять вирши. Им, впрочем, и передаю ныне слово — стишатам.

Даст Господь — как уповаю ныне — развернусь, расширюсь.

Итак — пожалуй, начну вот с этого. Оно и не стишок, а некое публицистическое ритмо-виршованное философизирование. Написано оно не среди первых стишат. Да и вообще оно не мною написано. Кем — шут его знает, а чувствую — не мной. И на украин-

ском почему-то, в то время как все остальное — по-руски. Но чудится мне, что эти слова наиболее подходящи для эдакого эпитафия ко всему дальнейшему. Так с них и — начнем, пожалуй.

Даже не записываю их в форме вирша — строфы, строки; пусть себе прозой воспринимаются.

— Вони на допиті спитали перший раз: «Якою мовою бажали б вести слідство?» — Російською. «Це дивно. Ви ж у нас письменник український, ще й з дитинства жили на Україні?» — Саме так. Та є для того в мене три причини. «Якіж?»

— Ось перша.

Не бажаю, мов жебрак, в застінках кегебешних, де по чину — адже ви армія? — панує руський дух, вживати рідних слів. Державне свинство російську мову зброєю начальства дало народам-браттям, аби вщух сваволі дух: віл би пер свій плуг, — то нею й правте ваш неправий суд.

— По-друге!

Знівечили Україну, честь, віру, волю розгубив наш люд, спалювали історію, дитину батьки вже мови рідної не вчать! То ви тепер, щоб злочини прикрити, припрощуєте *вільно* говорити в тюрмі? «Ишь, по-українски кричат, а врут — мол, им на рты навесили печать!»

І третє.

Поневолили мене, замкнули, запроторили за ґрати — то ще і рідну мову катувати вам поможу?

Ні, хай Тебе мине пекельна доля! Птахом на роздоллі, над краєм поневоленням ширяй! Про отамана піснею злітай у золотім безкраїм хлібнім полі — як батько на нарадоньку іде, аж тая дубрава навкруги гуде! У гаї солов'їнім опівночі словам твоїм шептять устам дівоchim...

Та не гугнявіти тобі в тюрмі, сплюндрованій, розіпнутій, в ярмі.

Отак. Вам дано зброю — руську мову. Теж вольну, теж прекрасну — і також голу, прибиту закаблуками чобіт.

То краше мовчки, без святого слова, ви справу чорну робіть.

«Все заключенные следственного изолятора КГБ имеют право пользоваться настольными играми (шахматы, шашки, домино)» — из «Правил содер-

жания заключенных в следственном изоляторе КГБ».

Правила эти, большой картонный лист — метр на 70 см, — висят в каждой камере на костыле, навечно вбитом в стену по самую шляпку: ни вытащить, ни веревку зацепить, если вздумается вешаться.

ДОМИНО

(Т р и п т и х)

I

Вечер в камере — час тоски.
Начитался — болят глаза.
Злые мысли давят виски...
— Что, Иваныч, забьем козла? —

Мне сосед. — А давайте, Ильич.
И садимся. Мешаем. Гребем.
Шутки, порем разную дичь,
Забывая подчас о том,

Где мы есть и зачем мы тут.
«Офицерский», «на сто», «трудовой»...
— Ну, довольно, пора отдохнуть.
— Засиделись, айда домой...

Вдруг да жены нас не поймут,
Примерещится им со зла
Пьянка, бабы, разная муть...
Просто — мы забивали козла.

II

В первый же вечер в тюрьме
Сосед мой, заботлив и мил,
На косточках домино
Гадать меня научил.

«Задумай, гадать на кого,
Думай и долго мешай,
По четыре сложи в семь рядов
И по однойставляй —

Мастью чтоб к масти в лад,
И справа налево сдвинь,
Где пять или больше — считать,
И так три раза подряд,
Чтоб выпало сорок один».

И я загадал на жену.
И долго кости мешал.
И видел ее одну,
Ее руками гадал, —

Но камень шел не попад,
Валился, как дело из рук:
Три чертовых дюжины в ряд
Выпали — и каюк.

И я загадал на друзей.
И долго кости мешал,
И вызвал их всех к себе,
И их руками гадал, —

В кучу сбивались кости,
Выперли вил остря,
И выпало 7 — 7 — 6...
Злы на меня друзья.

И я загадал на себя.
И кость кое-как смешал:

Уж если у них беда,
То я к чёрту в зубы попал.

Но кость цеплялась за кость,
И масть ложилась в масть,
Как будто вся моя злость
В кости перелилась —

Двадцать один, двадцать семь
И девятнадцать... Видать,
Буду только себе
В тюрьме на костях гадать.

III

В ШЕВЧЕНСКОМ ПАРКЕ

У самых ног Кобзаря,
Угрюмы — со сна ли, со зла —
Старперы ни свет, ни заря
Весь день забивают козла.

Сгрудятся серой толпой,
Ругань, и гогот, и вой,
Несут бутерброды с собой,
В обед, чтоб не шастать домой.

Потрудятся день — и во тьме
По домам себе сонно бредут...
Вот им бы и жить в тюрьме.
Да, собственно, в ней и живут.

Октябрь 1977

В тот день, а именно 7 октября 1977 года, вскоре после визита начальства, нашим героям подали в кормушку «Правду» с текстом всенародно утвержденной Конституции. Мясник глянул — и бросил. Диссидент долго и внимательно изучал ее. Потом так же долго ходил от двери к окну — 9 шагов туда, 9 назад. А потом сочинил вот это:

ОТЦЫ И ДЕТИ

(Перелицовка популярной советской песни о вечной и неразрешимой проблеме отцов и детей. В ней приятный мотив, а в словах — что-то вроде: Не созданы мы для легких путей, Такая повадка у наших детей, Мы с ними несемся навстречу ветрам...)

По городу я диссидентом бродил,
Свой хвост за собой постоянно водил.
Я знал их в лицо, провожатых моих,
Топтунов молодых,
И скрыться не мог я от них.
Куда б я ни шел, они следом, как птицы, летят,
И я перестал озираться назад.

Потом отсидел 7 + 5 — полный срок,
И вот возвратился в родной городок.
И там, где папаши за мной следом шли,
С мамашами шли, —
Их дети уже подросли.
За мною следят, словно коршуны, зорко следят...
И не фиг тебе озираться назад,
И не фиг тебе озираться назад.

Октябрь 1977

КНИГА

(Т р и п т и х)

*Заключенные следственного изолятора КГБ
имеют право пользоваться газетами и книгами
из библиотеки изолятора.*

*(Из «Правил содержания заключенных в след-
ственных изоляторах КГБ»)*

I

Книга в руке. Шелестят страницы.
Встречи. События. Годы и дни.
Речи. Разлуки. Могил вереница...
Точка — закладка. Ложись, отдохни.

Автор. А я... где я? А-а, здесь я...
В двери дыра. Вертухая глаза...
Здесь я... Зачем? На фиг мне эти песни?
И почему мне уйти нельзя?

Октябрь 1977

II

Куда ты скачешь, дон Кихот?
И где твои враги?
А кто друзья? И кто оплот?
Всё — всмятку сапоги.
Нелеп, не нужен твой поход,
Весь — с мельницами бой.
Враги — практичны и сильны,
Друзья насмешничать вольны.
Куда ты скачешь, дон Кихот!..
... Ложись-ка спать. Отбой.

*(И в 10 часов опускается «поддувало», оно же кормушка, и голос
вертухая произносит: «Отбой, сдайте очки и ручки». Гаснет
дневной свет, и зажигается ночная контролька. Надо быстрень-*

ко постелиться, и до подъема, т. е. до 6 часов утра, можешь спать.)

Ноябрь 1977

III

*И стало сердце, как земля, огромно,
Когда благословенное вино
Своей воистину великой властью
До беспредельности раздвинуло мое
В себе самом застрявшее житье
И представленье жалкое о счастье.*

Э. Верхарн. Опьянение

Подвал. И брюха бочек в обручах.
И геральдическая рать стаканов.
И влага, коей равных нет, течет
Сквозь губы меж зубами непрестанно,
Струя, в которой бродит жизни сок,
Так жарко плещет в мой стакан бездонный
Огнем и мглой. И прочь, уходит срок,
Что мне отметил неумный рок,
И ни одной задачи нерешенной!
Я гением поэта приобщен
К тем тысячам неведомых общений,
В чужие тайны перевоплощений,
Как будто сам той влагой опоен.
В подвале за тяжелым сел столом,
Налиты силою мои нагие плечи.
Грозы и солнца я возжаждал. Речи
Во мне отважные кипят огнем!
Благодарю тебя, фламандец вещей.
Ты славно угостил меня. Живем.

Написано 22 ноября 1977 года, на 24-й день голодовки протеста (против 60-летия Октября, 60 лет насилия и лжи, против новой Конституции, за критику политики Советской власти и отказ от гражданства), непосредственно после того, как меня принудительно «накормили» и «напоили» с помощью клизмы через задний проход.

14 октября, в день моего 50-летия, следователь сообщил мне, что у моего знакомого взята папка с моими рукописями, магнитофонные кассеты с моими «исповедями». Меня это очень потрясло, я был уверен в этой моей единственной «спрятанке». Тут же экспромтом сочинил две строфы. Я вручил их следователю и заявил, что их перепишу в протокол в качестве ответа на один из вопросов. Он запротестовал. Мы поругались, я все-таки записал, он порвал страницу и записал вопрос заново. Тогда я подарил ему строфы «на злую память».

Вызовы. Допросы. Протоколы.
Как по маслу следствие идет.
Им известны все мои «проколы»,
Рукописи, речи, мыслей ход.

Но, хоть поступал подчас беспечно, —
Рукописи взяли? Что ж, я рад.
В сейфах КГБ храните вечно!
Так-то, рукописи не горят.

7 ноября в прогулочном дворике я проорал дурным голосом призыв к политическим встретить славное 60-летие голодовкой протеста. При этом, поскольку то был девятый день голодовки, слегка потемнело в глазах, и немножко шлепнулся, так что в камеру был доставлен на руках вертухаями. Рассчитывал, что за этот подвиг получу карцер. Но они побоялись за мое здоровье. И через два дня, когда я лежал с голым задом в медкабинете и в меня насильно заливали питательную клизму, пришел начальник СИЗО, подполковник С., и, обращаясь к моей голой, отощавшей заднице, огласил приказ об объявлении мне выговора за нарушение дисциплины.

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ...

(Т р и п т и х)

*Поэты умирают в небесах.
Леонид Киселев*

I

Одна милая дама дала мне совет:
«Если вам суждена тюрьма —
Сочиняйте стихи там, хоть и не поэт;
Помогает, от многих слыхала сама...»

Я тогда усмехнулся. Теперь же в тюрьме
Тот совет ее вспомнил и кланяюсь ей.
Очень трудно, наверное, было бы мне,
Не засядь я за вирши с первых же дней.

Я стихов никогда не писал. Так, шутил —
Эпиграммка, пародия, песни куплет...
Так и было сперва: на запетый мотив —
Всё про зеков, то вальс, то иной всякий бред.

Но потом постепенно под мой карандаш
Мысли, звуки живые рванулись в окно
Сквозь решетку. И первыми наотмашь —
Десять строф про гадание на домино.

И пошло: то прогулка, а то дон Кихот,
То жене к юбилею, а то про допрос...
Темы валом валят, прямо неупроорот.
Насчет качества? Ну, с новичка что за спрос...

Но, как срок для ученья, считай, мне готов
Семь + пять, — я к решению иду одному:
«Эй, поэты! Хотите хороших стихов?
Не в дом творчества вам! Заслужите тюрьму!»

Октябрь 1977

II

Теперь я знаю: самых звонких строк
Не дождалась поэзии скарбница.
Одним поэтам не дано свой срок
В тюрьме отбыть, другим же и свершится —
И не дано оттуда воротиться.

А без кошунства — Пушкину везло:
Михайловское, Кишинев печальный,
Пусть не тюрьма, но ссылка. Всем назло
Какие песни пел поэт опальный!

Теперь я знаю: Осип Мандельштам
Нам неизвестен. Лучшие творенья
Он выдохнул и выкричал лишь т а м,
В застенке, в проволочном оплетенье.
Ушел — и Слово умерло в смятении,

Едва родясь.
Пустяк — бумаги клок
И карандаш. И чтоб попало к людям!
Но нету пустяка. А крик — умолк.
И Слова никогда мы знать не будем.

Январь 1978

III

Поэзия... Души свободный взлет,
Овеществленный в слове.
Я в неволе.
И как же так: дни, ночи напролет
Стихи во мне бурлят,
Как никогда доколе?
То не поэзия? То ритма, рифм игра?
Версифицирую со скуки?
Кто разберет? Огонь и от костра
И от пожара обжигает руки.
Мерещится мне так: здесь взаперти —

Мое пустое тело. Ляжет, встанет,
Покурит, съест. Смирилось, не уйти.
Но тем сильнее душа на волю тянет.
Отсюда и стихи... И дальше мысль:
О, как же ты, душа моя, рванешься,
Какой постигнешь наивысший смысл,
Когда СОВСЕМ от тела отряхнешься —
Навеки в смерти! Как ты запоешь!
Аккорд поэзии какой родится в мире!
Но людям свою песнь не принесешь.
Дрожанием тончайших струн в эфире
Она растает. Дальше — тлен и прах.
Нет тела. Нет души. Их друг без дружки — нету...
Поэзия — паренье в небесах.
Но жить и сочинять лишь на земле поэту.

16 января 1978

25 декабря следователь Слобоженюк «счел своим долгом» между прочим предупредить меня, что по статье №... чистосердечное раскаяние сплошь и рядом награждается полным помилованием, особенно если не доводить до суда. И я сказал:

— Что, много шороху за бугром? Надо бы нейтрализовать?

Он ответил: — Да. Не мешало бы нейтрализовать. Подумайте, Гелий Иванович.

Я сказал: — А если бы я подумал, то мы бы из подследственного и следователя превратились в высокие договаривающиеся стороны?

— Можно считать и так, — весьма смело ответил он.

Я поиграл с ним, задавая ему какие-то вопросы, что-то выяснял для себя, а вечером после допроса сочинил эти стишата*. Да, забыл сказать: в итоге разго-

* Стихотворение «Разговор со следователем» в тексте Снегирева предшествует этому отрывку. В нашей публикации не воспроизводится. — П р и м. р е д.

вора нашего я сказал ему глубокомысленно: подумаю, взвешу. После Нового Года дам ответ. После этого-то и происходило описанное в стихотворении «Операция Ель», а именно: в нарушение всех параграфов СИЗО мне и напарнику разрешили устроить в камере елку и в полночь встретить Новый Год. Но об этом в другом месте, это тема для чудного рассказа.

ПЕРВАЯ БОЛЬНИЧНАЯ

(24 ноября — 2 декабря 1977)

Т р и п т и х

I

Тяжкая доля! Рыбою бейся об лед.
Мне — только воля! Или — ногами вперед.
Семь раз по году — жизни остаток всплывет.
Нет, мне свободу или ногами вперед.
Выйду я сходу на боевой разворот,
Выбью свободу — или ногами вперед.
В кружку мне воду — и ни калории в рот!
Ну-ка, свободу! Нет — так ногами вперед!
Дам я им в морду. Жить не хочу, точно кот.
Вырву свободу! — Или ногами вперед.

С 10-го по 27-й день голодовки неопытные «кормильцы» в СИЗО КГБ не сумели меня принудительно кормить. Я считал себя победителем. Они заботились, уговаривали, в испуге на меня смотрели, возились со мной, как кот с салом. Я считал, что победа близка: еще немного, и они начнут выполнять мои условия (адвокат, свидание с женой, переписка) или вообще примут решение о выдворении. Но 24 ноября меня свезли в тюремную больницу, где опытные тюремщики быстренько меня накормили — в наручниках, с выламыванием рук, до хруста в позвоночнике. С 26 ноября я снял голодовку и после этого дописал:

Пятеро входят: будут кормить через зонд.
Ха! Мне свободу — или ногами вперед!
Дрался, что овод, но предрешен был исход.
Где ж ты, свобода? Значит, ногами вперед?
В воду без броду — гибло, придется в обход.
Скисла свобода. Так уж — ногами вперед?
В парашу воду! Сыпьте калории в рот!
Не вышло свободу? Фигу — ногами вперед!

II. ДОКТОРУ ИННЕ О-ой

О мила Інно! Ніжна Інно!
П. Тычина

Со зла, сплеча и сгоряча,
Плюясь, рыча бездарно,
Вас «ассистентом палача»
Я обозвал вульгарно.

И слышу вас в тот самый час
Сквозь ругань, боль, кручину:
«Вот глупый мальчик» — и тотчас
Поправились... «Мужчина».

Потом опять, как разжимать
Стал рот мне лекарь грубый,
Вы, когда стало там трещать, —
«Ой, не сжимайте зубы!»

И мэ, и бэ, и про ГБ
Я плел, а вы наивно:
— Да голодайте вы себе!
Но что так агрессивно!

Вы только в рот возьмите зонд,
Он гибкий — и отлично!
И голодовка пусть идет,
Соблюдены приличья!

Ах, доктор, будь в Приличьях суть.
Не в поддавки играю.
Хотите глубже заглянуть?
Присядьте. Разъясняю.

Идет война. Сложна, трудна.
Систем, и бомб, и мнений.
В ней цель не всем всегда видна,
В ней много разветвлений.

Скакнуть туда, потом сюда —
В той драке не годится.
И в ней стратегия одна:
«Предаст, кто усомнится».

А ваш совет — сомненья нет —
К предательству подножка:
— Ты голодал себе, мой свет,
Кормить я буду — с ложки...

Вот, Инна, так, вот, доктор, как.
Совет вам дам хороший.
Зачем вы здесь? За так, за сяк?
Запутались, за гроши?

Бегите прочь! В глухую ночь,
Пешком, в любые двери!
Тут вам помочь никто невмочь.
На свой аршин вам мерять —

Что есть усердье, в чем резон
И где определение,
В чем — милосердье, что — закон,
А где и — преступление.

Этот стишок милейшей моей докторше я сочинил в день моей выписки, прочел ей вслух и вручил на память исписанную бумажку. Она взяла. Разговор с врачом или с другими из obsługi всегда проходил под бдительным оком двух сидящих в разных углах вертухав. Доктор Инна сказала, что ей понравились стихи, а я, хоть был тощ, неделю не брит и измызган, ощутил удовлетворение автор-

скому самолюбию. Она вышла, вслед за ней немедленно направился вертухай. И я словно видел сквозь дверь, что происходило в коридоре. Вертухай подошел к ней и сказал: — Не положено, дайте сюда бумажку. Естественно, она тут же ее отдала. Я не ошибся. Через две недели мой следователь сообщил мне, что начальник СИЗО передал ему стихи, которые я вручил доктору О-ой.

III

Осінні голі дерева...
Навряд чи символом свободи
Комусь дається. Вряди-годи
У дикім лісі де, бува.

А у тюремн'єму дворі,
Порослі за камінним муром, —
Такі ж ви в'язні похмурі,
Як сірі зеки в тій порі.

Та крізь ґратоване вікно
Дивлюсь — колошкає вас вітер,
Куйовдить, крутить, геть летіти
Готові з вітром заодно.

Безтямно вітер вертить вітн.
Мені ввижається в о н о —
Одно, давно:
С В О Б О Д А.

.....

[Здесь опущено стихотворение «Операция 'Ель'», о котором Снегирев говорит в следующем отрывке. Чтобы частично резюмировать его содержание, приведем слова генерала КГБ: «Ты дай им, дай ту веточку, Дай три им, не жалея! Раскиснут, вспомнят деточек, Расколются живей». — Ред. «Континента».]

Ети куплетики написаны на реальному факте. В концe декабpя мы с соседом — 120-килограммовым

председателем колхоза Григорием Тимофеевичем — решились во что бы то ни стало встретить Новый Год, и именно в полночь, хотя отбой дается в 10 часов, и соорудить у себя в камере настоящую елку. И все было так, как записано в куплетиках, кроме поворота с «расколются живей», а впрочем, кто его знает, может, и такое произошло. Во всяком случае, елка в камере была, сверкала игрушками, стоял Дед Мороз. Мало того, ровно в двенадцать мы чокнулись... нет, не чаем, а искусно и тайно приготовленной, весьма хмельной брагой. Все это будущий юмористический рассказ — если, как говорится, Господь сподобит.

«Из снов», рассказанных во время допроса следователю С.

Все эти три сна мне в самом деле приснились, но с небольшими отклонениями. Дело в том, что с самого начала я завел со следователем С. весьма странные отношения, не здоровался, хамил, а в устных и письменных ответах (все ответы писал собственной рукой) остроумничал и изгилялся, как мог. Следователь С. очень любил изображать из себя заядлого бюрократа и без конца повторял: «Так у нас, Гелий Иванович, и положено... Нет, Гелий Иванович, так у нас не положено. С меня за это, знаете, как стружку снимут!»

Под влиянием этих «положено — не положено» приснились мне первые два сна. А вот третий сон... вещий он был, что ли? Все три сна я в самом деле прочитал следователю С., переписал их и вручил с авторской дарственной «на злую память».

СОН ПЕРВЫЙ

Так вот, капитан. Верьте, нет —
Мне приснился сегодня сон,
Будто я к вам в кабинет
На допрос, как обычно, введен.

Не здороваюсь я, как всегда,
Вы на месте. Бумаги лист.
Аккуратненько вы туда,
Будто карты сдаете в вист.

Разложили бумажек клочки —
Тут вот кучкой они такой, —
Изучаете их сквозь очки
И кладете одну к другой.

На клочках тех — ошметки слов.
Присмотрелся — моя рука!
Узнаю, удивиться готов:
То — остатки черновика!

Шел вчера здесь такой же допрос,
Как обычно — я сам писал,
Набросал, в протокол перенес,
А потом черновик порвал.

Я спросил: — Это хобби у вас?
— Так положено, — вы в унисон,
В серый сейф нырнули тотчас
И достали клею флакон.

— Но зачем же работа зря?
Вы б сказали — не стал бы крошить!
— Не положено. Нам нельзя.
Я обязан восстановить...

И тут я проснулся.

9 октября 1977

Когда ведут на допрос, дважды шмонают у дверей камеры в коридоре — до и после. Вообще происходит все так.

Открывается кормушка, влезает рожа вертухая: — Кто на «ЭС»? — Я на «ЭС». — Фамилия! Я отвечал грубо: — Не морочь яйца. Что, допрос? — Да, собирайтесь. Выводят тебя, и тут же шмон — для проформы, поверхностный: хлопают по карманам, изучают футляр для очков, спички. Идем. По коридорам и лестницам СИЗО, через двор, потом по коридорам и лестницам главного корпуса ГБ. Ведет один, все время щелкает пальцами (обучены!) или хлопает в ладоши — веду зека! — чтобы не допустить нежелательных столкновений-узнаваний. Заводит он меня в кабинет следователя, сдает меня ему под расписку. Окончив допрос, следователь звонит, присылают того же вертухая, и ведет он меня назад — да, забыл, в дороге обязательно «руки за спину», и у двери камеры такой же шмон.

Как-то я спросил следователя С.: — Скажите, а вас при входе на работу и при уходе — обыскивают? Он изумился: — С чего вы взяли? Конечно, нет! — Неправда, еще как шмонают. — Что за глупости... — А вот и не глупости. Меня по дороге к вам и от вас — шмонают? — Ну? — Так это же не меня шмонают, а вас. — ??? — А подумайте: меня ведут к вам, и, кроме вас, я ни с кем не общаюсь. За мной зорко следит вертухай и никакого контакта не допускает. Значит, шмонают вас: или я вам что-то несу, или вы мне что-то вручили. Разве не так? Вас обыскивают, вас! Следователь С. со скрипом посмеялся: — Шутник вы, Гелий Иванович!

СОН ВТОРОЙ

Так вот, капитан, верьте, нет —
Мне приснился сегодня сон.
Захожу я к вам в кабинет,
Как обычно — вы за столом.

Не здороваюсь я, как всегда,
И за столик сажусь. Контролер,
Как всегда, вам расписку подал,
Расчеркнулись вы. Вдруг в упор:

— Обыск! — рывкнул на весь кабинет,
И вбегает еще другой.

— Раздевайтесь! — команда вслед,
Нам обоим махнул рукой.

Я опешил, стою как дурак.
Вы ж спокойно, достойно вполне,
Сняли галстук, рубашку, пиджак,
Подмигнули с улыбкой мне:

— Так положено здесь у нас.
Контролер же, гроза в глазах:
— Вам отдельный, что ли, приказ? —
Вмиг остался в одних трусах.

— Догола! — Прикрываю срам.
Вы меж тем, не дую в усы,
Сняли и положили вон там
И носки, и часы, и трусы.

Сели в кресло вы, наг и бос,
Взяли ручку, готовясь писать.
— Мы, пожалуй, начнем допрос.
Чтоб работе их не мешать.

Вертухаи меж тем чинят шмон,
Мнут карманы и щупают швы...
Я гляжу, как во сне вижу сон.
Вдруг дает он мне... ваши штаны!

И рубаху мне вашу дает.
— Не мои! Не желаю брать!
Он мне все-таки ваше прет.
— Одевайтесь! Не рассуждать!

Ну, напялил я ваши штаны,
Апеллируя к вам — что за бред?
Но спокойно с улыбкой вы:
— Так положено, бреда нет.

И надели рубашку мою.
И заправили брюки мои...

Я ж, как поц, извините, стою,
Собираю мыслишки свои.

И, пройдя через кабинет,
Сели вы за мой зековский стол
И сказали:
— Отныне вы след...
И тут я проснулся.

24 октября 1977

СОН ТРЕТИЙ

.....

[Третий сон, начинающийся примерно той же формулой «захожу я в ваш кабинет», что первые два, продолжается появлением в кабинете полковника Туркина — «Симпатичный, приятный такой, На Аркадия Райкина схож...», который извещает Снегирева о неожиданном освобождении. — Р е д. «К о н т и н е н т а».]

— Вот ваш паспорт. Вот пропуск ваш.
Вы свободны. — П-пропуск? К-куда?
И опять в голове ералаш,
Без систем и схем ерунда.

И уже я вахтеру сую
Паспортину. Он честь мне отдал —
И на улице я стою,
Рюкзачишко плечом поддал.

Паспорт прячу. Постой, а на кой
Паспорт, паспорт со мной зачем?
Я от паспорта смелой рукой
Отказался напрочь насовсем.

Паспорт свой им швырну в упор!
Как же так, испугался, в кусты?..
Ладно, там разберусь, зато
Ты на воле! На воле ты!

Я — направо, налево,
И к Владимирской шаг шагнул...
И тотчас заспешил назад,
В переулок глухой повернул.

Не хочу никого повстречать!
Почему? Не желаю и все!..
А навстречу — уже не удрать —
Двух приятелей чёрт несет.

— Т-ты?! Здорово!.. Так ты же — там!..
— Да, вот так, был. А стал тут...
— Отпустили?! — Вот только что. Сам
Не опомнюсь. Ну, будьте, салют...

И спешу, и чугун в ногах,
Не оглянусь, но вижу: стоят,
И, хотя ничего не слышать,
Все услышал, что говорят:

— Раскололся, стало быть, сник!..
— Да-да-а, раскололся, стало быть, в пух...
— Э-э, ведь теперь — их шпик...
— Ш-ш, ни слова при нем вслух...

Я в подъезд заползаю глухой,
Отстояться, унять дрожь,
Отстоюсь, а стемнеет — домой,
И никто там меня не трожь!

Там жена пожалеет... Жена?
А она-то поверит? Как знать.
Ну, поверит. Но ведь — одна,
А друзей уж теперь не собрать.

А потом «шорох» там, за «бугром» —
Чем он это у них заслужил?
А потом... А еще потом...
Нет дыхания... нету сил.

Вот оно: полковник Туркин
С крупным счетом сыграл турнир!..

И бегу я назад, бегу,
И никак не могу, не могу
Я пролезть в ту широкую дверь,
И вахтеру, как загнанный зверь,
Паспортину сую, сую,
И прошу, и молю, и молю:
— Мне к себе! Мне к себе, к себе!
Мне в СИЗО! Мне в СИЗО Ке Ге Бе!
Моя камера там пуста!
Моя полка не занята!
Мне на волю не по пути!
Пропусти... отпусти... пусти!!!

И тут я проснулся с воплем «Пусти-и-и!» и, как говорится, в холодном поту.

15 февраля 1978

МАРТ 78 — БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ...

Плохо мне стало уже в январе. Где-то в середине февраля было произнесено слово «стенокардия». Сошелся консилиум, три врача, слушали, измеряли, в сотый раз снимали ЭКГ, со следующего дня молодой, приятный кардиолог стал приезжать ежедневно — и от него-то я и услышал: «Стенокардийка, что ж...»

Продолжали пичкать панангином и коронтином, на ночь кололи тройное — папаверин, анальгин, димедрол (без них я уже не спал, боли в груди и бедре мучали). В бедре подтвердили радикулит, чем-то мазали, натирали.

Становилось все хуже. Допросы стали к февралю редки, все уже было обспрошено, и на все мною было нагло и находчиво отвечено, но следовательно Слободенюк все же обязан был раза два в неделю меня

вызывать, и где-то 20 февраля я отказался ходить в следственный корпус. Он опять, как во время конца голодовки в ноябре, стал приходить для допросов в СИЗО.

1 марта я сочинил стишок, в коем задавался — выдержу любую боль; он и стал первым в триптихе «Белый флаг».

2 марта я досыпал бессонную ночь (укол уже давал мало эффекта), повернувшись ко всему миру задом, когда стукнуло, грюкнуло, потом лязгнуло, и вошел начальник СИЗО подполковник Сапожников. Я давно объяснил, что не встаю в его присутствии, и только повернулся и поглядел. Он подошел к койке, по-братски положил мне руку на плечо и сказал:

— Гелий Иванович, на этот раз вам все-таки придется встать. Собирайтесь в больницу.

— В какую? В ту же, где вы меня пытались кормить?

— Да, другой у нас нет.

— Вы считаете, что там в тюремных условиях меня могут вылечить?

— Мы обязаны вас госпитализировать, поместить в стационар.

— Ясно. Вопрос решен — моего согласия не спрашивают. Сразу и ехать?

— Да. Вставайте, собирайтесь, берите все необходимое, и будем ехать.

Я поднялся, сел, морщась от боли в груди и бедре.

— Хорошо. Передайте Слобоженюку, что я хочу с ним до отъезда увидеться.

— Сейчас распоряжусь.

Сборы недолги, хотя накануне, 28 февраля, жена принесла передачу, а в передаче разрешили мед, а мед вылили из стеклянной банки в миску, и решение проблемы транспортировки меда отняло много усилий, и умственных, и физических.

Между тем опять вошел Сапожников и сообщил, что следователь меня ждет. Меня повели, и произошел такой диалог:

— Вы полагаете, что сложные сердечные обострения можно успешно лечить в условиях того места, куда вы меня направляете?

— Других условий, Гелий Иванович, у нас нет.

— Вы думаете, что болезнь, для излечения которой необходимо хорошее настроение и забота родных рук, можно лечить в камере с решеткой, с часовым у двери, силами профессоров в тюремных сапогах?

— Вас помещают в стационар, где успешно лечат самых разных больных.

— Ну, что ж, — нагло говорю я, — имеете шанс получить свеженький труп 50-летнего мужчины. И вы не боитесь?

— А что нам бояться? Везде можно заболеть, Гелий Иванович, и все может случиться...

— Пожалуй, верно.

Я потребовал бумагу и сочинил заявление прокуратуре и начальству КГБ сразу. Смысл его был таков: сперва вот та красивая фраза, что я изрек Слобоженюку по поводу лечения сердечной болезни без родного тепла рук за решеткой. Дальше шло:

— Говорят, где-то в странах прогнившего Запада (даже чуть ли не у фашистской хунты Пиночета!) существует правило — в подобных случаях отпускать подследственного под залог. Как обстоит с этим делом в нашей — самой демократичной и человеческой стране? Кажется, у нас существует изменение меры пресечения — т. е. меня могли бы для лечения, продолжая следствие, освободить из-под стражи?

После этого я поставил три требования:

1. Немедленно уведомить жену о моей болезни и переводе в тюремную больницу.

2. Немедленно предоставить свидание с женой.

3. В самом спешном порядке, в связи с тяжелей-

шим сердечным обострением плюс радикулит — сочетание, лишаящее меня сна и излечимое только в условиях свободы, — принять решение об изменении меры пресечения и дать мне возможность лечиться в вольных условиях.

Ответ ждать себя не заставил. На другой день следователь Слобоженюк привез красивую бумагу со штампами, печатями и подписями.

Подписали кто-то из прокуратуры и начальник следственного отдела КГБ Украины полковник Туркин В. — тот самый, что приснился мне в «Третьем сне, рассказанном следователю Слобоженюку» и что на «артиста Райкина похож».

В бумаге значилось:

1. Свидание с женой разрешено быть не может, поскольку жена принимала участие в изготовлении и распространении антисоветских документов Снегирева и свидание может нанести ущерб следствию.

2. Изменение меры пресечения — т. е. освобождение Снегирева из-под стражи для лечения — нецелесообразно, поскольку может нанести ущерб проведению следствия.

На требование сообщить жене о болезни и больнице вовсе не последовало ответа.

Вот так. Кратко, сжато. И всё — в интересах следствия. А ты иди сдохни. Но я забежал вперед. Сочинив 2 марта свое грозное «требую!», я вручил его Слобоженюку и услышал:

— Эти ваши требования, Гелий Иванович, звучат нелепо и только вызовут раздражение у начальства. Вам сейчас, знаете, о чем надо подумать? Помните наш разговор в начале января — вы еще стишки разные тогда сочиняли?

— Вы все-таки опять о покаянном варианте?

С достоинством и спокойствием, преодолевая боль, я поднялся из-за стола.

— Этого не будет. Забудьте.

— А зря, — негромко процедил Слобоженюк, укладывая в папку мою бумагу. — Был бы совсем другой разговор.

Через полчаса я уселся между двух вертухаев и по знакомым, любимым, желанным, проклятым улицам вторично отправился в Лукьяновскую тюрьму.

ПРОКЛЯТЫЙ МЕСЯЦ МАРТ...

Мне надо записать все шесть месяцев моих под следствием, с сентября запомненных стишков мало, но я не знаю, сколько мне дано времени, и спешу хоть как-то, второпях, лежа изогнутый в три погибели и почти не видя строки, записать главное — март. Весь ужас, все омерзение, и как я сломался.

Пишу в больнице. Парализован — с марта. Прошел месяц после операции, и у меня ощущение, что надвигается вторая. Врачи мои мне почти прямо говорят: всякие срезы, посевы, стекла, пленки — плохи, утешают меня — вон, мол, сколько случаев, вон женщина после операции внука воспитывает. Ладно, пусть воспитывает, и я хочу.

Словом, успеть бы записать март. Пишется быстро, но ужасно тяжело физически писать: лежу на левом боку, сердце зажато, все болит, строку не вижу, перечитать не могу.

2 марта я прибыл в свою старую родную палату — изолятор Лукьяновской тюрьмы. Все то же — знакомое, почти родное: кашка манная (4 ложки) и творог (шарик в 5 граммов) на завтрак, наваристого борщу от пуза и каша с куском вареного мяса в обед, картошка с тюлькой на ужин.

Большое окно — решетка, особый щит из непрозрачного стекла, сетка из проволоки — так все устроено, что видишь только верхушки деревьев где-то неподалеку; но в рамках — стекло, даже в одной раме вы-

бит кусок и бумагой заклеен: там дома, в СИЗО, в окнах слюда, полное отсутствие режущих предметов.

Кровать, стол, два стула (один — деревянный, другой с обивкой — для зада вертухайского: три пары их сменяются возле меня по суткам, и днем или вечером один из двоих, как правило, сидел в камере с книжкой), вешалка, умывальник, он же писсуар для меня, пока текла моча.

Только доктора Инну свою я не застал — то ли ее больше ко мне не прикрепили, то ли, чем черт не шутит, подействовали на нее мои «Бегите прочь, в глущую ночь, пешком, в любые двери!» — сбежала она из тюрьмы.

Врачом мне назначили некоего Виктора Васильевича. Речь о нем впереди.

Пошли кардиограммы, анализы мочи и крови, панангины, анальгины и димедролы. А на тумбочке лежали Валентин Распутин («Последний срок» и рассказы — не читал я их раньше, так и вникал сквозь боль) и Генрих Манн — до него не дошло.

Май — пишу о марте. Нет, надо еще короче. Выложить основу, политику, суть преступления. Дарует Господь времени, и детали прочерчу.

Числа 5 марта начала отниматься правая нога — от носков вверх. Боли в бедре и во всех костях. И в груди. С того же дня перестал без клизмы какать, да и клизмание давало мало: вышла вода, а надуваться невозможно больно (стенокардия). 12-го правая нога отнялась совсем — лежала мертвая и уже не болела, и то же пошло в левой. Не испражнялся уже дней пять. Поставили 17 марта клизму, перетасили меня санитар Шурик (интересная фигура) с одним сердобольным вертухаем на расшатанный стульчак над ведром; вода вышла, дуться не мог. И тогда, изгибаясь и балансируя, сам себе залез пальцем в зад и полчаса выдирает оттуда куски окаменевшего дерьма. Шурик смотрел с ужасом, вертухай убежал вон от

вони и грязи. Потом Шурик поливал на руки, на бедра. Как я там отмылся — воняло все дерьмом, а руки, по-моему, до сих пор воняют. Когда меня перетаскивали со стульчака на койку (тот самый сердобольный вертухай и Шурик), Шурик вдруг крикнул:

— Э, ты сцишь.

Пошла вдруг моча, которая уже сутки там сидела. Вертухай отскочил, ругаясь. Упал я уже на койку. Облил ее всю, как-то подвернули, в мокром спал. Оттуда и начался пролежень на крестце, который до сих пор цветет.

Я потребовал врачей для консультации. Пришел хирург (местный майор в сапогах и фуражке с малиновым околышем) — не по его части. Три дня ждали невропатолога — пришлого, своего не держат. Пришел — толковый, внимательный, долго осматривал, стучал молотком, колол, царапал, чертил. Я узнал, что тело мое потеряло чувствительность от пальцев ног до ребер, что с мочой и калом так и должно быть.

— Остальное я изложу вашему лечащему врачу. Да, для полной уверенности в диагнозе необходима спинно-мозговая пункция.

Я тут же от пункции в тюремных условиях отказался.

Названия и сути моей болезни я таким образом от консультанта не узнал, но по полусловам его моему фашисту-врачу, по крестикам и ноликам, которые он рисовал у меня на спине между лопаток, понял: порча в позвоночнике, где-то у шеи.

И сразу догадка: у шеи? Не там ли, где меня особенно «бережно» удерживали и зажимали мои кормильцы (см. стишата «Первая Больничная»)?

И еще: как только коснулся в первый раз невропатолог мой чего-то там у меня на спине, словно бы кольнуло меня легонько, где-то в глубине. Мысль ли какая-то, ощущение, на дне памяти засевшее, а что — не знаю, не могу вспомнить.

Из жутких моментов — еще один.

Было это где-то в те же дни, левая нога тоже не держалась уже, только весь низ моего тела передергивали судороги. Ребра стягивал обруч, будто изнутри распирало. Я почти не пил, почти не ел, не мочился и не испражнялся целый день.

Ежедневно появлялся мой врач — Виктор Васильевич, — молодой, сдержанный, вежливый, заботливый. Он говорил, что я преувеличиваю, что надо не поддаваться самовнушению, писать тугоструй и хорошо какать, и уже во всяком случае каждый день по три часа сидеть: под спину на кровать перевернутый стул, и, на него откинувшись, сидеть, кушать, читать, писать, участвовать в допросах.

Утром после бредовой ночи — спал я, нежно прижимая персонально для меня приобретенную «утку», но она оставалась порожней, ворочали меня с боку на бок Шурик с вертухаем — проснулся весь раздутый от мочи и дерьма. Звал фельдшера, сестру — ничем они помочь не могли:

— Вот сейчас придет врач.

Часов в 11 пришел врач. Пощупал живот, велел опять же сидеть, тогда пойдет и моча и кал, но раз такое дело — он может дать слабительное, а чтобы наверняка — то посильнее: английскую соль, двойную дозу. Выпил я соль, была она в холодной воде, не растворилась, и я ее сгрыз — и потянуло меня пить. Литра два воды выпил я в тот день.

К вечеру меня раздувало еще больше: соль действовать не собиралась. В 7 вечера пришел Виктор Васильевич, сказал:

— Да, не подействовала.

Дал выпить рюмку касторки, велел поставить масляную клизму.

— Это вас сразу освободит, — и исчез.

Но меня не освободило. Клизма тотчас выскочила в судно, и сколько я ни дулся — ни фиги.

Ночь была... Ну, словом, вздут до предела, моча вот-вот потечет горлом вместе с касторовым калом. Утром меня усадили, и я часа полтора рвал касторкой с желчью. Съел ложку меда и стал рвать медом с желчью. Моча и дерьмо, не преувеличиваю, циркулировали в голове.

Фельдшер и сестра помочь опять ничем не могли. Виктор Васильевич в этот день отсутствовал — научная конференция. Наконец, догадались вызвать хирурга, Бориса Борисовича. Звали его часа два. По моему, я уже коротко всхрипывал, когда он явился.

Короче. Хирург выцедил из меня катетром полторы утки чудесной мочи, а затем велел делать сифонную клизму: я лежал на боку, задницей на самом краю кровати на клеенке, — в меня вливали воду, какое-то время она во мне задерживалась, а потом с дерьмом била фонтаном. Пропустили ведра полтора воды — и Борис Борисович не уходил, руководил сам.

Потом на другую сторону кровати, отодвинув от стенки, — промыли кишечник: заглотал я тот самый гибкий зонд, которым меня три месяца назад здесь же насильственно кормили. Лили в него воду через воронку, а она лилась через рот и нос со слизью, горечью, сладостью и ошмётками.

Потом меня оставили одного в той же позиции, и у меня еще долго хлестало из зада. Потом опять пришли люди, как-то что-то мокрое убрали, подоткнули, перевернули меня.

Не знаю, стало ли мне легче. Мне было всё равно. Я весь чувствовал себя в дерьме и моче, внутри и снаружи...

Удивительно во всем этом вот что. Пишу я это, лежа в современном цивилизованном отделении одной из лучших киевских больниц, здесь опытные, внимательные, уделяющие мне много внимания врачи. Я парализован, моча течет в утку, ставят клизмы. По рекомендации моего знакомого врача в поисках лечения от рака (!) держу диету: уже 10 дней — соки, кислое молоко, яблоки.

Тем не менее, из меня при чистке с клизмой, как я в тюрьме пальцами из себя сам, выковыривают кучу окаменевшего дерьма, спускаются вниз старые залежи. Через день, а то и каждый день — вспышки температуры; доктора удивляются — отчего? Вчера прошу:

— А сделайте-ка мне сифонную клизму.

— Зачем? Вы же ничего не едите с вашей дурацкой диетой, там же ничего нет.

— Ладно, сделайте.

Делают. И вынимают из меня килограмма два дерьма, а сколько вони, газов. Уже кончили лить, а говно, уже жидкое, все ползет.

Понятная картина: залежи месячного стажа, типичное отравление организма собственными экскрементами.

Здесь хорошие, внимательные, знающие врачи. Здесь царство бесплатного и безответственного советского здравоохранения.

... Вот теперь самое время спросить:

— Почему же ты не покончил с собой?

Вопрос нелеп. Покончить было невозможно. Неподвижен, ни повеситься, ни удушиться. Ни ножа, ни куска стекла (очки забраны, только на допрос). И вертухаи тут как тут: днем — оба, ночью — посменно, каждую минуту вертят глазок. Они для этого ко мне и приставлены, а не для оказания санитарной помощи. Невозможно.

Когда меня распирало, когда задыхался от мочи и говна, молил я Господа, чтобы прекратил он мучу мою. Чтоб мучки прекратил и сломаться не допустил. Но Господь не внял. Мученья длятся и сегодня, а сломался я тогда же.

Допросы по всякой мелочёвке продолжались — в среднем через день. Следовательно Слобоженюку надо было наблюдать нарастание моей агонии. Он расспрашивал о здоровье, о лечении, сочувствовал, принимал какие-то меры, потом стал (за свой счет! — ?) приводить мне кефир — и я что-то говорил, о чем-то просил.

И, наконец, он дождался.

— Слушайте, Слобоженюк, что, ни пункций, ни лечения моей болезни здесь вести невозможно?

— Н-ну, почему, всё лечат.

— Бросьте. Это лечат в институте нейрохирургии.

— Конечно, там вернее.

— Так что же? Будем иметь свеженький труп 50-летнего мужчины?

— Ну, почему же.

— А ведь это не в ваших интересах, Слобоженюк, согласитесь.

И опять знакомая фраза:

— Что ж, Гелий Иванович, везде умирают.

— Логично, и все-таки вам очень не хотелось бы, чтобы политический заключенный издох под следствием.

— Да, не хотелось бы.

— Так как же лечить его, как же ему не дать издохнуть?

— Переводить вас в обычную больницу и содержать там под стражей мы не можем. Значит, будут как-то лечить здесь.

— Об этом уже говорено: трупик.

— Есть, Гелий Иванович, единственный вариант. Может быть, еще не поздно, хотя дело почти окончено и сейчас это труднее, не знаю, пойдет ли на это начальство.

— Опять же — чистосердечное раскаяние?

— Да.

— Так сказать, под медицинской пыткой? Выкручивание рук, да еще к тому же больных?

— Ну-ну-ну, что вы себе позволяете?

— Называю вещи своими именами, следовательно Слобоженюк.

— Не хочу даже слышать такого.

Помолчали. И Слобоженюк заговорил о том, что, может быть, еще и не поздно, начальство пойдет, а

помилование в связи с чистосердечным раскаянием сейчас, в ходе следствия, до суда, это совсем не то, что после суда, да и когда он еще будет — ведь нельзя же на суд в таком состоянии, и я буду чист, и с жены спадут всякие обвинения, и детям никто никогда не вспомнит...

— Подумайте, Гелий Иванович, хорошо подумайте. Есть еще время, но его уже мало.

И я промолчал. И этим все сказал.

И 13 марта я сочинил второй стишок Триптиха. Сочинил оправдание своего предательства. Все красиво: «не моральных — физических сил не хватило...»

Сочинилась и проза. Как III в Триптих. Выглядела она искренне, и моя по стилю, и написана. Счастье, что тупоголовые жандармы заменили ее своей.

Звучала она так:

Правительству СССР

Благодарю правительство СССР за проявленное ко мне разумное милосердие.

Полгода я провел под следствием КГБ. Я был арестован за сочинение и распространение моих так называемых «документов», порочащих Советское государство. За эти полгода я много передумал, переоценил и осознал по-новому. И пришел к выводу, что все мои взгляды и настроения в корне неверны.

Я не сумел верно оценить основные узловые моменты в истории Советского государства и пришел к ошибочным выводам. Из ошибок и недоделок, неизбежных при строительстве всякого нового общества, я сделал вывод о несостоятельности советской социалистической системы.

Далее я писал, что сожалею, что мои «документы» попали по моей вине за рубеж и стали оружием антисоветской пропаганды, каялся в том, что отказал-

ся от советского гражданства, и просил вернуть мой паспорт, поскольку «за эти полгода окончательно осознал, что не мыслю жизни вне Родины», обещал вести себя достойно, как подобает, и в заключение просил прессу опубликовать мое заявление.

Идиотская профессиональная привычка: не смог написать похуже, не в своей манере. К счастью, говорю еще раз, подправили гебисты.

Почему я выбрал форму благодарности Правительству? Искал, болван, гарантий: сумеют напечатать только после того, как освободят, как будто им трудно заменить «Благодарность Правительству» на «Прошу Правительство»...

Итак, всё. Триптих «Белый флаг» готов. Осталось объявить следователю.

На другой день утром произошел такой разговор с моим врачом Виктором Васильевичем.

— Скажите, доктор, как же вы собираетесь лечить здесь меня дальше?

— Не знаю. Вы же отказались от спинно-мозговой пункции, диагноз неизвестен.

— Пусть я соглашусь, диагноз станет известен — кровоизлияние в спинной мозг или опухоль, — но лечить здесь в ваших условиях этого нельзя.

Почти торжественно он изрек:

— Могу заверить вас в одном: ни в какую другую больницу вы отсюда направлены не будете.

— Ну, ваши заверения немного стоят, мою судьбу решают чины повыше.

Он посуровел, глянул зло.

— Тем не менее, я знаю, что говорю.

— Ясно. Значит, мне отсюда не выйти. Так?

Он промолчал.

— А вы знаете, Виктор Васильевич, как это называется? По нормам человеческой морали?

— Нет, не знаю.

— Фашизм.

Его передернуло, хотел возмутиться, но смолчал. А я продолжал:

— Можно уточнить: пыточное следствие.

Четким военным шагом он вышел из палаты. За ним последовали вертухай.

31 марта мой лекарь провожал меня — стоял на лестнице, когда меня пронесли мимо на носилках. И я сказал:

— Эй, лекарь, попейте вечером чаю с сахаром из моей мочи!

...Нет, я этого не сказал. Подумал: юмор на лестнице. Я лишь попытался слабо махнуть рукой — ладно, мол, финита...

Явился Слобоженюк, и я сообщил ему, что решение мною принято. Как ни прятал он радость, она из него так и пёрла. Я прочитал ему «Благодарю Правительство». Он радовался, скрывал, говорил, что как основа политического (т. е. для прессы) документа это неплохо, но главное — большой документ с мотивами, раскаянием и деталями для следствия, на основании которого будет написано постановление об освобождении.

— Ну, этот документ вы мне сочините сами, — сказал я.

Он согласился.

Что-то он вякнул, что я непозволительно вел себя с врачом, на что я отпарировал:

— Не сдохнет. Скушаете, раз уж каюсь.

— Ну, знаете, все-таки осторожнее, не так резко.

Тут я потребовал гарантий. Я раскаюсь, все напишу и подпишу, вы потом все это используете, а свободу я фиг увижу?

— Какие могут быть гарантии? — озадачился он.

— Свидание с женой. Пусть она придет сюда, и вы в моем присутствии сообщите ей, что вот я немножко болен, раскаялся и такого-то числа буду освобожден. Для меня это — вполне достаточная гарантия.

Он засомневался, сказал, что подумает (т. е. посоветуется с начальством), а на другой день сказал:

— Отпадает. Свидание с женой отпадает.

Идиоты! Как же они боялись, что жена взглядом, полсловом даст мне понять, какой вокруг меня поднялся шум, и тем самым удержит меня от покаяния.

Два дня я настаивал на своем, а он твердил — нет, невозможно. Между тем становилось все хуже, и я по-прежнему валялся в дерьме. А когда вечером приходил фельдшер в фуражке, сапогах и грязном халате и выпускал мне мочу (мыл он перед тем руки?), то в коридоре я слышал веселые, к фельдшеру обращенные вопросы:

— Ну, кончил колоть сифилитиков?

— Хорошо, какие же гарантии? — спросил я Слобоженюка.

— Каких вы хотите гарантий? Наше слово — вот гарантия. А кроме того, подумайте сами: зачем нам вас обманывать?

— Ну, слово ваше — наплевать и растереть... А насчет зачем — тут есть резон...

И я изрек формулу:

— Моя болезнь — ваш союзник, вы это знали с самого начала. Но в то же время теперь она вас подстегивает к тому, чтобы все-таки обойтись без трупа.

Болваны! Если бы я не валялся в дерьме, если б не убивала боль, если бы сохранились еще хоть какие-то силы — из-за одной их боязни свидания с Галкой я не пошел бы на покаяние! Причиной их боязни могло быть только одно: слишком большой шум «за бугром», и они по дурости своей признавали — да, шум большой.

— Ладно. Пусть без гарантий. Пусть завтра приезжает полковник Туркин — с меня достаточно разговора с ним.

Как же Слобоженюк подскочил, как едва скрыл

свое счастье, его пронзившее! Когда-то при начале следствия я ему сказал; что он, капитан Слобоженюк, майорской звезды на мне не заработает, еще и спел издевательский куплетец: «Я его оскорбил, сказал: — Капитан, никогда ты не будешь майором». И вот обернулось иначе.

— Да, да, конечно, завтра с утра, обязательно, — засуетился он. — Часам к 11-ти — процедуры к этому времени все закончат?

— Какие процедуры — один укол витамина.

— Да, да, Гелий Иванович, надо в настоящую больницу. Вы правы, здесь, конечно, не лечение. И пункция здесь ни к чему, вы правы. Надо вам поскорее в неврологическое отделение, в хорошую больницу. Ну, теперь всё, Гелий Иванович, в ваших руках!

Разговор этот происходил в четверг, 23 марта. И до самого 31 марта Слобоженюк ежедневно повторял:

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы вы покинули это заведение здоровым, вышли отсюда собственными ногами!

На что я однообразно отвечал:

— Это возможно только при варианте — ногами вперед.

А обруч сжимал грудь все туже, а боль в груди все усиливалась, пузырь распирало (мочу спускали раз в сутки, вечером, пил как можно меньше). Появилась температура — к вечеру 38-38,5°. На крестце случайно обнаружили пролежень, бросились мазать, заклеивать — как же, свидетельство плохого ухода.

24 марта в пол-одиннадцатого вбежал Слобоженюк.

— Сейчас, сейчас придет Владимир Петрович.

Он заходил по палате и при этом просил меня о том, чтобы я все-таки поздоровался, и называл Владимиром Петровичем, и не позволял себе ненужных резкостей, и даже намекнул бы начальнику, что раскаяние мое не от беды, а в самом деле искреннее.

— Гелий Иванович, ведь это все теперь уже роли

не играет, а на вопрос вашего освобождения повлияет, не сомневайтесь, и даже — что очень важно! — ускорит сроки. Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы ушли отсюда своими ногами!

И появился Туркин. Ну — типичный дедушка Райкин, само обаяние, тихий голос, мягкость во всем.

— Вот, полковник, — начал я, — мой друг капитан Слобоженюк, как и перед первой встречей, просил меня, чтобы я был с вами вежлив — поздоровался бы, назвал по имени-отчеству и пр. На сей раз я выполняю его просьбу: приветствую вас, Владимир Петрович, несущий мне избавление. Ну, а насчет искренности или неискренности раскаяния — я полагаю, для вас это не так уж важно: я покаялся, разоружился, признал себя банкротом, ни в какие политические игры более не полезу — а с вас этого достаточно.

Он поулыбался, что-то сказал, согласился. Затем мы единодушно решили, что действовать необходимо с максимальной быстротой, в этом заинтересованы и они, и я, ибо мне день ото дня все хуже. Сообщил мне Туркин, что опухоли у меня нет, в этом его заверили врачи по результатам тюремного рентгена. Решили, что капитан не пожалеет своего ни личного, ни служебного времени, чтоб сочинить то мое большое заявление следствию и прокуратуре, а затем не менее обширное «Решение прокуратуры и следствия»: эти бумаги должны были обежать множество инстанций.

— Да, полковник, но где же все-таки гарантии, что меня освободят? В свидании с женой вы отказали — чему верить?

И он добро и ласково, веско сказал:

— Поверьте мне. Поверьте моему слову. Вы будете освобождены. Надо только написать все так, как положено. Но вы напишете, это я уже вижу. Писать вы умеете, и все вам понятно.

Ах ты, сволочь паршивая, — раскусил меня, добрый дедушка, все ему во мне понятно!

Я сказал:

— Настоятельно прошу вас уложиться к следующему уик-энду. Сегодня пятница. До следующей пятницы обещаю вытянуть, субботы и воскресенья не обещаю, могу не пережить.

— Мы сделаем все возможное. Думаю, что успеем. Но, Гелий Иванович, в случае чего — вы же сильный человек, ну как-то там до понедельника.

— Не выдержу, — криком простонал я.

— Постараемся, Гелий Иванович, постараемся. Думаю, успеем.

Затем я спросил, куда они меня свезут, и сказал, что есть у меня влиятельные родственники, которые могли бы принять меры.

— Ну, Гелий Иванович, — даже обиделся Райкин, — я думаю, у нас (у н а с !) все-таки немножко больше возможностей, чем у ваших родственников. Вы будете устроены как положено, не беспокойтесь.

Тут он не солгал: в палате Октябрьской больницы, куда меня привезли, заранее была отлажена подслушивающая аппаратура, а на другой день с утра соседнюю кровать занял глуховатый еврей; то же повторилось потом и в институте нейрохирургии, только уже тут был не еврей и не глуховатый, и опять же в Октябрьской, когда я вернулся после операции: не еврей, но уж совсем глухой. Странный шаблон, эта глухота у сексотов!

Это было 24 марта, в пятницу. С этого дня я перестал молиться. Мои длинные, добрые, с видениями ближних моих, о которых я просил Бога, с видением суровых Божьих глаз сны — пропали, растворились, прекратились. Я или забывал о молитве, или вспоминал, но вскоре терял нить, или комкал и не доводил до конца. Господь не принимал моих молитв.

И прану мою йоговскую я с этого дня перестал гонять по телу — по всем органам, по всем закоулкам. Зато стал вдвое курить. Если до того курил по полсигаретки, то теперь стал по полной, пачку в день.

Иногда, накурившись до перебоев в сердце, до экстрасистол и тахикардии, хватал тут же новую, затягивался раз, два, три — ну же, ну, останавливайся, сердце, хватит, будем кончать? — нет, оно не кончило.

Молиться не могу и по сей день. И прана не гоняется. А курить бросил совсем. Хочу пока жить. Когда удастся в молитве вызвать моих дорогих покойников — маму, отца, деда, Лёнушку¹, Наталью Аркадьевну², дядю Гришу, Бориса Федоровича³, — они улыбаются мне добро, приветливо, приглашающе, словно говорят: «Мы ждем тебя, иди к нам!» И тогда я прошу их выпросить у Господа и ангелов еще немного времени — чтобы успеть закончить земные мои дела, вот эти дела, вот эту писанину. А что толку? Время мне отпускают гораздо ближе, совсем другие.

*— Да исполню я повеления Твои, Господи!
А в чем они, повеления Твои?*

Можно на этом и заканчивать. В тот же день в течение пяти часов «мы» со Слобоженюком сочинили большое мое «раскаяние» — прокуратуре и следствию. Два дня он не появлялся — видимо, сочинял то расширенное «Постановление». Потом появился, привез кефир, убедился, что мне совсем худо и что таки-да надо спешить изо всех сил, — я курил, ничего не мог есть (ложка меду и бутылка кефира в день), то ли спал, то ли бредил. 30-го в четверг, чувствовал, что силы и в самом деле на исходе, и целый день пел песни: перепел всё, что вспомнил, — Окуджаву, Галича, Высоцкого.

¹ Леонид Киселев, киевский поэт, умерший в 1968 г. в возрасте 22 лет.

² Н. А. Довженко, врач, умерла в 1977 г. Последние годы Г. С. был очень дружен с ней.

³ Б. Ф. Матушевский, один из героев повести С. «Мама моя, мама». Умер в 1976 г. при невыясненных обстоятельствах.

Сочинил в этот день последние строфы: «Полагали, жабка — ан, глядишь, рачок». Для близких.

Да, с молитвами в этот день изменилось. Перестал я просить родных своих забрать меня к себе немедленно, стал просить подождать немного, дать увидеться с любимыми, с Филухой, которому обещал вернуться; стал просить дать донести до них, любимых моих, стишата эти, какие там они есть, а пусть не погибнут для людей.

А вот освободили меня — и как отрезало! Ни строчки не просится. Больше того: забытое из т а м написанного вспомнить не могу.

Вот, собственно, и всё. Они торопились, и они успели. К пятнице.

Появились сдержанно сияющие врач Виктор Васильевич и следователь Слобоженюк.

— Ну вот, Гелий Иванович, подписывайтесь. Говорил я начальству: ох, будет ругаться Гелий Иванович, рассердится, что переделали.

Я смотрел на них.

— Не тяните. Что? Успели?

— Успели, Гелий Иванович, успели, успокойтесь. Сейчас придет машина — и готово.

Сознаюсь, меня проняла слеза.

Потом я читал и подписывал идиотское покаяние «Стыжусь и осуждаю» — еле читал, не видел ничего от боли, сливалось. На мгновение прояснилось — уперся взгляд в эпитет «бесчестные» перед Некрасовым и Григоренко. Выбросил. Они потом все равно восстановили.

Прочитал последние строчки большого документа — всего документа, оказалось, мне почему-то не положено:

«...следствие прекращено и заключенный из-под стражи освобожден, поскольку не является более социально-опасным».

Потом сборы, в которых я в сутолоке забыл оставить санитару-зеку Шурику оставшиеся сигареты.

Носилки.

Два дюжих санитар-гебиста.

Машина.

Дорога, клочки неба, деревьев, домов.

Никакого ощущения свободы.

Только — дерьмо, дерьмо, дерьмо вокруг и внутри, и во рту, жидкое, и мозг плавает в нем, и тонет.

И пустота.

Было безразличие: с л о м а н.

Да, два момента.

15 марта моя бабушка, Мария Петровна Собко, в день своего 90-летия получила от меня ... букет роскошных роз. А? Каково?

А было так.

Со следователем Слобоженюком у нас сложились сложные отношения. Я как-то процитировал ему кого-то из знаменитых дипломатов: если бы несведущий тип подслушал культурную беседу дипломатов двух враждебных стран, то решил бы, что каждый изменяет своей родине из чувства личной дружбы. Он решил передать мне из дому пилочку для ногтей (целая история, если время позволит — расскажу), он выхлопотал нам елку, словом, подонок, совершил много дружеского. Я в каждый момент отлично знал цену этой «дружественности», но считал, что так для меня удобнее, попасть же под его доброту и обаяние да расколоться — не опасался. Каждый очередной допрос я немедленно анализировал и делал выводы для себя.

Так вот уже в больнице, числа эдак 7-го марта, еще не паралитик, но уже и не ходок, я ему сказал:

— Слушайте, Слобоженюк, 15 марта моей бабушке 90 лет, круглая дата.

— О! Ого! И она, я знаю, ходит всюду, хозяйничает. Ну, молодец!

— Так, вот, позвоните жене, скажите, что я просил напомнить об этом факте, и пусть она сообщит о прабабкином юбилее обоим правнукам, пусть тотчас поздравят.

— Обязательно, Гелий Иванович, обязательно, и завтра же.

И вот 15 марта Слобоженюк вызывает к себе моего старого друга (он уже до того вызывался трижды как свидетель для допроса), вручает ему розы, говорит, что розы от меня и за мои деньги, и просит вручить их юбиляру. У друга моего отвисла челюсть, он только и спросил вполне бессмысленное:

— А... а он сам, Гелий Иванович, знает?

— О чем?

— Ну, вот о розах.

— Да, конечно, ну как же, как же...

И друг принес розы. От меня. И были гости. И был фурор. И сами себе представьте, на какой высоте было ГБ.

... Я как раз в этот день валялся в дерьме и моче...

Галка говорила, что тому букету цена на базаре — март месяц — не меньше 20 рублей. Потратилось КГБ, а? Впрочем, у них все предусмотрено — р-раз, и доставили из оранжереи Никитского сада.

Вот так, люди, работает наша госбезопасность!

И второе. Когда я заявил о раскаянии, Слобоженюк сказал:

— Да, Гелий Иванович, еще одно: вы должны раскрыть ваши связи.

— То есть?

— Через кого пересылали документы на Запад, кто доставлял вам их оттуда?

Я был готов к этому, заранее все продумал.

— Пожалуйста, хоть сейчас. Мои связи простые,

односторонние: уезжал отсюда человек — совсем, навсегда...

— Евреи?

— Не только. Пожалуй, больше неевреев... И увозил для пересылки в тот или иной адрес.

— А оттуда?

— А оттуда — всё по почте. Прощаясь, договаривались об условных обозначениях; и все было ясно.

— Ну, хорошо, а вызов жене из Израиля как пришел?

— А вызов вручила мне на пороге моей квартиры незнакомая женщина. Позвонила, спросила жену, потребовала представить паспорт, вручила пакет в оберточной бумаге — и исчезла.

— Ну, Гелий Иванович, рассказывайте.

— Вот и рассказываю. Верьте, нет — дело ваше.

Говорю здесь об этом вот почему: я никого не продал, не предал. Как на духу.

И в с ё. И т о ч к а.

БЕЛЫЙ ФЛАГ

(Триптих)

I

Эпиграфы:

А у меня болит радикулит... (из песенки)

У лошади была грудная жаба (из песенки)

Укрепи, Господь, дух мой,

Волю мою и разум мой.

Дай мне ритма и неспешности

Океана Твоего, Боже...

(из моей вечерней молитвы)

То ли Господа я прогневил,

То ль расхвастался да накликал, —

Что-то стал белый свет немил,
Органок мой маленько прогнил,
Жаба скачет на радикулите.

Я в молитве своей не просил
Укрепить меня мощью телесной,
Дескать справлюсь и сам,
хватит сил,
Лишь бы дух не протух, не остыл,
Не сбочил бы с дорожки тесной.

Что ж, в порядке и разум и дух,
Хоть от боли бессильный корчусь.
Матюки со стонами вслух
Лекарям шлю и в прах, и в пух —
Уж лечите, то здешняя порча!

Но не ждите, что телом ослаб,
Так вослед растеряю и волю,
Я болячкам своим не раб,
Только злюсь на себя да на жаб,
Да «пор-рвать» себя к дьяволу рад,
Да подохнуть. Ох, б..., снова боли.

1 марта

II

Кто сказал, что болячкам не раб?
Кто накаркал, что дух не прокис?
Грудь выскабливает семь пар жаб,
Выгрызают бедро семь пар крыс.
Ноги отнялись, нету их,
Только боль осталась в кости,
И твержу я вслух, точно псих:
«Боль, о милая, Боль, отпусти!»
И волной напалзает страх,
Некто в сером глядит из угла,
И как в куче навоза, в мозгах,
Извивается мысль, червяк.
Гложет, точит волю дотла...

— Ты в герои себя не рядил,
Пытку выстоять не обещал.
Не моральных, физических сил
Не хватило. И кончен бал.
А любимым? В конце концов,
Жизнь твоя им важней или поза?
Точка. Хватит. Довольно стихов.
Дальше — проза.

17 марта 1978

III. ПРОЗА

Благодарю правительство за гуманное милосердие.
Сожалею... Заверяю... Раскаиваюсь...
Прошу...
Прошу...
Прошу...

*Г. С., литератор
24 марта 1978*

И самое последнее — в ритме частушек.

Невидимка-шапка
Сбилась на бочок.
Полагали — жабка,
Ан глядишь — рачок.

Уж куда бы мило —
«Смертью смерть поправ!»
Да не вышел рылом,
В дамки не попав.

Разреши-ка, в чем тут соль,
Скрючен ли, согнут,
Может, то не опухоль,
А в хребте инсульт.

Адью, потомки!
Здорово, предки!
Сiju на облаке,
Сосу конфетки.

*(Леденчик сосу, шоколадки с 1 марта дороги, пусть деткам
остаются).*

12 апреля из второго грудного позвонка больному вырезали опухоль — какую-то охватывающую, обжигающую. Добро — или зло — качественная она — как острил Михаил Аркадьевич Светлов, «вскрытие покажет».

* *

*Прости меня, двадцатый век,
Прости — я только человек.
Играй отбой, трубач.
Играй отбой, трубач...*

Он редко пел эту песню в больнице, только когда ему становилось совсем нестерпимо больно. А боль не отпускала его тела ни на день, от того субботнего апрельского утра, когда жена и сыновья впервые увидели его в палате, до его последних зимних часов, всецело заполненных мучениями. Еще девять месяцев страданий, таких же ужасных, как и месяц март.

Гелий Снегирев был привезен из тюрьмы КГБ в Октябрьскую больницу Киева днем 31 марта. Потом он рассказывал, что эти первые «свободные» часы вплоть до ночи, до самого следующего утра, показались ему столь невыносимо страшными, что даже физическая боль отступила куда-то вглубь. Место ее заняло сковывающее ощущение непоправимости содеянного, страх прочитать осуждение в глазах самых родных, самых близких, кого так хотелось сейчас увидеть. А они всё не шли. И с каждым часом, полным непривычного, но жуткого одиночества, все ясней и ужасней становилась мысль: они знают — и не идут. Они казнят его за предательство!

И подумалось: вот от этого можно, наконец, и умереть.

Но они пришли — жена, дети. Следующим утром, когда КГБ сообщило им по телефону запоздалую весть об «освобождении» мужа и отца. Они прибежали, так как не было для них большего счастья, чем вновь обрести любимого человека, навсегда, казалось, потерянного в пасти чудовища.

А промедления эти в работе информативной службы органов будут и потом — они не случайны.

В течение долгого времени в палату к Гелию допускались лишь члены семьи. Нам, друзьям его, удалось получить разрешение на посещение хотя бы дважды в неделю гораздо позже, когда сзади ос-

тался и внезапный перевод больного в сверхзасекреченное отделение Института нейрохирургии, и операция (на позвонке? у шеи?), и снова внезапное появление его в той же Октябрьской больнице.

Когда нас начали пропускать к Гелию, его истощенные, высохшие руки были еще способны держать карандаш. Так — парализованный, двигая лишь одной кистью, царапая каракули, рвя бумагу — он писал нам все то, что хотел бы сказать, но не мог: эта — больничная — камера отличалась от тюремной лишь большим количеством микрофонов да изрядным, по словам здешних нянечек, числом приставленных к подвальной аппаратуре работников.

Так и общались с ним те, кто хотел передать или услышать что-то важное, — разбирая его зигзаги, выписывая крупными буквами свои слова — ведь зрение-то его, и так еле державшееся в нем, ухудшилось в тюрьме еще больше.

И именно так в конце лета, когда пальцы уже сжимали карандаш из последних усилий, передал он нам свою последнюю просьбу: составить хронику этого его последнего — больничного — ада и подсоединить ко всему предыдущему в качестве эпилога. Волю эту его мы здесь и выполняем.

Фактов, которыми мы располагаем, безусловно, недостаточно для создания правдивого рассказа об этих девяти месяцах, гораздо больше могли бы сказать жена и дети Гелия, видевшие его ежедневно. Однако просил Гелий нас, друзей своих, не вовлекать его близких в эту посмертную литературу, не давать им знать ни о чем, чтобы хоть смерть его облегчила их жизнь. И эту волю выполняем мы, проливая таким образом совсем мало света на загадочную историю странной болезни и смерти Гелия Снегирева. Но теплится в нас все же надежда, что рано или поздно и эта тайна станет известна миру, извлекутся из сейфов КГБ доказательства, свидетельствующие о еще одном подломе преступлении зловещей державы против прав своих подданных, а имя Гелия Снегирева займет свое место в нескончаемом ряду имен других мучеников правды, раздавленных тоталитарной машиной.

Друзья Гелия

31 марта 1978 — Гелий Снегирев привезен из тюрьмы КГБ в Октябрьскую больницу г. Киева, помещен в пустую двухместную палату.

1 апреля — к больному пропускают жену и сыновей. Заявление Снегирева напечатано в газете «Радянська Україна». В палату подселяют второго «больного».

11 апреля — не оповещая родных, Снегирева перевозят в Институт нейрохирургии. Также двухместная «резервная» палата (в обычных палатах находится по 8-10 человек), в которую за два часа до этого помещен еще один пациент «для обследования».

12 апреля — операция на позвоночнике, проводит ее светило украинской хирургии проф. Михайловский. Снегиреву объявляется, что опухоль доброкачественная, вырезана. В тот же день «Заявление» перепечатывает «Литературная Газета» в Москве.

До конца мая Снегирева содержат в Институте нейрохирургии. Жену, близких и друзей к больному не пропускают. Из записки Снегирева другу: «Поговаривают о повторной операции — полагаю, что спрятали еще не все концы». Состояние не улучшается.

15 апреля — в ответ на требование жены встретиться с врачами, сообщить ей диагноз и результаты гистологии ее направляют в Институт онкологии — «привезти консультанта-специалиста». Специалист ехать не соглашается, просит привезти срезы ткани ему. В Институте нейрохирургии отказывают, обещают связаться сами, диагноз по-прежнему держится в тайне.

29 апреля — Снегирева перевозят обратно в Октябрьскую больницу.

Май — неоднократные визиты работников КГБ. Следователь Слобоженюк сетует на шум за рубежом, просит Снегирева написать что-нибудь «в ответ». Снегирев отказывается. Следователь Слобоженюк: «Смотрите, Гелий Иванович, как бы вы не передумали, когда это будет хуже». — Вы имеете в виду, что мне станет еще хуже? «Ну, Гелий Иванович, все может быть».

Через несколько дней начинаются постоянные судороги, боли усиливаются. Посещения ГБ учащаются. Снегирев прекращает прием больничной пищи и медикаментов. Врачи пытаются уговорить родных Снегирева заставить его принимать лекарства, но тщетно. Судороги ослабевают, затем исчезают. Больной снова начинает употреблять снотворные и жаропонижающие медикаменты, отказываясь от болеутоляющих и прочих.

Июнь — в разговоре с близкими и друзьями врач Снегирева часто повторяет: «Положение не улучшается только из-за того, что после удаления опухоли на месте операции остались рубцы, сжимающие спинной мозг. Отсюда — паралич». В ответ на предложение использовать иностранные онкологические препараты: «Что вы, совершенно не нужно, так как опухоль доброкачественная».

Постоянно ухудшается состояние приобретенного еще в тюремной больнице пролежня на крестце. Температура колеблется от 38 до 40°.

Июль — несмотря на нефункционирующую перистальтику и общее состояние, Снегирев начинает делать в постели гимнастику, пытается сидеть, готовясь к переезду домой. Из записей в беседе с другом: «Убивать нелечением — это тоже убивать».

В конце июля Снегирев объявляет врачам о решении перебраться домой. Через несколько дней (посоветовавшись с ГБ) врачи отказывают на том основании, что в домашних условиях трудно лечить пролежень. Больной перестает пользоваться больничными противопролежневыми средствами, переходя к лечению мумиё, добытого друзьями. Положение начинает улучшаться.

Август — несмотря на уговоры, Снегирев настаивает на переезде. Врачам приходится согласиться. Назначается срок — 10 августа. Однако неожиданно 7 августа больному становится значительно хуже,

вновь появляются судороги и боли, граница отсутствия чувствительности тела поднимается еще выше. Попытка снова отказаться от лекарств не удастся из-за очень высокой температуры. Переезд становится невозможен.

Из разговора друга Снегирева с лечащим врачом: «Конечно, это рак». — Рак чего? «Рак второго позвонка, ему же вырезали там опухоль. Мы делаем все, что можем».

В ином разговоре с одним из друзей заведующая отделением больницы, очевидно, принимая его за работника КГБ, говорит: «Вы ведь знаете, мы делаем все, что вам нужно. Без наших средств все было бы совсем не так». — Вы хотите сказать, что Гелий Иванович уже умер бы? «Да, а ведь это не нужно, не так ли?»

Пока не нужно.

Сентябрь-октябрь — снова визиты ГБ с теми же требованиями. Снегирев: «Согласен что-либо написать только после того, как выйду из больницы». Состояние тяжелое. Перевод в урологическое отделение для операции по вставлению постоянного катетра. Операцию делают без наркоза, после чего Снегирева помещают в общую палату (9 человек), уровень медицинской помощи гораздо ниже. Просьбы больного перевести его обратно удовлетворяются лишь через неделю. Новое посещение ГБ, однако следует очередной отказ.

Из записи беседы с другом: «Думаю, будут меня скоро кончать. Других способов воздействия уже не осталось». Остались: жену Снегирева вызывают на допрос и вскоре публикуют в газете «Вечерний Киев» статью под ее именем; старшему сыну отказывают в работе. Еще одна запись: «Шантажировать меня они будут и после смерти».

Ноябрь — возникают новые пролежни, врачи узнают об этом только после того, как их замечает же-

на. Из-за болей и изнеможения Снегирев перестает слушать радиоприемник, не может писать. По словам жены, ежедневно с апреля дежурящей у его кровати, во сне несколько раз произносит — январь... шприц... японский укол... Однако, просыпаясь, говорит, что помнит только что-то странное, и то очень смутно.

Декабрь — Снегирев сообщает друзьям о своем новом решении: вызвать представителя КГБ и потребовать разрешения уехать за рубеж для лечения. В беседе с друзьями говорит: «Я иду на этот шаг, понимая, что это конец — ведь раскрыться они никак не могут. Но больше я так не могу».

Еще один разговор Снегирева с лечащим врачом: «Так что же, опухоль снова развилась во втором позвонке?» — Да нет, там была только метастаза. Ее и вырезали. «А где же сама опухоль?» — Ну, это неизвестно. «То есть ее и не пытались искать, не старались определить местонахождение?» — Я вообще-то не знаю, операцию делали не у нас.

18 декабря по звонку жены Снегирева в больницу приходит следователь Слобоженюк. Выслушав Снегирева, он пугается, высказывает сомнение в том, что начальство даст на это санкцию, но обещает поговорить.

«Решение мы вам сообщим», — говорит Слобоженюк на прощание.

В течение следующих дней Снегирев отдает последние распоряжения — всё устно, писать уже не может.

Среди них: после смерти пригласить на вскрытие одного из друзей, профессионального врача-патологоанатома.

Похоронить тело на Байковом кладбище в могиле отца.

Последними его видели живым: друзья — в отведенный им день посещения, 24 декабря, сыновья — 26 декабря, жена — вечером 27 декабря.

28 декабря утром Г. И. Снегирев скончался. Несмотря на то, что номера домашних телефонов жены и детей были известны нянечкам отделения, а также были записаны на отдельном листе бумаги, о чем врачи знали, жене Снегирева о смерти сообщили через четыре часа работники КГБ. ... К этому времени вскрытие было закончено. Официальный диагноз: рак предстательной железы с метастазами во всех частях тела.

По требованию ГБ, похороны состоялись на следующий же день. В обход всех законов, принятых в Киевской погребальной службе, тело было в тот же день кремировано и захоронено. Во время всей процедуры похорон крематорий охранялся работниками КГБ.

22 сентября, в день ареста, Г. И. Снегирев был сильным, здоровым человеком 49 лет.

С этого дня до дня его смерти прошло: 191 день в тюрьме и 272 дня в больнице. Итого: 463 дня.

П е с н и

Юзеф А л е ш к о в с к и й

Песня о Сталине

*На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде...*

А. Сурков

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
в языкознании знаете вы толк,
а я простой советский заключенный,
и мне товарищ серый брянский волк.

В чужих грехах мы сроду сознавались,
этапом шли навстречу злой судьбе,
но верили вам так, товарищ Сталин,
как, может быть, не верили себе.

Так вот сижу я в Туруханском крае,
где конвоиры, словно псы, грубы,
я это все, конечно, понимаю
как обострение классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошकारа над нами,
а мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры разводили пламя,
спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром,
морозом дымным и в тоске дождей.

Мы, как деревья, валимся на нары,
не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
и в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-сталински, а щепки,
а щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,
тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,
вам завещал последние слова,
велел в евонном деле разобраться
и тихо вскрикнул: «Сталин — голова!»

Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
и пусть в тайге придется сдохнуть мне,
я верю — будет чугуна и стали
на душу населения вполне!

Белые чайнички

Раз я в Питере с другом хорошим кирнул,
он потом на Литейный проспект завернул,
и все рассказывает, все рассказывает,
и показывает, и показывает.

Нет белых чайничков в Москве эмалированных,
а Товстоногов — самый левый режиссер.
Вода из кранов лучше нашей газированной,
а ГУМ — он что? Он не Гостиный Двор.
Вы там «Аврору» лишь на карточках видали,
а Невский — это не Охотный ряд.

Дурак, страдал бы ты весь век при капитале,
когда б не питерский стальной пролетарьят.

А я иду и возражать не пробую,
чёрт знает что в моей творится голове,
поет и пляшет в ней «Московская особая»,
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Я еще в пирожковой с кирюхой кирнул,
он потом на Дворцовую площадь свернул,
и все рассказывает, все рассказывает,
и показывает, и показывает.

У вас, в Москве, эмалированных нет чайничков,
таких, как в Эрмитаже, нет картин.
И вообще полным-полно начальничков,
а у нас товарищ Рóманов один.
Давай заделаем грамм триста сервилата!
Смотри, дурак, на знаменитые мосты.
На всех московских ваших мясокомбинатах
такой не делают копченой колбасы.

А я иду и возражать не пробую,
чёрт знает что в моей творится голове,
поет и пляшет в ней «Московская особая»,
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Я с кирюхою в рюмочной рюмку кирнул,
он потом на какой-то проспект завернул,
и все рассказывает, все рассказывает,
и показывает, и показывает.

Нет белых чайничков в Москве эмалированных,
а ночью белою у нас светло, как днем.
По этой лестнице старушку обворовывать
всходил Раскольников с огромным топором.

Лубянок ваших и Бутырок нам не надо.
Таких, как в «Норде», взбитых сливок ты не ел.
А за решеткой чудной Летнего, блядь, сада
я б все пятнадцать суток отсидел.

А я иду и возражать не пробую,
чёрт знает что в моей творится голове,
поет и пляшет в ней «Московская особая»,
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Мотоцикл патрульный к нам подъехал вдруг,
я свалился в коляску, а рядом мой друг...
«В отделение!»

А он все рассказывает,
и показывает, и показывает.

Нет белых чайничков в Москве эмалированных,
а Товстоногов самый ... отпустите, псы!
По этой лестнице старушку обштрафовывать...
Такой не делают копченой колбасы...

Советская пасхальная

Смотрю на небо просветленным взором,
я на троих с утра сообразил.

Я этот день люблю, как день шахтера
и праздник наших вооруженных сил.

Сегодня яйца с треском разбиваются,
и душу радуют колокола,
и пролетарии всех стран соединяются
вокруг пасхального стола.

Как хорошо в такое время года
пойти из церкви прямо на обед.
Давай закурим опиум народа,
а он покурит наших сигарет.

Под колокольный звон ножей и вилок
щекочет ноздри запах куличей.
Приятно мне в сплошном лесу бутылок
увидеть лица даже стукачей.

Все люди братья! Обниму китайца,
привет Мао Цзе-дуну передам,
он желтые свои пришлет мне яйца,
я красные свои ему отдам.

Сияет солнце мира в небе чистом,
а на душе у всех одна мечта,
чтоб коммунисты и империалисты
прислушались к учению Христа.

Ах, поцелуемся, давай, прохожая,
прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими.
Давай еще... воистину воскрес!

Брезентовая палаточка

Как приеду я на БАМ,
первым делом парню дам.
Дам ему задание
явиться на свидание.

Он бедовый, он придет,
он «Дымком» затянется.
На груди моей заснет
и в ней навек останется.

Только я в гробу видала
романтику энтову.
Я уже парням давала
в палаточке брезентовой.

Любили меня ласточку,
довольны были мной,
в брезентовой палаточке,
за ширмой расписной.

Я много чего строила,
была на Братской ГЭС,
но это все, по-моему,
казенный интерес.

И кисы мы, и лапочки
за наш, за женский труд.
Вот только из палаточек
нас замуж не берут.

Я плакала тихонечко,
я напивалась в дым
и ехала тихонечко
по рельсам голубым.

В брезентовой палаточке,
за ширмой расписной,
жизнь моя в белых тапочках,
а рядом милый мой.

Не поеду я на БАМ,
лучше Ваське с Мытной дам.
Васька в воскресенье
мне сделал предложение.

Песня слепого

Я белого света не видел.
Отец был эсером. И вот —
Ягода на следствии маму обидел:
Он спать не давал ей четырнадцать суток,
Ударил ногою в живот.

А это был, граждане, я, и простите
За то, что сегодня я слеп.
Не знаю, как выглядят кошки и дети,
Товарищ Косыгин, Подгорный и Брежнев,
Червонец, рябина и хлеб.

Простите, что пес мой от голода лает.
Его я ужасно люблю.
Зовут его, граждане, бедного, Лаэрт.
Подайте копеечку Господа ради —
Я Лаэрту студню куплю.

Все меньше и меньше в вагонах зеленых
Несчастных слепых и калек.
Проложимте БАМ по таежным кордонам.
Вот только замять Вотергейтское дело
Врагу не позволим вовек.

Я белого света не видел ...
[повторяется 1-я строфа]

Страна хорошеет у нас год от года.
Мы к далям чудесным спешим.
Врагом оказался народа я году,
Но разве от этого, граждане, легче
Сегодня несчастным слепым.

АЛЕШКОВСКИЙ Юзеф — родился в 1929 году в Москве. Во время войны вынужден был оставить школу, образование получил позднее самостоятельно. После службы на флоте с 1950 по 1953 год находился в заключении. Освободившись, работал шофером и мастером на стройке. Публикуется с 1955 года. Выпустил четыре книги для детей, автор нескольких кино- и телевизионных сценариев (в том числе «Кыш, Двапортфеля и целая неделя»), а также широко распространившихся в самиздате миниромана «Николай Николаевич» и романа «Кенгуру».

Песни Алешковского в течение многих лет поются в Советском Союзе. В феврале 1979 года эмигрировал из СССР. Живет в США.

Наброски к будущей книге

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ И ДРУГИЕ

Если бы в мае 1946 года на углу Невского и Садовой не обрушился бы кусок карниза Публичной библиотеки и не убил бы проходившую мимо женщину, да еще не оказался эта женщина женой достаточно заметного партийного деятеля, я вряд ли имел бы возможность написать этот рассказ, который, собственно, и не рассказ, но описание совершенно конкретной и в известном смысле трагической истории.

Так что договоримся сразу словами одного алкаша, оказавшегося однажды моим соседом по автобусу: «Это не факт, а случай из действительной жизни».

А может быть, этот увесистый кусок штукатурки, которого, впрочем, я никогда не видел, так как в это время все еще служил в оккупационных войсках и, так сказать, «оказался на месте преступления» только через год, — может быть, этот кусок карниза лишь ускорил развитие событий, подтвердив лишний раз известное марксистское положение о роли личности (и, конечно, случайности) в нашей весьма грустной истории.

Узнал я об эпизоде с карнизом «опосредствованно», проработав несколько месяцев в ленинградской Публичной библиотеке на разборке так называемых «трофейных фондов». И тут мы опять вступаем в область случайного.

Хотя книги всегда занимали значительное, если не решающее место в моей жизни, перспектива стать библиотечным работником никогда не привлекала меня. За свою жизнь — даже если мы ограничимся тем временем, когда произошли описываемые события, то

есть к моменту, когда мне едва перевалило за тридцать, — я переменял множество профессий. Однако большую часть сознательной жизни я прослужил в армии, и вот, демобилизовавшись, после ряда неудачных попыток найти работу, которая меня бы устроила, я капитулировал и по направлению военкомата оказался в кабинете заместителя директора Публички по хозяйственным вопросам.

Тут вот и возникла первая случайность в этой цепи случайностей. В бумажке, принесенной мною из военкомата, значилось, что подполковник запаса такой-то направляется для переговоров на предмет занятия должности заместителя пожарной охраны. Я решительно ничего не знал об этой сложной профессии, кроме известной всем истины: пожары, когда они возникают, надо тушить. Однако, опираясь на свой фронтовой опыт, где, правда, мне время от времени приходилось УСТРАИВАТЬ пожары, но никак не тушить их, я надеялся, что как-нибудь справлюсь с пожаром, если он возникнет, а еще больше — что он не возникнет вообще.

Итак, в тот момент, когда я вошел к заместителю директора, оказалось, что в его кабинете сидит и другой заместитель — уже по научной части. В ходе возникшего разговора как-то выяснилось, что я знаю языки — английский, немецкий, чешский и — в меньшей степени — французский и итальянский (с последними двумя я сильно приврал, но, признаться, не очень стыжусь этого). Научный директор заявил, что ни о каких пожарах не может быть и речи, что он задыхается от отсутствия людей, знающих языки, и что он забирает меня на разборку трофейных фондов.

Как человек военный, я отлично понимал значение слова «трофеи»: «трофейная техника», «трофейные знамена», вообще — «боевые трофеи». Правда, последний год войны внес некоторые изменения в семантику этого слова. После того, как наши войска пере-

секли государственную границу, Сталин издал приказ, разрешающий отправку посылок на родину — солдатам поменьше, офицерам — побольше. В посылках отправлялись «трофеи»: костюмы и примусы, отрезы тканей и будильники, стекла для керосиновых ламп, швейные иглы, белье, кухонная посуда, словом, все то, что привлекало внимание солдата или офицера, оказавшегося в населенном пункте вражеского, а часто и дружественного государства.

Были и другие трофеи. В качестве начальника штаба полка я периодически получал из штаба дивизии приблизительно такие директивы: «В развитие распоряжения Начальника тыла 3-го Украинского фронта №... от ... и по распоряжению заместителя командира Эстонского корпуса по тылу вам предлагается в период с января по март 1945 г. представить через дивизионный обменный пункт следующее количество трофеев...» И далее шло перечисление: «Золота и изделий из него с драгоценными камнями или без них...; произведений живописи и скульптуры...; ковров ручной работы...; мужской и женской верхней одежды не бывшей в употреблении...; обуви мужской и женской...» и т. д. и т. п. О книгах в этих распоряжениях не было ни слова.

И вот почти через два года после окончания войны мне предстояло ознакомиться и с этой разновидностью трофеев.

Это было само по себе интересно. До сих пор помню я подозрительные взгляды политработников и уполномоченных пресловутого СМЕРШа, когда они замечали у меня в руках какую-либо иностранную книжку. До сих пор сердце у меня обливается кровью, когда я вспоминаю, как в Чопе — первой советской станции — пограничники, как правило не осматривавшие багаж возвращавшихся в страну солдат и офицеров, увидев на столике купе английский роман, спросили, нет ли у меня и других книг. По глупости, по не-

простительной наивности, я ответил утвердительно, и меня — точнее, все мои вещи — подвергли тщательному обыску, отобрав все до единой книжки «не на русском языке». Самой страшной потерей была «Британская энциклопедия» в двенадцати, кажется, томах, изящнейшее издание на тончайшей бумаге в зеленых сафьяновых переплетах. Осенью сорок четвертого года я подобрал ее из-под солдатских сапог в совершенно разгромленном и частично сгоревшем дворце Палавичини в Румынии. Может быть, я встречу сейчас с этой «моей» энциклопедией?

Через десять минут на верхнем этаже административного здания Публички я познакомился с сотрудницей отдела комплектования, руководившей в то время этой сложной и ответственной работой. Назовем ее М. Это была милая, уже довольно пожилая дама — во всяком случае с моей тогдашней точки зрения, — в совершенстве владевшая доброй полдюжиной европейских языков. У нее не было специального библиотечного образования и была она то ли из последних «бестужевок», то ли из первых выпускниц ЛИФЛИ. Она и объяснила мне круг моих обязанностей и, частично, прав.

Трофейные книжные фонды из спасенных советскими войсками немецких библиотек хранились в ряде пустующих зданий: в бывшей великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости, в бывшей армянской церкви на Невском, в Александро-Невской лавре и где-то еще. Оттуда книги периодически привозились в главное здание библиотеки, где они предварительно сортировались по языкам, по тематике, по времени и месту издания.

— Правда, — добавила М. с быстро скользящей улыбкой, — все послереволюционные издания, т. е. вышедшие после 1917 года, сразу поступают в «спецхран» и разбираются уже там.

После первой, «грубой» сортировки, книги поступали в отдел комплектования, где их сверяли с генеральным каталогом и, если данная книга отсутствовала в Публичке, она поступала в фонд. Если же она оказывалась «дублем», то ее вновь возвращали в одно из тех хранилищ, откуда привезли, и тогда только время и счастливый случай могли помочь ей попасть в какую-либо иную библиотеку.

— Да, и еще, — добавила М. — Вы будете работать по безлюдному фонду и...

— Как, как? — спросил я.

— Ну, у нас... — На лице ее отразилось смущение. — У нас нет штатных должностей, а на разборку этого фонда отпущены средства. Это и называется безлюдным фондом.

Признаться, я не понял (как не понимаю и сейчас), почему деньги, выделяемые для оплаты работы, производимой людьми, называются «безлюдными». Я понял лишь, что мне будут платить 5 рублей в час (50 копеек в современном масштабе), т. е. около тысячи в месяц, что было хотя и весьма небольшим, но постоянным заработком. Правда, в роли пожарного я получал бы на 100 или 150 рублей больше, но зато мне пришлось бы иметь дело не с книгами, а с пожарными шлангами и огнетушителями. Правда и то, что «безлюдный фонд» не предусматривал оплаты больничных листов, отпусков, ни даже выдачи продовольственных карточек.

Это было то совершенно бесправное с юридической точки зрения положение, в котором и поныне находятся так называемые «внештатные преподаватели» высших учебных заведений. Студентов много, ШТАТНЫХ преподавателей не хватает, и вот за счет какого-то «безлюдного фонда» в университетах и институтах трудится огромное количество «внештатных». Они получают от 70 копеек до рубля в час и при

нагрузке в 20 часов в неделю (что очень много!), зарабатывают от 60 до 90 рублей в месяц.

М. привела меня в зал на пятом этаже дирекции, заполненный стеллажами, столами и заваленный огромным количеством книг.

Нет, здесь не было и не могло быть отобранной у меня «Британской энциклопедии»: я быстро разобрался в этом. Все книги, находившиеся в этом зале или поступавшие в него позднее, принадлежали (или когда-то принадлежали) Бременской, Любекской и Прусской Королевской (Берлинской) библиотекам (объективности ради отмечу, что теперь, работая в австрийских и немецких библиотеках, я неоднократно встречал книги со штампами советских библиотек).

Разборкой трофейных книг занималось в то время еще четыре человека: две весьма пожилых дамы, некий бойкий молодой человек, работающий в Публичке и поныне, и прелюбопытнейший, хотя и опустившийся, сильно выпивающий П. П.

Чего только я не повидал за эти несколько месяцев: папские буллы на пергаменте или телячьей коже со свисающими с них высохшими до хрупкости восковыми печатями, первые оттиски гравюр Рембрандта и знаменитой иконографии Ван-Дейка, прижизненные издания Эразма Роттердамского, «Словарь вагабундов» с предисловием Мартина Лютера, автографы Шиллера и Гете, Сэмюэла Джонсона и Свифта. Правда, подобные раритеты встречались не так уж и часто — далеко не каждую неделю. В основном же это был поток «массовой» литературы начиная с XVI века: философские трактаты и жизнеописания царственных особ, переводы греческих и латинских авторов, галантные романы и описания исторических сражений, мемуары куртизанок, отчеты мореплавателей о вновь открытых землях или островах. Иногда проскакивали и «послереволюционные» издания. И будь то «фронтовые очерки» нацистского журналиста или биография

Леонардо да Винчи, подобная книга немедленно же, как готовая вот-вот взорваться бомба, отправлялась в «спецхран».

— Леонардо... — разглядывая огромный, великолепно изданный том, как-то очень многозначительно произнес П. П. И, оглянувшись по сторонам, добавил негромко: — В начале тридцатых годов одного эрмитажного Леонардо продали на аукционе.

— Как так? — поразился я.

— Ха!.. Если бы только Леонардо. А сколько Рембрандтов?.. Ван-Дейков?.. Брюгеля Старшего, Тициана, Тинторетто...

— Не может быть! — возмутились во мне все мои патриотические чувства.

С П. П. у нас сложились отличные отношения. Несколько раз, получив наши «безлюдные деньги», мы ныряли в знаменитую тогда забегаловку «На углу Невского и Шампанского» и, взяв по стаканчику, пускались в доверительные беседы. Он не боялся откровенничать со мной.

Из очень хорошей семьи, П. П. кончал Александровский лицей, но в шестнадцатом году ушел вольноопределяющимся на фронт. Февраль он встретил уже прапорщиком, у Деникина получил поручика и тут — неисповедимы пути Господни! — переметнулся к красным.

Ни пользы, ни выгоды это ему не принесло. После конца войны он долго бедствовал, в середине 20-х годов устроился, наконец, реставратором в Эрмитаж и проработал там до начала тридцатых, когда его схватили как «социально-опасный элемент». Дальше были и Соловки, и Беломорканал, и БАМ, но он чудом выжил, даже смог реабилитироваться и вернуться в Ленинград. Впрочем, реабилитация не спасла его в сорок девятом году от «повторного потока», и до смерти Вождя Народов он пробыл в ссылке в Ени-

сейске, перебиваясь тем, что учил местных митрофанушек английскому и французскому языкам.

Последний раз встретил я П. П. года полтора назад, уже совершенно дряхлого, но все еще большого любителя «заложить за галстух», которого, впрочем, он никогда не носил. Однако еще тогда, во время нашей совместной работы, рассказал он мне о том, как в конце 20-х — начале 30-х годов распивочно и на вынос распродавались на международных аукционах картины из Эрмитажа, бесценные севрские, датские и веджвудовские сервизы из царских и великокняжеских дворцов, и как оптом, практически за бесценок, была продана уникальная филателистическая коллекция Николая Второго.

Сообщения эти с трудом вмещались в моем уже накренившемся, но все еще весьма большевизированном мозгу. Однако, работая в Публичной библиотеке, проверить достоверность сообщений П. П. было проще простого: стоило лишь сравнить каталоги Эрмитажа разных лет: дореволюционные, двадцатых годов, современные. Надо сказать, что эта несложная работа сильно поколебала мою уверенность в том, что «искусство принадлежит народу».

Вскоре этой уверенности был нанесен еще один и на этот раз сокрушительный удар.

В нашем зале время от времени появлялся чистенький, всегда очень вымытый и отутюженный старичок. Впрочем, «старичком» он казался мне тогда — было ему, вероятно, пятьдесят или несколько больше, — но произвел он на меня впечатление не столько своими сединами, сколько удивительной в те времена опрятностью и накрахмаленностью. Это был Люблинский — заведующий отделом редкой книги, который назывался еще то «Гутенберговским кабинетом», то «кабинетом доктора Фауста».

Появляясь в зале, Люблинский быстрым шагом проходил между стеллажами, зорко оглядывая кореш-

ки книг. Иногда он вдруг задерживался перед какой-то полкой и точным движением вынимал одну из книг. Это была снайперская стрельба без единого промаха: всякий раз в его руках оказывалась какая-то редкость: то «Гептамерон» Маргариты Наваррской, то конвюлют Даниэля Гейнзиуса, редчайшая пергаментная Альдина или «Декамерон» Боккачио, изданный Бальдафером.

Однажды М. попросила меня помочь Люблинскому в качестве «грубой рабочей силы». Я спустился в первый этаж главного здания, нажал кнопку звонка всегда закрытой двери и через плечо Люблинского впервые увидел это хранилище, стилизованное в духе средневековых монастырских библиотек.

— Извините, что я вас беспокою, — сразу начал Люблинский. — Сегодня нет рабочих, а мне необходимо поднять снизу кое-какие книги. Только... — Он бросил взгляд на мой армейский китель. — Сейчас я достану халат.

Через ряд зал и хранилищ, по каким-то сырым и грязноватым лестницам мы спустились в подвал и оказались в темном, уже совершенно сыром помещении, в котором на деревянных помостах слева и справа были горами свалены бесчисленные тома «ин фолио», «ин кварто», «ин октаво» в почерневших кожаных переплетах. Шли мы по жидким деревянным мосткам, под ними хлюпала вода, в воздухе стоял запах тления и смерти. Я ломал себе голову, пытаюсь понять, почему эти редкие и редчайшие книги — у меня уже был наметан глаз — хранятся в столь неподходящем месте.

Люблинский, видимо, заранее наметил, что и где надо взять, мы почти не останавливались и совершили три или четыре рейса с полными охапками отсыревших, иной раз тронутых плесенью книг. Мы шли подвалами в очередной рейс, когда Люблинский, шедший впереди, вдруг сделал странный, почти акробатиче-

ский прыжок назад и, упав на колени, принялся рассматривать тяжелую дубовую доску, заполнявшую разрыв между сосновыми мостками. Мы оба наступали на эту доску уже несколько раз, в ней не было ничего примечательного, но Люблинский вдруг опустил свои белоснежные накрахмаленные манжеты в эту черную, вонючую воду, поднял доску, и я услышал сдавленный стон, почти рыдание.

— Что случилось? — спросил я.

Люблинский повернулся ко мне, держа перед собой доску, вода стекала с нее, манжеты были почти черные, но его лицо — я увидел это даже в полумраке этого склепа — покрылось смертельной бледностью.

— Боже мой... — услышал я. — Мазарини... Боже мой... Какое безумие!

Как сомнамбула он двинулся вперед, прямо на меня, я едва успел посторониться, и направился к выходу. Держа пять или шесть книг, которые он успел мне вручить, я поплелся за ним. Мы поднялись наверх, по лестницам, по коридорам, по хранилищам, встречающие провожали Люблинского удивленными, испуганными взглядами, а я, следуя за ним, видел только его сторбившуюся спину и черные капли воды на полу, которые вдруг напомнили мне капли крови, оставленные раненым. В кабинете он положил свою ношу на стол осторожно, как драгоценность, как больного ребенка, и только тут я рассмотрел, что доска была огромной и очень древней книгой.

— Извините, — сказал он, не поднимая головы. — Большое спасибо...

Закрывая за собой дверь, я увидел, как он чутким движением минера, ожидающего неожиданного взрыва, поднимает верхнюю доску переплета.

...Этот день был очередным выплатным днем, и, получив наши «безлюдные деньги», мы с П. П. нырнули в «Шампанское». Я рассказал ему о сегодняшнем событии.

— Что-о?... Ма-за-ри-ни? — произнес он, и глаза его засверкали. — Этого следовало ожидать... В этой стране может произойти все, что угодно! Вы знаете, что такое «Мазарини»? «Библия Мазарини»?

Я признался, что впервые слышу это название.

— Это так называемая «сорокадвухстрочная Библия» Гутенберга, то есть та книга, изданием которой началась история книгопечатания. Сохранилось их семь или восемь экземпляров, и каждый из них стоит миллионы золотом. Но вы представляете, как эта Библия попала в подвалы?

И вот тут-то я услышал историю, в центре которой был тот самый карниз, с которого и начался этот рассказ.

Весной 45-го года в Ленинград пригнали два или три эшелона книг, вывезенных немцами из зоны интенсивных англо-американских бомбардировок и попавших в руки советских войск. Книги были упакованы в добротные ящики, которые временно развезли по пустующим церквям. Шла война, разбирать книги было некому, ящики горами стояли на своих местах, время от времени заливаемые дождями или тающим снегом: о ремонте крыш или окон в этих зданиях, поврежденных в годы блокады и войны, и уж вовсе не было речи. Правда, никем не охраняемые, церкви эти привлекали внимание окрестных мальчишек. Они проникали внутрь — подальше от взглядов взрослых — и устраивали там то игры, то попойки, а то и пожары.

Но в эшелонах оказалось еще несколько вагонов, заполненных не деревянными, но цинковыми, герметически запаянными ящиками. В них хранились особенно ценные книги, инкунабулы, манускрипты. Эти ящики поместили в подвалах Публички: вода была им не страшна.

Но вот война кончилась, Ленинград чуть-чуть, самую малость вздохнул, и тут отцы города решили проявить о нем отеческую заботу. Тогда и возникло

явление, которое вошло в историю строительного искусства под названием «косметического ремонта». Название было точным: как молодящаяся старуха прикрывает слоем пудры и румян свои морщины, слоем штукатурки и краски подновляли снаружи ветхие, иной раз готовые развалиться дома.

В число таких «объектов» попала и Публичка. Фасад подновили, подправили лепные украшения и карнизы, но никому и в голову не пришло заняться крышей, изрешеченной осколками бомб и снарядов. Дождевая вода в силу своего естества проникала в эти дыры и медленно, неторопливо делала свое дело. Заливала она не только чердаки и верхние помещения библиотеки, но и карнизы, один из которых вскоре и обвалился — как раз в тот злополучный момент, когда под ним проходила супруга партийного босса.

Подобные случаи происходили в Ленинграде в те годы довольно часто, но ими трудно было удивить людей, переживших блокаду с ее голодом, артобстрелами и бомбежками. Пожимали плечами: «Ну, не повезло человеку!»... Но тут вдруг создали специальную комиссию, которая сразу же и установила, что виной всему дырявая крыша.

Заместителю директора накрутили хвост, сняли с него, как и полагается, стружку, пообещали стереть в яичный порошок и приказали: кровь из носа, но чтобы была новая крыша!

Как известно, кровь из носа добыть куда как проще, чем кровельное железо на снабженческой базе. Если железо и было, то разве для исторического Смольного да для домов, занимаемых самым высоким начальством. И вот тут-то, обходя однажды свои владения, ведущий хозяйственник библиотеки увидел в подвале цинковые ящики и, подобно Архимеду, воскликнул: Эврика! Этого цинка хватит на всю крышу!

Правда, сразу же возникла новая проблема: что делать с книгами, хранящимися в этих ящиках? Про-

стейшим решением было бы соорудить в подвалах стеллажи и временно (опять же «временно»!) разместить книги на них. Но где взять доски для стеллажей?

Советского хозяйственника всегда выручает сочетание русского размаха с американской деловитостью. Выручили они и на сей раз: в дело пошли деревянные ящики, в которых находились «простые», «ничем не примечательные» книги. Сработал великий закон советской экономики, известный под названием «Тришкин кафтан».

Вот, собственно, и вся история. Остается лишь добавить, что в 1850 году библиотекарь Императорской публичной библиотеки, будущий ее директор и академик, Афанасий Федорович Бычков по высочайшему повелению купил на парижском аукционе «Библию Мазарини», заплатив за нее 40 тысяч франков. Тех, весомых, золотых франков. В 1932 году эта Библия была продана на аукционе в Стокгольме за 40 тысяч долларов, т. е., если учитывать падение стоимости и доллара и франка, приблизительно за одну десятую своей первоначальной цены.

Может быть, это и был тот самый экземпляр, который Люблинский обнаружил в подвале? Он был непоправимо испорчен.

Теоретически можно себе представить, что на каком-то аукционе вновь появится «Библия Мазарини». Ее возможную стоимость нельзя даже вообразить.

Сколько стоит храм Василия Блаженного? Покрова на Нередице? Во что идет сегодня народная душа?..

НЕЗАПИСАННЫЙ РАССКАЗ ЗОЩЕНКО

Писателя Михаила Зощенко я знал с раннего детства, постоянно читал его великолепные рассказы, слышал их с эстрады в исполнении таких блестящих актеров, как Хенкин, Гаркави и Яхонтов, а в юности, начиная писать, пытался даже — весьма unsuccessfully! — подражать ему.

Однако с Михаилом Зощенко — ЧЕЛОВЕКОМ я познакомился много позже, всего за несколько лет до его смерти. К этому времени я уже давно понимал, что представление советского обывателя о Зощенко как о «юмористе», «смехаче» столь же близко к истине, как утверждение, что Достоевский — автор детективных романов.

Творчество Зощенко глубоко трагедийно, ибо во внешне легкой, незатейливой форме и строго в границах, допущенных свирепой цензурой, он сумел показать внимательному читателю, что произошло с русским мужиком, вытолкнутым из деревни вихрем революции. Его герой оказывается в глубоко враждебном и непонятном ему городе. То он пытается приспособиться к новой жизни, как-то адаптироваться в чуждой ему среде, и автор, посмеиваясь, сочувствует этому герою, иной раз даже дает ему добрые советы, то герой стремится подчинить себе этот нелепый мир с его ненужной культурой и непонятными традициями. Начав приобщение к «цивилизации» с театрального буфета в знаменитой «Аристократке», герой Зощенко в наши дни занимает высочайшие государственные посты и то стучит башмаком по пюпитру в Объединенных Нациях, то повествует человечеству о своих боевых и гражданственных подвигах в «мемуарах», написанных за весьма сходную цену титулованным литературным негром. Куда там до него шолоховскому двадцатипятидесятилетнему Давыдову, который, несмотря на поддержку мощнейшей государственной маши-

ны, потерпел — в исторической перспективе — сокрушительное поражение! И этого своего героя Зощенко глубоко презирает.

Крупнейший Специалист По Всем Идеологическим Проблемам, А. Жданов, если оставить в стороне позорно хулиганский тон его выступления по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году, был достаточно сообразителен, чтобы ухватить эту особенность творчества Зощенко, но, может быть, были у него и более умные предшественники, которые поняли это значительно раньше, потому что достаточно зловещие признаки подозрительного отношения властей к писателю проявились задолго до ждановского «доклада».

Об этом рассказал мне сам Зощенко года за два до смерти в форме прелестной небольшой новеллы, никогда и нигде не опубликованной и, возможно, вообще им не записанной.

Однажды летом 1956 года мы прогуливались с ним по песочному пляжу Сестрорецка недалеко от скромной дачи Зощенко. Я не помню уже, что именно послужило поводом или толчком, побудившим Михаила Михайловича к этому рассказу, но вот как он прозвучал:

...Это случилось много лет назад, — говорил Зощенко своим глуховатым, неторопливым голосом. — Я был в зените славы, журналы и издательства охотились за мной, и не было такой эстрады, с которой не звучали бы мои рассказы.

И я очень любил одну женщину. Она тоже любила меня, но у нее был муж, он был страшно ревнив, и поэтому мы встречались чрезвычайно редко: на премьере в театре, в филармонии, у общих знакомых. Мы обменивались двумя-тремя фразами, иногда только взглядом, и тут же расходились, так как поблизости немедленно возникал ее муж.

Но вот однажды она встретила меня радостной улыбкой и сообщила, что ее отпускают отдохнуть. Она придет в Ялту в начале августа и, если только я смогу, она будет очень рада встретиться со мной там. И мы условились, что сразу по приезде она сообщит мне свой адрес в письме до востребования на ялтинскую почту.

Я был чрезвычайно занят в то время, я готовил к изданию одну книгу, заканчивал работу над другой, у меня были еще какие-то обязательства, но я бросил все и к первому августа примчался в Ялту. Как это ни глупо, я сразу же отправился на почту. Конечно, писем мне не было.

Я не помню, как я прожил оставшиеся два дня, но на третий день я пришел на почту за несколько минут до ее открытия. Писем мне не было.

Я зашел на почту еще вечером, и на следующий день, и еще, и еще, но всякий раз барышня, сидевшая у окошка за стеклянной перегородкой, заглянув в свой ящик, отрицательно качала головой: «Вам ничего нет».

И вот после какого-то очередного посещения почты я, наконец, понял в чем дело: письмо затерялось. Одно письмо среди сотен и сотен других попало в какую-то другую ячейку и лежит теперь там, пока случайно не обнаружится и не вернется на свое место. Но вот если бы на мое имя пришло еще одно письмо, то они, эти два письма, вероятно, сразу бы нашли друг друга...

Идея была глупая, но я почему-то сразу же уверовал в нее. Я купил конверт, вложил в него кусок газеты, надписал: «Ялта, почтамт, до востребования, М. М. Зоценко» — и опустил в ближайший почтовый ящик.

На следующий день я пришел на почту в состоянии тревожного и радостного ожидания, как игрок,

высчитавший все свои шансы на выигрыш и поставивший на карту все свое состояние.

Писем мне не было.

Я растерялся. Что за чёрт?! Не могло же затеряться и второе письмо! Это второе письмо шло не из Москвы, не из Харькова, даже не из Симеиза: я опустил его в десяти шагах от входа в почтамт. Я терялся в догадках и совершенно не мог понять; ни что происходит, ни что мне надлежит делать. Не мог же я, в самом деле, поднять скандал и заявить, что всего лишь накануне я опустил вот в этот почтовый ящик письмо самому себе...

Когда я пришел на почту на следующий день, барышня еще издали заметила меня, заулыбалась и встретила меня словами: «Вам письмо!»

Увы, я сразу узнал его: я отправил его два дня назад.

Я провел в Ялте еще с неделю, ежедневно наведываясь на почту и, так не дождавшись письма, уехал...

...Прошло несколько лет. Я очень любил одну женщину, она любила меня, но у нее был ревнивый муж и еще более ревнивый любовник, поэтому мы не встречались вовсе. Лишь изредка я видел ее издали, когда после спектакля она выходила из Мариинки или оказывалась на крыше «Европейской», а то появлялась на вернисаже какого-нибудь художника, но всякий раз под неотступным наблюдением.

Я был очень несчастен, мне скверно работалось, и поэтому когда мне предложили литературную поездку по югу России, я с радостью согласился. Я побывал в Харькове, в Сталинграде, в Саратове, где-то еще, а середина лета застала меня в Ростове-на-Дону. Как всегда, я остановился в «Деловом дворе», старой купеческой и довольно удобной гостинице. Днем я работал у себя в номере, а по вечерам выступал с чтением своих рассказов в рабочих клубах и дворцах культуры.

Однажды в середине дня я спустился вниз в ресторан — ну, вы, конечно, знаете этот большой, высокий двухсветный зал, — и вдруг с порога увидел ее. Она сидела одна за угловым столиком, и перед нею был лишь один прибор. На всякий случай я посмотрел направо, посмотрел налево, но не увидел ни ее мужа, ни ее любовника. Тут и она заметила меня, улыбнулась и легким движением указала на место рядом с собой.

Выяснилось, что она только этим утром приехала в Ростов, что у нее должны быть два или три концерта, после чего она сразу же возвращалась в Ленинград.

Мы пообедали вместе, потом поднялись в ее номер, и я провел там несколько самых счастливых часов в моей жизни...

Был уже вечер, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, зазвучал мужской голос, на лице ее отразилось удивление: «Это вас, Миша!»

Говорил директор дворца культуры завода «Ростсельмаш». Было совершенно непонятно, как он нашел меня в этом номере. «Михаил Михайлович, вы, вероятно, забыли, что сегодня вы выступаете у нас. Уже двадцать минут восьмого, зал набит до отказа, и публика начинает волноваться...»

Я ответил, что очень скверно себя чувствую, что я очень, **ОЧЕНЬ** прошу моих слушателей извинить меня и что я готов выступить перед ними завтра и послезавтра, но только не сегодня.

«Но, Михаил Михайлович, — продолжал настаивать директор, — поймите же, что вас ждут восемьсот лучших ударников нашего завода. Они давно мечтали о встрече с вами, и вдруг...»

Я еще раз повторил, что очень скверно себя чувствую, что сегодня никак не могу приехать, и положил трубку.

Моя дама посмотрела на меня внимательно и с некоторым любопытством.

— Скажите, Миша, — заговорила она вдруг. — Как вы, так любящий славу, так много делающий для нее, — как *вы* можете отказаться от встречи с почти тысячей ваших почитателей? Я, например, просто неспособна на это.

Я очень удивился. Я не могу сказать, что я совершенно безразличен к тому, что называется славой и что связано с нею. Но я никогда и ничего не делал для нее. Я делал то, что считал своим писательским долгом, я писал о жизни так, как я ее видел и понимал, и если случилось, что мои писания принесли мне славу, то это, видимо, объяснялось тем, что мои рассказы раскрывали людям что-то такое, что было им близко и понятно, что трогало или смешило их. С чего она взяла, что я делаю что-то специально для славы?

И тут неожиданно выяснились удивительные вещи. Тут выяснилось, что ее муж работал в НКВД, в отделе, который наблюдал за искусством и литературой. Более того, он занимался непосредственно мною, и в то памятное лето, когда я ежедневно бегал на ялтинскую почту, он тоже — случайно или не случайно — оказался в Ялте.

И вот в руки НКВД попало мое письмо, то самое, которое я отправил самому себе. Его вскрыли, извлекли обрывок газеты и принялись его изучать. Они пытались обнаружить симпатические чернила, они рассматривали этот обрывок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, они разглядывали его с помощью лупы в надежде найти надколотые буквы, с помощью которых кто-то пытался передать мне какое-то сообщение. Конечно, они ничего не нашли и терялись в самых невероятных догадках.

И тут муж моей дамы еще раз взглянул на конверт, узнал, наконец, мой почерк и сразу понял, в чем

дело: Зощенко, приехав в Ялту и обнаружив, что местные газеты ни словом не обмолвились об этом событии, решил написать письмо самому себе с тем, чтобы почтовая барышня, прочитав имя адресата, оповестила бы о его приезде всех его ялтинских поклонниц и поклонников.

Трудно было придумать что-либо глупее!

И вот в то время, когда имя Жданова вряд ли было кому-либо известно, за много-много лет до всех тех несчастий, которые произошли со мною и лишили меня возможности работать в литературе, это фантастическое, непостижимое внимание ко мне со стороны НКВД вдруг открыло мне глаза: я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

...Вернувшись домой, я сразу же записал этот рассказ. Естественно, что я нигде не мог его опубликовать — даже после смерти Зощенко. Несколько лет он пролежал у меня в столе, но вот в июне 1960 года ко мне явились не столько неожиданные, сколько незванные гости: шесть или семь гебистов в сопровождении обязательных понятых. Среди изъятых рукописей оказалась и запись приведенного рассказа. Позднее, в ходе следствия, и следователь Кривошеин и начальник следственного отдела полковник Рогов неоднократно пытались добиться признания, что этот рассказ — еще одно свидетельство моей злобной клеветнической деятельности. Однако через два месяца, когда следствие было закончено, рассказа не только не оказалось в томе «вещдоков», но он даже не упоминался в обвинительном заключении.

— А куда же делся рассказ Зощенко? — спросил я следователя.

— А-а!.. — Он неопределенно махнул рукой. — Это не имеет значения.

Однако еще два или три дня спустя мне предъявили часть изъятых у меня бумаг и книг, не приобщен-

ных к делу, но и не подлежащих возвращению. Среди них был и этот рассказ Зоценко. Еще позднее мне предъявили акт о сожжении этих документов и книг как не представляющих ценности.

Я сделал единственно возможный вывод: Зоценко рассказывал эту историю не только мне, и кто-то из допрошенных по моему делу свидетелей подтвердил это. По непонятным причинам этого показания я не нашел ни в одном из протоколов допроса. Или, напротив, по понятным причинам — КГБ почти никогда не приобщает к делу протоколы допросов своих осведомителей.

УСПЕНСКИЙ Кирилл Владимирович (лит. псевдоним — Кирилл Косцинский) — родился в Петрограде в 1915 г. в семье большевиков. В 1934 г. поступил в пехотное училище и одновременно на вечернее отделение филологического факультета ЛГУ (тогда ЛИФЛИ). С 1937 г. в армии — командир полуроты, пом. начштаба батальона. В 1939 г. поступил в Академию им. Фрунзе, которую окончил с отличием в 1942 году. С июня 1942 г. — на фронте. Со стрелковым полком, где Успенский был начальником штаба, прошел до Вены. Предотвратил расправу с группой предполагаемых «вервольфовцев», на самом деле — участников австрийского сопротивления, среди которых были Карл Реннер (позднее канцлер и президент Австрии), Адольф Шерф и Юлиус Рааб (оба — будущие министры, а потом и канцлеры) и секретарь ЦК компартии Фюртль Фюрнберг, — все они через десять дней после этого вошли во временное правительство Австрии. Демобилизовался в конце 1946 г. и стал профессионально заниматься литературой (печататься начал с 1933 г.). В 1951 г. кандидат, в 1953 г. — член Союза писателей. С 1947 по 1974 гг. опубликовал пять своих книг и большое количество переводов (с английского и азербайджанского), а также множество очерков и статей.

Еще в 30-е годы много раз исключался из комсомола — за слишком ортодоксальное толкование классиков марксизма-ленинизма. Вступив в декабре 1941 г. в кандидаты, а в июне 1943 г. — в члены партии, был исключен из нее в июле 1944 г. за оценку политики английской и французской компартий в 1939-41 гг. как пораженческой и глубоко ошибочной.

Арестован был в первый раз в октябре 1938 г. в Херсоне как резидент польской, румынской и немецкой разведок (в детстве был за границей с отцом, посланным туда на работу). Освобожден после

полтора месяцев следствия — с двумя сломанными ребрами и без нескольких зубов. Затем был арестован уже в либеральные хрущевские времена, в июле 1960-го, приговорен к 5 годам за «антисоветскую пропаганду», последний год отсидел не полностью, был освобожден досрочно после падения Хрущева, благодаря ходатайствам И. Эренбурга и Ю. Домбровского. В лагере занялся изучением и сбором «фени»; продолжая и расширяя поле этой деятельности, подготовил «Словарь русской ненормативной лексики» (около 25 тысяч словарных статей — аргю, различные жаргоны, сленг, городское просторечие). В 1978 г. эмигрировал, и работу над словарем предполагает завершить в Соединенных Штатах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA-Press в 1979 году

ВЫШЛИ В СВЕТ:

ПАМЯТЬ. Исторический сборник. Вып. 2. (Самиздат, 1977). 600 с.	89 фр.
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сквозь чад. Отрывок из шестого дополнения к «Бодался теленок с дубом». 64 с.	18 фр.
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Полное собрание сочинений. (Только по подписке). Т. 3. Рассказы. Т. 4. Раковый корпус. Инок Григорий КРУГ. Мысли об иконе. 160 с.	75 фр.
М. А. ПОПОВСКИЙ. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. 525 с.	87 фр.
Л. К. ЧУКОВСКАЯ. Процесс исключения. Очерк литературной жизни. 207 с.	45 фр.
В. Ф. КОРМЕР. Крот истории. Роман. 185 с.	45 фр.
Д. БОБЫШЕВ. Зияния. Стихи. 240 с.	36 фр.
В. Н. ВОЙНОВИЧ. Претендент на престол. Новые приключения солдата Ивана Чонкина. 362 с.	54 фр.
В. В. РОЗАНОВ. Религия и культура. Сб. статей. (Репринт). 272 с.	48 фр.

Заказы на книги направлять по адресу: Les Editeurs Reunis,
11 rue de la Montagne-Ste-Généviève, 75005 Paris, France.

ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA-Press в 1979 году

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

Л. К. ЧУКОВСКАЯ. Записки об Анне Ахматовой.
Т. 2.

Еп. В. КРИВОШЕИН. Симеон Новый Богослов.
ПАМЯТЬ. Исторический сборник. Вып. 3. (Самиз-
дат, 1978).

И. ГЕССЕН. Воспоминания.

Г. ФЛОРОВСКИЙ. Пути русского богословия. (До-
полненное издание).

С. ГАККЕЛЬ. Мать Мария.

Игумен НИКОН. Письма к духовным детям.

В. Н. ТРОСТНИКОВ. Мысли перед рассветом.

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Полное собрание сочине-
ний. Т. 5. Архипелаг ГУЛаг.

П. Б. СТРУВЕ. Статьи о литературе.

Г. П. ФЕДОТОВ. Статьи разных лет. Т. 3.

Н. С. ГУМИЛЕВ. Неизданные стихи и письма.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Собрание сочинений. Т. 4.

А. А. АХМАТОВА. Собрание сочинений. Т. 3.

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ. Перелетая снежную границу.
Стихи 1974 — 1978.

Заказы на книги направлять по адресу:

Les Editeurs Reunis,

11 rue de la Montagne-Ste- G n vi ve,

75005 Paris, France.

Россия и действительность

Людмила Алексеева

ЮРИЙ ОРЛОВ — РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ

«Тем, кто обгоняет своих современников, приходится дожидаться их в очень некомфортных местах».

Станислав Ежи Лец

«... Я чувствую себя ничего, стараюсь на прогулках побольше двигаться и поглубже дышать, а в камере стою на голове и пр. ...»

*Из письма Ю. Орлова. Лефортово,
июль 1978.*

Движение за соблюдение Хельсинкских соглашений стало заметным фактором международной общественной и политической жизни. Никогда прежде вопрос о правах человека не играл такой существенной роли во взаимоотношениях Запада и Востока. Зернышком, из которого выросло хельсинкское движение, оказалась Московская Хельсинкская группа, задуманная и созданная Юрием Орловым.

Группа принимает у граждан информацию о нарушениях обязательств советских властей по «третьей корзине» Заключительного Акта, составляет на основе этой информации документы, знакомит с ними советскую и мировую общественность, передает их советскому правительству и остальным странам, подписавшим Хельсинкские соглашения. Все очень просто.

Простота идеи способствовала ее распространению. Но, как известно, труднее всего найти именно простое решение сложных проблем. Это сумел сделать Юрий Федорович Орлов, создатель и руководитель Московской Хельсинкской группы, — ныне политзаключенный Пермского лагеря №37.

Юрий Федорович ростом невелик и ходит по-спортивному быстро, но, наверное, филерам легко было следить за ним: он виден в любом многолюдье из-за копны светло-рыжих волос (как у Анджелы Дэвис, шутили друзья). Держится Ю. Ф. неприметно, говорит тихим голосом и мало, очень любит слушать. Любого собеседника слушает внимательно — у Ю. Ф. такой способ думать. Задаст вопрос на интересующую его тему и слушает, даже лоб наморщит. Какие-то доводы принимает, какие-то отвергает, какие-то додумывает дальше, развивает иной раз в направлении, отличном от хода мыслей собеседника, и все это молча, не прерывая, разве уточняющий вопрос задаст.

«Додиссидентская» жизнь Ю. Ф. составляет идеальную анкету: русский, из рабочей семьи, начинал токарем на заводе в Тагиле; во время войны окончил артиллерийское училище, получил офицерское звание, вступил в партию, в конце войны был на фронте; после войны — физический факультет Московского университета, а вечерами — работа истопника (содержать его в годы ученья было некому).

Ю. Ф. окончил университет в 27 лет и получил назначение в Институт теоретической и экспериментальной физики. Этот московский институт — предмет мечтаний каждого физика в Советском Союзе. Чтобы со студенческой скамьи попасть в такое элитарное учреждение, идеальная анкета необходима, но недостаточна — нужны выдающиеся способности. У Ю. Ф. были и способности и трудоспособность. За три года он закончил кандидатскую диссертацию, имел несколько печатных работ, участвовал в подготовке

докладов на международный симпозиум физиков в Женеве. Это было блестящее начало блестящей научной карьеры. Но...

Еще во время войны стал Ю. Ф. задумываться над бесчеловечностью советской системы по отношению к так называемым простым людям. Он не был сторонним наблюдателем их обойденности и униженности. Он жил одной с ними жизнью, был одним из них.

Первым толчком к этим раздумьям была высказанная знакомым рабочим в самом начале войны надежда, что союз с демократическими странами приведет к демократизации СССР после войны. В армии эти раздумья оформились в идею о «диктатуре советской бюрократии». Ю. Ф. стал усиленно изучать «классиков марксизма» и Гегеля, стараясь понять, как совершился отход от их учения, и найти «правильную идеологию» (этой болезнью переболели почти все, «засомневавшиеся» раньше, чем получил распространение самиздат).

В 56-м году Юрий Орлов выступил на партсобрании института, где обсуждались материалы XX съезда КПСС, и осудил политику партии до XX съезда. Он говорил о всеобщей утрате честности, о морали, о необходимости демократических преобразований системы. Разумеется, он был исключен из партии и уволен с работы. Через полгода он нашел место в Армении и уехал туда. Вернулся он в Москву лишь через 15 лет, известным ученым. За эти годы были опубликованы более двух десятков его работ, принесшие Ю. Ф. признание коллег во всем мире. Он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, а в 1968 г. был избран членом-корреспондентом Армянской АН — взлет почти невероятный для исключенного из партии и «нераскаявшегося».

Переход в академическое сословие и собственное благополучие не изменили представлений Ю. Ф. о на-

шем обществе как неприспособленном для нормальной человеческой жизни и безнравственном. Врожденную тягу к анализу, развитую годами научной работы, Ю. Ф. направлял на изучение не только физических, но и социальных явлений. Впоследствии (1975) Ю. Ф. изложил свой взгляд на советское общество в статье «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?». Эта единственная появившаяся в самиздате теоретическая работа Ю. Ф. поставила его в ряд самых блестящих самиздатских авторов.

Подвергая строгому и объективному анализу социалистическую систему, Ю. Орлов приходит к выводу, что присущая социализму централизация всей экономики в руках государства и единое централизованное планирование несовместимы, с точки зрения долговременной устойчивости, с демократическими и интеллектуальными свободами. Тех, кто мечтает о «социализме с человеческим лицом», Орлов предостерегает, что полная национализация всех средств производства слишком подходит к тоталитарной структуре, слишком легко с ней сцепляется, чтобы можно было надеяться долгое время удерживать общество от этого сцепления. Любая хорошая встряска приведет к образованию устойчивого симбиоза социализма и тоталитаризма, и при лучших намерениях строители нового общества попадут в ту же волчью яму, где находится Советский Союз и другие страны реального социализма. В эту яму легко попасть, но очень трудно из нее выбраться — бесчеловечный симбиоз представляет собой весьма устойчивое образование. Все попытки изменения ситуации, связанные с насилием, автор считает безнадежными, так как в сегодняшнем мире сильные встряски лишь увеличивают опасность тоталитаризма.

Единственный выход из волчьей ямы Ю. Орлов видит в том, чтобы, не рассчитывая на скорый успех, постепенно изменять нравственную атмосферу совет-

ского общества. Он верит в возможность успеха на этом пути, если удастся объединить в единое этическое антитоталитарное движение в нашей стране и во всем мире всех тех, кто осуждает тоталитаризм. Объединяющей силой этого движения может стать категорическое осуждение и неприятие насилия по отношению к людям, не виновным в насилии. В сущности, это и есть тот принцип, та нравственная вера, которой придерживается большинство советских инакомыслящих вне зависимости от идеологических различий. Малая вероятность успеха объединительных усилий против тоталитаризма не должна отвращать нас от этого пути, рассуждал Ю. Ф., так как именно наши усилия могут эту вероятность увеличить.

Естественным путем к очеловечиванию режима мог бы стать диалог общественности с властями. Однако безусловный отказ их от такого диалога подтверждался не только собственным опытом Ю. Ф., восходящим к 56-му году, но достаточным числом безуспешных попыток такого рода, которыми полна история диссидентского движения: открытые письма, индивидуальные и коллективные, начиная с 1965 г., с дела Синявского и Даниэля, а затем Галанскова и Гинзбурга; тучи обращений к каждому партийному съезду; письмо А. Сахарова, В. Турчина и Р. Медведева советским руководителям в 1970 г.; обращения В. Чалидзе и Комитета защиты прав человека в 1970-72 гг.; памятная записка А. Д. Сахарова Брежневу (1971) — этот неполный перечень доказывал, что безнадежно взывать к не желающим слышать. Тем не менее, Ю. Ф. предпринимает еще одну подобную попытку: в 73-м году он пишет Брежневу по поводу очередной газетной кампании, разразившейся тогда против А. Д. Сахарова. В этом письме Ю. Ф. вновь поднимает вопрос о необходимости постепенного демократического преобразования нашего общества.

Затем последовали выступления Ю. Ф. против высылки А. И. Солженицына, в защиту активиста армянского национального движения Паруйра Айрикяна, правозащитников Сергея Ковалева, Анатолия Марченко и Андрея Твердохлебова, героя крымско-татарского движения Мустафы Джемилева, украинского священника Василия Романюка и др. К этому времени в Москве к открытым письмам уже привыкли, но подпись Ю. Ф. сразу была замечена: из многочисленных членов Академии лишь двое подписывали самиздатские обращения — А. Д. Сахаров и И. Р. Шафаревич. Теперь их стало трое... Но Ю. Ф. снова оказался без работы, и на этот раз никто не смог помочь ему.

Ю. Ф. заранее был готов к этому. Он стал зарабатывать на жизнь репетиторством, но физику не забросил. Он организовал семинар по точным наукам, который собирался два раза в месяц. Сначала в этом семинаре участвовали лишь те ученые, что, как и Ю. Ф., лишились работы, главным образом — отказники, но потом и благополучные коллеги стали посещать семинарские четверги и даже делать там доклады. «Пять лет решил я отдать успокоению своей гражданской совести, — говорил полущутя Ю. Ф., — а потом буду заниматься только наукой». Но вот что странно: с годами срок «пять лет» в этой фразе не менялся...

Из-за полного отсутствия отклика (если не считать таковым суды и внесудебные преследования) обращения по поводу нарушений прав человека в СССР постепенно меняли адреса. Их все чаще, начиная еще с 1968 г., слали на Запад, апеллируя к «мировой общественности», ко «всем людям доброй воли», просто в редакции газет или к международным организациям: в ООН, Международный Красный Крест и т. п. Кроме того, писатели и о писателях писали в ПЕН-клуб, верующие — во Всемирный Совет Церквей и своим единоверцам за границей, участники национальных

движений обращались за помощью в зарубежные национальные организации. «Мировая общественность» иногда откликалась голосом какого-нибудь писателя, ученого или общественного деятеля. Время от времени удавалось пробудить возмущение на Западе по поводу особо жестокого приговора «ни за что», причем такая активность чаще тоже проявлялась по корпоративному признаку: ученые вступались за ученого (обычно за коллегу по специальности), писатели — за писателя, национальные организации — за своих соотечественников и т. д. ООН и другие международные организации не откликались и ничем не обнаруживали хотя бы осведомленности об обращениях к ним советских граждан — призывы к «мировой общественности» тонули в мировом пространстве.

Отсутствие отклика заметно охлаждало пробудившуюся было в нашем обществе страсть к эпистолярному жанру, его произведений становилось все меньше, труднее оказывалось собрать подписи под очередным коллективным письмом по поводу очередного безобразия властей. Многие предпочитали практическую работу: писать и распространять самиздат, помогать политзаключенным и их семьям, собирать информацию для «Хроники текущих событий» и т. п. Но при этом говорили и говорили о том, как необходим движению отклик... И Ю. Ф. слушал эти бесконечные разговоры и думал над тем же: как побудить власти вступить в диалог, как добиться международного резонанса. Газету с текстом Заключительного Акта совещания в Хельсинки он развернул с той же мыслью.

Этот документ прочли миллионы советских людей и в том числе, конечно, диссиденты. На неискушенных читателей, лишь смутно знавших о Всеобщей Декларации Прав Человека, гуманитарные статьи Хельсинкских соглашений произвели впечатление чего-то необычного — обещания советских властей соблюдать

права граждан наши газеты публиковали впервые. Но диссиденты и близкие к ним круги испытывали разочарование. Из-за расплывчатости формулировок и апелляции к «доброй воле» партнеров — статьи о правах человека в Заключительном Акте были шагом назад по сравнению с Декларацией Прав Человека, Международными Пактами о правах и другими конвенциями, которые обязался соблюдать Советский Союз. Похоже было, что советское правительство сумело получить в Хельсинки немало под пустые обещания. Признание послевоенных границ в Европе, помощь техникой, кредитами и доступ к научным достижениям Запада — все это укрепляло режим, позволяя произвести необходимую модернизацию экономики без либерализации системы. Большинство расценивало Заключительный Акт как большую дипломатическую победу советского руководства. Видимо, и оно само думало то же самое, раз полный текст этого документа, в том числе разделы о правах человека, был опубликован в советской прессе.

В августе 1975 г. в Москве находилась делегация американских конгрессменов. Член Конгресса Миллсент Фенвик встретила с Ю. Ф. и его другом Валентином Турчиным, председателем советского отделения Международной Амнистии, а также с отказником доктором наук Вениамином Левичем. Миссис Фенвик интересовалась мнением советских диссидентов о Хельсинкских соглашениях — американские политические комментаторы тоже считали их подарком Запада Советскому Союзу. Московские собеседники ее были среди немногих, кто усмотрел практические возможности Заключительного Акта в формально признанной им *взаимосвязи* международной безопасности и свободы личности. Из этой концепции вытекало, что соблюдение прав граждан является международно значимым, а не внутренним делом и, следовательно, законной темой дипломатических переговоров и дав-

ления на партнеров по договору, нарушающих его в части гуманитарной. Перечисленные в гуманитарных статьях Заключительного Акта права граждан должны были рассматриваться как минимальный международный стандарт, минимальный норматив обращения властей с гражданами, обязательный для всех партнеров по Хельсинкским соглашениям.

Брежнев подписал Хельсинкские соглашения беспретной рукой, потому что статьи о правах человека он (как, впрочем, и его партнеры) считал необходимой демагогической оболочкой «деловой» части соглашений. Официальные отношения Советского Союза с Западом зиждились на том, что западные правительства принимали советскую систему как данность, вежливо и «прагматично» «не замечая» разбойных нравов советских властей по отношению к своим гражданам. Такая политика считалась на Западе единственно возможной с государством, которое, того гляди, начнет кидать атомные бомбы. Поддерживая эти страхи, Брежнев имел все основания считать эту политику Запада молчаливо признанной основой разрядки и не опасался, что Запад рискнет ее изменить.

Юрий Орлов тоже не обнадеживался, что партнеры Советского Союза по Хельсинкам проявят требовательность по обязательствам «третьей корзины». Он не намеревался «играть в политику». Но он полагал, что советские власти будут вынуждены умерить репрессивность и осуществление демократических прав станет возможным у нас,

— если участникам правозащитного движения удастся, опираясь на Заключительный Акт, расширить информирование советской и западной общественности о положении в области прав человека в Советском Союзе и

— если западная общественность оперативно и активно поддержит движение за права человека в СССР, добиваясь от своих правительств отказа от неравно-

правного толкования принципа невмешательства и требуя давления на Советский Союз ради выполнения им гуманитарных обязательств в интересах всеобщей безопасности. (А малая вероятность такого развития событий, как мы уже знаем, не должна сдерживать наших усилий, так как именно они могут увеличить ее.)

В поисках оптимального пути использования возможностей, заложенных в гуманитарных статьях Заключительного Акта, Ю. Ф., по своему обыкновению, обсуждал эту проблему с десятками людей, выслушал самые разнообразные мнения и, слушая, прояснял для себя детали, рассматривал проблему с разных сторон, шлифовал и конкретизировал решение. Постепенно выкристаллизовалась идея создания именно Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Многочисленные собеседники Ю. Ф. вправе считать себя соавторами этой идеи, и он всегда подчеркивает, что она — плод коллективного опыта и общих раздумий.

Этот опыт сделал безусловным основной принцип Группы — гласность. Первым шагом Группы была публикация ее целей и списка членов с их адресами. Правозащитное движение с самого начала — с 1965 года — сделало своим лозунгом гласность. Первое время его участники избегали каких бы то ни было организационных форм, каждый выступал индивидуально. В 1969 г. возникла первая правозащитная ассоциация — Инициативная группа защиты прав человека в СССР, в 1970 — Комитет прав человека, в 1971 — Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов, в 1973 — Группа-73, осуществлявшая помощь политзаключенным и их детям, в 1974 — советское отделение Международной Амнистии (куда входил, кстати, Ю. Ф. Орлов). Деятельность этих ассоциаций убеждала, что заявления группы людей, провозгласивших себя объединением с декларированными целями,

несравненно более внушительны, чем пачка заявлений на ту же тему каждого из них в отдельности или послания, подписанные ими просто в качестве соавторов. Потому-то была создана именно группа, а не, скажем, семинар по проблемам Хельсинкских соглашений, как сначала предлагал частый собеседник Ю. Ф. на эти темы и будущий член Московской Хельсинкской группы Анатолий Щаранский (в его предложении был аккумулирован организационный опыт евреев-отказников, проводивших подобные семинары). Традициями правозащитного движения и его опытом составления документов была предрешена также фактологичность и «юридический» стиль письменной продукции Хельсинкской группы, начиная с самой ранней.

Однако, принимая необходимость объединения для большей эффективности выступлений, и Ю. Ф. и остальные члены Группы были едины в стремлении к возможно менее «организованной» организации, к минимальной оформленности, необходимой для того, чтобы выступить как коллектив. Это определялось стойким отвращением большинства участников правозащитного движения, из которых составила Группу, к каким бы то ни было организационным затеям. Отвращение это вызывалось и усталостью от загоняния во всяческие организации, которое каждый из нас пережил в той или иной мере как член советского общества, и отталкиванием от неумеренно пропагандируемого «демократического централизма» правящей партии, и — самое главное — тем, что привлекательность диссидентской среды для большинства из нас была именно в добровольности включения в эту среду и сердечности возникающих в ней отношений. Этот дружеский круг без определенных границ, где нет ни лидеров, ни подчиненных, где никто никому ничего не «поручает», а каждый сам решает, что ему делать, никто не имеет обязанностей, кроме диктуемых чувством собственного морального долга, где все живут

и действуют лишь по велению собственной совести и притом с самозабвенной активностью, какой не вызвать ни приказами, ни понуканием, — одно из величайших, а может быть и величайшее достижение диссидентов. В этой среде уже существует та атмосфера, о распространении которой в масштабах страны мечтал Ю. Ф. И тех, кому посчастливилось войти в это содружество, всякая попытка организовать настораживает как посягательство на эту атмосферу, никто не хочет ее «политизации» и формализации связей.

При создании Московской Хельсинкской группы не заходила речь ни о программе, ни об уставе, вообще не было ни единой бумаги, кроме декларации, где указывались цели Группы и состав ее участников. Ю. Ф. объявлялся руководителем, но «лидерство» его было лишь большей мерой ответственности и, следовательно, опасности. Не были определены, даже устно, обязанности ни руководителя, ни членов, не было распределения функций, не было даже договоренности о порядке поручения конкретных дел. За 9 месяцев с момента организации до ареста ее руководителя Группа ни разу не собиралась в полном составе и ни разу не обсуждались никакие организационные вопросы. При встречах речь шла обычно о теме следующих документов. Тот, кто предлагал тему, брался, как правило, и составить соответствующий документ. Лишь со временем установилось некоторое разделение труда: каждый стал чувствовать себя ответственным за ту часть работы, которую он вызывался делать чаще других, а остальные доверяли тому, кто с данной областью лучше знаком. Готовый документ подписывали члены Группы, оказавшиеся под рукой до его передачи корреспондентам. Если кто-либо делал замечание, тут же решалось, вносить ли предлагаемые поправки.

При такой постановке дела (вернее, при ее отсутствии) порядок налаживался не сразу и, увы, так и не стал идеальным. Но думаю, что отсутствие «игры в

организацию» способствовало безоблачно дружеской атмосфере в Группе, хотя можно было ожидать отношений сложности. Объединились люди, разные по возрасту и характерам, к тому же, все они были «диссидентами», что, по определению, предполагает увлеченность какими-то своими идеями и известную долю строптивости. Однако я не припомню, чтобы по какому-либо поводу возникло взаимное раздражение или оказалась невозможной общая договоренность, даже когда речь шла о принципиальных вопросах. Не было на моей памяти и отказа подписать документ из-за несогласия с ним. За месяц до ареста Толя Шаранский сказал мне (и повторил это на суде), что время работы в Группе было самым счастливым временем его жизни. Я могу сказать то же о своем пребывании в диссидентском движении, длившемся более 10 лет. Видимо, роднит общая ответственность и общая тревога за судьбу каждого. Заранее было известно, что личная безопасность вошедших в Группу еще более зыбка, чем положение соавторов коллективного заявления или авторов открытых писем. Об этом свидетельствовала история правозащитного движения. (Из 15 членов Инициативной группы 6 были репрессированы в первые два месяца и в следующие пять лет — еще четверо. В Комитете прав человека подверглись репрессиям двое из пяти его членов. И т. д.) Очень скоро эту закономерность подтвердил и опыт Московской Хельсинкской группы.

Когда подготавливалось создание Группы, Ю. Ф. и все, с кем он имел дело, старались сохранить эти планы втайне до момента объявления Группы, чтобы уберечься от провокаций.

В середине апреля Ю. Ф. позвонил мне и пригласил «погулять по московским улицам». Отношения у нас были сердечными, но чисто деловыми. Приглашение означало, что нужно поговорить о чем-то вне наших домов, про которые никак нельзя было поручить-

ся, что они не прослушиваются. Я самым светским тоном (дом — кто его знает, но телефон-то наверняка с ушами) выразила готовность погулять завтра же.

Мы встретились в скверике у Большого театра, сели на лавочку и завертели головами: не привел ли кто из нас «хвост». Но вроде никого не было.

Ю. Ф. сказал, что работает над созданием Группы, которая следила бы за выполнением обязательств по правам человека, взятых советским правительством в Хельсинки, и призвала бы общественность всех «хельсинкских» стран создать такие же. Информацию о нарушениях прав человека Группа будет посылать в канцелярию Брежнева и в посольства всех 34 партнеров по Хельсинки с тем, чтобы она была использована на Белградской конференции, где, согласно самим Хельсинкским соглашениям, будет проверяться их выполнение. На приглашение вступить в Группу я ответила, что наша семья собирается эмигрировать и, хотя разговоры об этом идут уже три года, осенью мы решили, наконец, подать документы на выезд. Ю. Ф. сказал, что помнит об этом и даже рассчитывает на это: Группе нужен будет заграничный представитель.

Надо признаться, не только в этом разговоре, но и в первое время работы в Группе я еще не оценила идею ее создания по достоинству. Ну, будем писать о нарушениях прав человека — такие письма пишутся уже почитай 10 лет, и западные правительства ничуть не перспективнее в смысле отклика, чем «мировая общественность». Но эти 10 лет приучили протестовать против нарушений прав несмотря на отсутствие ответа. Мы видели смысл протестов против незаконных прежде всего в самих протестах, в нарушении рабьего молчания, не рассчитывая на какой-либо заметный результат. Новый адресат был лучше прежних уже хотя бы тем, что был новым.

Никакой торжественности минуты, давая согласие вступить в Группу, я не испытала. Голова была забита

всякими практическими соображениями: Господи, каждый документ нужно будет размножать в 35 экземплярах, т. е. потребуется семь закладок на машинке. А ведь всяким Болгариям посылать — все равно что прямо на Лубянку, куда и от Брежнева переправят. Я представила себе девочек и старушек, которым носила подобные бумаги на перепечатку, как они, уставшие после работы для заработка, будут печатать семь раз одно и то же — и главным образом для КГБ, а могли бы за это время отдохнуть или напечатать что-нибудь для людей. И я брюзгливо уславливалась, что документы, раз они нужны в таком чудовищном количестве, должны быть короткими («не более полутора машинописных страниц» — собачилась я).

Ю. Ф. обещал предупредить о дне объявления Группы, но все произошло быстрее, чем он рассчитывал. Видимо, он или кто-то, с кем он имел дело, все-таки не уберегся от всеслышащих ушей наших славных чекистов. За день до намеченного срока объявления Группы Ю. Ф. получил повестку — вызов в районное отделение КГБ. Были все основания полагать, что речь пойдет о еще не родившейся группе. И Ю. Ф. поспешил к А. Д. Сахарову.

Андрей Дмитриевич в Группу не вошел (хотя Ю. Ф. начал с того, что предложил ему быть руководителем), но создание ее одобрял и помогал чем мог. Жена Андрея Дмитриевича Елена Боннэр и его секретарь Александр Гинзбург были среди членов будущей группы. Решено было действовать не откладывая. По телефону пригласили нескольких иностранных корреспондентов, и Андрей Дмитриевич представил им руководителя Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР Юрия Орлова, а Ю. Ф. зачитал сообщение о создании Группы.

Уже через два часа после этой внезапной пресс-конференции зарубежные радиостанции, работающие на Советский Союз: и «Голос Америки», и Би-Би-Си,

и «Немецкая волна», и «Свобода» — передали сообщение о создании независимой общественной ассоциации, в которую вошли 11 человек, среди них П. Г. Григоренко, Мальва Ланда, Анатолий Щаранский.

Это случилось 12 мая 1976 года.

А 15 мая, когда Ю. Ф. в спортивном костюме и тапочках вышел за порог своего дома, к нему подошли двое, предложили следовать за ними и доставили в районное отделение КГБ. Там ждал Некто, отказавшийся, по гебистскому обыкновению, назвать свое имя.

— Объявили все-таки, успели, — сказал он, не скрывая досады.

Инкогнито заявил, что КГБ считает Группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР подпольной, ее название — провокационным, а действия Ю. Ф. — противозаконными, так как они ставят «под сомнение в глазах международной общественности искренность усилий Советского Союза, направленных на неукоснительное проведение в жизнь принятых им международных обязательств...». Ю. Ф. предупреждался, что он и «связанные с ним лица» понесут наказание по закону, если не откажутся немедленно от идеи создания Группы.

Еще не вышел Ю. Ф. из здания КГБ, как за границу было передано заявление ТАСС «Предупреждение провокатору». В нем сообщалось, что «некий Юрий Орлов», «некогда» занимавшийся научной работой, в последние годы полностью посвятил себя «антисоветской деятельности», «стремясь снискать популярность среди противников разрядки международной напряженности». И далее дословно повторялся текст предупреждения, сделанного в КГБ.

Ю. Ф. и «связанные с ним лица» заранее предполагали такую реакцию и удивились только ее мгновенности: кроме объявления о создании Группы, еще ничего не было сделано. Из передач зарубежных радио-

станций на русском языке можно было понять, что создание Хельсинкской группы и реакция властей на этот факт комментируются в западной прессе, но мы не знали того, что знали власти: как раз в это время в Конгрессе и Сенате США обсуждался законопроект, внесенный членом Конгресса миссис Фенвик, — о создании при Конгрессе комиссии по сотрудничеству и безопасности в Европе, комиссии, по целям аналогичной нашей Хельсинкской группе. Возможно, это заставило КГБ действовать столь стремительно.

Первый документ Московской Хельсинкской группы датирован 18 мая 1976 г. Темой его было незаконное осуждение Мустафы Джемилева. Суд состоялся в апреле, и это было свежей раной друзей Джемилева — членов Группы П. Г. Григоренко и Е. Г. Боннэр (она вместе с Андреем Дмитриевичем ездила на суд Мустафы в Омск). Пресс-конференция по первому документу тоже происходила у Сахаровых, зарубежные радиостанции передали сообщение о ней, и люди в Советском Союзе узнали: Хельсинкская группа начала работать.

Если попробовать в нескольких словах рассказать, как мы работали, то больше всего запомнилось: мы спешили. С самого начала, и чем дальше — тем больше. Все время было такое чувство, что каждую идею нужно осуществлять как можно скорее. Есть материал для документа — быстрее подготовить и тут же отдать. Не могу сказать, что было четкое ожидание арестов, но было такое чувство, что могут помешать, не дать сделать, — и нужно успеть.

Недостатка в темах для документов не было, так как нарушения прав человека в Советском Союзе — не единичные случаи, а закрепленная традицией норма поведения властей. После подписания Хельсинкских соглашений это не изменилось, но власти стали сильнее маневрировать и в то же время болезненней

реагировать на обвинения в нарушениях прав граждан.

В течение нескольких месяцев перед совещанием в Хельсинки шли аресты: были арестованы ведущие участники правозащитного движения Сергей Ковалев и Андрей Твердохлебов, редактор самиздатского русского патриотического журнала «Вече» Владимир Осипов, Мустафа Джемилев, еврей-отказники Лев Ройтбурт и Яков Винаров, участники национально-демократического движения в Эстонии Сергей Солдатов, Калью Мяттик, Мати Кийренд и Артем Юскевич.

Судебные процессы начались сразу после совещания в Хельсинки и имели характер едва прикрытых расправ. Это был и удар по движению, и акт устрашения сочувствующих ему, и разведка состояния западного общественного мнения после подписания Заключительного Акта. Советские власти приучали Запад к своему толкованию принципа невмешательства во внутренние дела, подчеркнутого в этом документе, как якобы исключаящего требовательность в выполнении принятых в этом же документе обязательств по правам граждан. Однако дискуссии на правительственных уровнях по гуманитарным проблемам в связи с Европейским совещанием и присуждение Нобелевской премии мира за 1975 год А. Д. Сахарову привлекли большее внимание к нарушениям прав человека в СССР, чем рассчитывали советские власти. Чтобы притушить остроту реакции на жестокие приговоры вскоре после подписания Хельсинкских соглашений, были сделаны единичные уступки, благо заблаговременно арестовали достаточно людей, чтобы было на ком демонстрировать «мягкость». Освободили писателя Михаила Нарицу, схваченного в ноябре 1975 г. и направленного было на психиатрическую экспертизу; одесского самиздатчика Вячеслава Игрунова, задолго до совещания в Хельсинки признанного невменяемым и «особо опасным», определили не в

спецбольницу, а в психбольницу общего типа; Андрею Твердохлебову был вынесен «хороший» приговор — не лагерь, а 5 лет ссылки; отпустили нескольких давних еврейских отказников (в том числе Виталия Рубина, одного из основателей Московской Хельсинкской группы, — на его место в Группу пришел отказник Владимир Слепак); не приводили в исполнение уже вынесенных судебных приговоров об отобрании детей у верующих родителей. Но продолжались аресты, психиатрические и другие репрессии по отношению к людям менее известным.

Примерно по той же схеме маневрировали власти и в эмиграционной политике. Разрешив выезд нескольким видным отказникам, они участили отказы вновь подающим документы, ссылаясь при этом на Хельсинкские соглашения! — мол, в Заключительном Акте речь идет о воссоединении семей, а по советскому Кодексу о браке и семье семьей считаются только супруги и их не состоящие в браке дети. Нарушая обязательства и в случаях, безусловных даже по этому толкованию, многим стали отказывать «из-за недостаточно близкого родства».

Бесчисленные факты нарушения гражданских прав были известны членам Группы по собственному опыту, от близких и друзей, благодаря «Хронике текущих событий» и вообще самиздату. Нам нетрудно было собрать материал для второго документа — «О нарушениях контактов в сфере международной почтовой и телефонной связи», т. е. о недоставленных письмах и телефонах, выключенных за использование их «в целях, противоречащих государственным интересам» (что устанавливалось подслушиванием разговоров, «вредность» которых определялась затем в КГБ). В документе сообщалось около полусотни фамилий диссидентов и отказников, утративших телефоны. Среди них были Ю. Ф. и несколько его близких друзей.

Был подготовлен документ №3 на тему, уже 10 лет поднимаемую правозащитниками, — «Об условиях содержания узников совести». К нему примыкал документ №6 — о положении политзаключенных после отбытия срока по приговору. Этот материал был хорошо знаком каждому из нас, некоторым же, как Гинзбургу, по собственному опыту.

В документе №4 «О разделенных семьях» в списке наиболее драматичных случаев разделения ближайших родственников фигурировали фамилии отказников — членов Московской Хельсинкской группы Анатолия Щаранского и Владимира Слепака с семьей.

Мы отнюдь не исчерпали тем, известных членам Группы по собственному опыту и от ближайшего окружения, когда стали появляться с жалобами незнакомые люди, узнавшие о существовании Московской Хельсинкской группы из передач зарубежных радиостанций (мы убедились, что их прилежно слушает население по всей стране). Между собой мы называли этих посетителей ходоками. Они приезжали в Москву, многие издалека, чтобы рассказать Ю. Ф. о своих горестях. Обычно они знали только его имя и фамилию, так как по радио адрес не сообщали, а в адресном бюро отвечали, что такой в Москве не проживает. Но многие находили все-таки на деревне дедушку Константина Макаровича!

Шофер с Северного Кавказа В. П., приехав в Москву, вышел на улицу Горького и стал спрашивать у прохожих (выбирая тех, кто поинтеллигентней на вид, например, в очках) адрес академика Сахарова или профессора Орлова. От него шарахались, но наконец кто-то из спрошенных поинтересовался: «А вам зачем?». В. П. рассказал, что отбыл три года в лагере за разговоры с пассажирами своего такси на политические темы. Прочитав в газете текст Заключительного Акта, он обратился в Верховный суд за реабилитацией — и получил отказ. Это, по его мнению, идет

вразрез со статьями Хельсинкских соглашений, поощряющими обмен идеями и информацией. Он решил эмигрировать из СССР в любую западную страну и нуждается в помощи и совете. Прохожий отвез В. П. к своему знакомому, и тот, тоже выслушав его историю, дал ему адрес Ю. Ф.

С такой же просьбой — о содействии эмиграции — обращались в Группу и другие рабочие. На основании их заявлений был составлен документ № 13 «Требования эмиграции по экономическим и политическим причинам со стороны рабочих».

Колоритный ходок прибыл из деревни Ильинка Воронежской области. Он появился около единственной в Москве синагоги — старик-крестьянин, каких уже не часто встретишь: длинная борода, одет в армяк, в руке посох. Старик рассказал, что жители Ильинки, сколько помнят себя и своих предков, сохраняют еврейский уклад жизни и религию. Фамилии у них русские, а имена — из Библии. Более 70 жителей Ильинки хотят уехать в Израиль, куда в 1974 г. переселилось несколько семей из этой деревни. Но власти не дают разрешения на выезд на том якобы основании, что не считают их евреями, а председатель колхоза откровенно объясняет, что никогда их не отпустит, потому что некому будет в колхозе работать. Он держит вызовы, присланные из Израиля, в своем столе, а без вызова, как известно, не принимают заявлений на выезд. Тем, кто изловчился получить вызовы через родственников, живущих в других местах, председатель не выдает требуемых ОВИРОм справок, а от председателя колхоза никуда не уйдешь: ведь у колхозников нет паспортов, они не могут выйти из колхоза и уехать из деревни. Старик спрашивал, кому ему лучше пожаловаться на эти безобразия. Ему посоветовали: в Хельсинкскую группу.

Рассказ старика отправились проверять Щаранский и Слепак. Поехали на машине, которую вел Саня

Липавский. Тот самый Липавский, за чьей подписью менее чем через пять месяцев после совместного путешествия появилось письмо в «Известиях», где он «кался», что он — агент ЦРУ, и заявлял, что Щаранский и Слепак тоже работают на ЦРУ. В 3 км от Ильинки машину остановил милицейский заслон (теперь то ясно, откуда стало известно о приезде москвичей), и в село их не пустили. Но местное начальство, которому полагалось сторожить приезжих: председатель сельсовета и начальник милиции — пропускать не пропускали, поскольку не велено, но от разговоров не отказывались. И в разговорах подтвердили всё, что рассказал ходок из Ильинки. В результате появился документ № 9, где излагались сведения об Ильинке и подводился итог: «На примере судьбы евреев Ильинки мы еще раз сталкиваемся с грубым нарушением советскими властями таких принципов Заключительного Акта совещания в Хельсинки, как воссоединение семей, свобода коммуникаций и контактов, уважение к правам национальных меньшинств».

Очень часто приезжали верующие разных толков. Баптисты привезли хорошо документированные материалы о случаях отобрания детей у родителей за воспитание в религиозном духе; пятидесятники — списки единоверцев, решивших покинуть Советский Союз, где третье поколение их подвергается жестоким преследованиям. Делегаты пятидесятников, приехавшие с Дальнего Востока, рассказали на пресс-конференции, стоя перед корреспондентами без башмаков (по их понятиям, нельзя входить в дом уважаемого человека в обуви): «Наших дедов расстреливали, наши отцы полжизни провели по лагерям, среди нас тоже много переживших узы, а наши дети, как и мы, лишены права на образование: их не принимают в институты, потому что они не скрывают, что верят в Бога, и мы знаем, что их ждет в будущем».

С какого-то момента материалы от ходоков стали преобладать в документах Группы. Популярность ее росла, и посещения учащались. Последние несколько месяцев перед арестом Ю. Ф. приемы стали его основным занятием. Пока он выслушивал ходока в задней комнате своей двухкомнатной квартиры, в передней комнате уже ждали другие. Ходоки являлись иногда в самые неурочные часы, и мало кто из них мог коротко изложить суть дела. Попутно они пересказывали биографии — свои и своих близких, просили совета по вопросам, не имеющим отношения к деятельности Группы, и сидели часами. Их рассказы требовали скрупулезного анализа, чтобы отделить эмоциональные наслоения и устранить неточности. Общение с «ходоками» создавало чрезвычайную физическую перегрузку, но мы радовались тому, что их становится все больше, — это свидетельствовало о нужности нашей работы.

Лишь в редких случаях вмешательство Группы помогало устранить допущенные властями беззакония. Группу составили советские граждане, такие же бесправные, как и обращавшиеся к нам ходоки. Они понимали это и не ждали от нас действенной помощи. Они ехали в Москву, движимые тем же чувством, что и правозащитники, заявляющие свои протесты: не надеясь на немедленное искоренение зла, но ради предания его гласности. Собственно говоря, каждое обращение в Хельсинкскую группу в советских условиях есть акт борьбы за гражданские права — свои или своих единомышленников. «Ходоки» — тоже правозащитники, отличие их от членов Группы лишь в том, что если мы добиваемся соблюдения всего спектра гражданских прав, то «ходоки» обычно настаивают на соблюдении какого-то одного особо важного для них права: свободы вероисповедания, права выбора места жительства внутри страны, права на эмиграцию и т. д. Эти требования стали стекаться в Московскую Хель-

синкскую группу и аккумулировались в ее документах. В них нашли отражение национальные проблемы украинцев, крымских татар, евреев, литовцев, месхов, немцев; значительная часть документов Группы посвящена преследованиям верующих — баптистов, пятидесятников, адвентистов, католиков; имеются документы о положении разных социальных слоев — рабочих, крестьян, ученых.

Взяв на себя роль регистратора и оформителя этих требований, Московская Хельсинкская группа оказалась рупором гражданских требований всех общественных движений, существующих в Советском Союзе, идеология которых хотя бы частично расходится с официальной. В деятельности Группы четко проявилась связующая роль, которую играет в советском обществе правозащитное движение.

Начало было положено «Хроникой текущих событий», которая более 10 лет публикует информацию обо всех независимых общественных движениях в СССР. Сборщики информации для «Хроники» были первыми ниточками, протянувшимися от этих общественных движений к правозащитникам. Инициативная группа и Комитет прав человека укрепили эти нити — туда тоже приезжали «ходоки». Деятельность Московской Хельсинкской группы продвинула консолидацию разнородных общественных движений на основе совместного отстаивания гражданских прав.

Среди приезжающих были не только жалобщики, но и последователи. Первым с идеей создания национальной Хельсинкской группы появился Микола Руденко из Киева, и почти сразу вслед за ним — литовцы Викторас Пяткус и Томас Венцлова, а меньше, чем за месяц до ареста Ю. Ф., — посланец из Грузии. С этими посетителями Ю. Ф. тоже сидел подолгу: создать Хельсинкскую группу в национальной республике труднее, чем в Москве, потому что «выхода на Запад» оттуда практически нет, власти там бесконтрольней и, следо-

вательно, свирепей. Приходил к Ю. Ф. и москвич о. Глеб Якунин с просьбой помочь в создании Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР. Комитет этот задумали создать православные, но имели в виду защищать интересы верующих всех христианских церквей и других религий. Оказалось, что непосредственных связей с другими церквями у них не было, нужно было установить их через Хельсинкскую группу.

Начиная с ноября 1976 г. Московская Хельсинкская группа представила на своих пресс-конференциях одну за другой новые правозащитные ассоциации: Украинскую, Литовскую и Грузинскую Хельсинкские группы и Христианский комитет. (Уже после ареста Ю. Ф. возникла еще одна национальная Хельсинкская группа — Армянская.) Конечно, и сейчас число независимых ассоциаций невелико, в них входит всего несколько десятков человек, но значимость этих объединений несоизмерима с их числом и численностью их участников. В них стекается информация о нарушениях прав человека со всей страны, и отсюда — через самиздат и зарубежные радиостанции, работающие на СССР, распространяется по стране, формируя правосознание и гражданское мышление существенной части всех слоев нашего общества.

Московскую Хельсинкскую группу заметили и на Западе. Зарубежные радиостанции, вещающие на Советский Союз, стали постоянно передавать сообщения о ее деятельности. Частыми посетителями Ю. Ф. были иностранные корреспонденты и представители различных общественных организаций, приезжавшие в СССР как туристы или с официальными визитами. Несмотря на препятствия в переписке, чинимые властями, Группа получала приветственные и деловые письма из-за границы, среди них — от председателя Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе

США Д. Фассела, председателя Норвежского стортинга, от лидеров Либеральной партии Англии и другие.

Из суетолки бесед с «ходоками», с членами своей и национальных Хельсинкских групп, подготовки документов и проведения пресс-конференций вырывался Ю. Ф., чтобы давать уроки (ученики приходили к нему домой), и ради научного семинара, тоже проводившегося у него дома. Любимые им и его женой лыжные прогулки стали редкой роскошью, заниматься наукой и готовить документы Группы приходилось по ночам — днем не хватало времени. В этой суматошной и переполненной делами и заботами жизни назойливым фоном, привычной нелепостью была кагебистская слежка.

«Хвост» за диссидентом — явление нередкое, почти все мы время от времени замечали его за собой, и Ю. Ф. тоже. Но с момента объявления Хельсинкской группы слежка за ним стала тотальной. Квартиры Орловых, Турчиных и Гинзбургов, друживших семьями, помещались в соседних кварталах. Телефоны были отключены во всех трех квартирах, и их обитатели, а также посетители — и друзья, и пришедшие по делу — постоянно перебегали из дома в дом. С мая 1976 г. этот микрорайон Беляева-Богородского оказался в круглосуточной осаде. Машины, набитые кагебистами, стояли так, чтобы следить за подъездами и окнами, увязывались за выходявшими из «криминальных» квартир. Кроме того, несколько машин медленно курсировали вокруг осажденного участка навстречу друг другу. «Можно подумать, что для государства нет большей опасности, чем общественное содействие выполнению Хельсинкских соглашений», — писал по этому поводу Ю. Ф. Это звучит парадоксально, но именно так — я бы сказала, панически — восприняли власти нашу деятельность. Упор на гуманитарные статьи Заключительного Акта они рассматривали как угрозу своим прерогативам. Выполнение

гуманитарных статей этого документа должно было вылиться лишь в усиление пропагандистского звона о «советской демократии как демократии высшего типа» и, возможно, в несколько «гуманных» жестов в сторону Запада — скажем, отпустили бы кого-нибудь из зашедшихся отказников, на такие случаи и припасаемых. И вдруг некий Орлов создает Хельсинкскую группу! А Конгресс США в то же время Хельсинкскую комиссию! А дальше — больше: Хельсинкские группы в национальных республиках! Христианский комитет! А в Польше — Комитет защиты рабочих! А в Чехословакии — Хартия-77! А на президентских выборах в США побеждает Картер, который клянется положить в основу своей внешней политики права человека! И закрадывается беспокойная мысль: а вдруг и в самом деле западные партнеры всерьез потребуют выполнения гуманитарных статей? А срок Белградской конференции все ближе... И Советский Союз стал загодя готовиться к ней. Важнейшая роль в этой подготовке возлагалась на КГБ — следовало парализовать народившееся хельсинкское движение.

(Окончание в следующем номере)

АЛЕКСЕЕВА Людмила Михайловна — историк, окончила Московский университет в 1950 г., год работала учителем, а затем до 1968 года — редактором в издательстве Академии наук СССР. С середины 60-х годов становится одним из активных участников практической работы самиздата, в числе первых налаживает постоянную связь с политлагерями, помощь заключенным и их семьям. В 1968 г. исключена из партии и уволена с работы за участие в кампании протеста против суда над Галансковым и Гинзбургом. Позднее работала редактором в Институте научной информации по общественным наукам. Все эти годы, вплоть до эмиграции, не только постоянно протестовала против всех несправедливостей, но и была одним из самых эффективных организаторов и исполнителей самой разнообразной черновой работы. Член Московской Группы-Хельсинки с момента ее основания, с марта 1977 — ее зарубежный представитель. Живет в США.

ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

В последнее время как в эмигрантской печати, так и в печати западных стран появился ряд сообщений о новом самиздатовском журнале «Поиски»*. Почти единогласно разные источники приписывают новому журналу позицию «еврокоммунизма». Чего греха таить, любовь навешивать ярлыки на всех и на вся — самая примечательная примета нашей эпохи. Мы до того привыкли к привычным ярлыкам, что просто не можем без них, и если наталкиваемся на какую-то точку зрения, которая старается не навешивать на себя ярлычок сама, то мы вешаем его без разрешения и согласия. И нам нет досуга разобраться, что проштемпелеванная нами мысль кричит, что ничего общего не имеет с ярлычком, — мы просто вырвали из контекста знакомый штамп, даже не заметив, что он был иллюстрацией мысли, противоположной той, которую отстаивал говоривший.

Так в некотором смысле произошло и с «Поисками». Авторы и редакторы высказывают в журнале весьма противоречивые точки зрения, некоторые из них обозначают себя ярлычками, некоторые избегают этого. Но ведь позиция журнала выражена в редакционном «приглашении», которое предваряет первый номер журнала. И я просто не могу удержаться от

* Журнал «Поиски» готовится в настоящее время к печати нью-йоркским издательством «Детинец». Ориентировочная цена отдельного номера — 10 долларов. Предварительные заказы можно направлять по адресу издательства с приложением чека или банковского перевода на 10 долларов. После выхода из печати цена будет ориентировочно 12 долларов. Адрес издательства: Detinetz Publishing Corp. c/o Andrew P. Grigorenko, 43-30 48 St # DI, L.I.C., New York, N.Y. 11104, USA.

того, чтобы воспроизвести эту редакционную декларацию полностью:

ПРИГЛАШЕНИЕ

Нашему замыслу соответствовало бы слишком длинное название журнала — ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезая замысел, мы сократили лишь название и к участию в наших «ПОИСКАХ» приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложнее этого: полного понимания, которого нельзя достичь, к которому не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур общо. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, «исчерпывающие» ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам, жизненно важным для многих, если не для всех, — эта потребность, далеко не всегда и не всеми признаваясь, сегодня не покажется и новинкой. Призыв к взаимопониманию — либо общее место, либо он нуждается в разъяснении.

И тем не менее мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам — в Советском Союзе, — вероятно, это ощутимее, чем где-либо. Мы пережили с 1953 года целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое и не нам одним. Но теперь виднее, что оно, переломившись в 1968-м, пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные наши тупики, вложив персты в наши язвы — кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми — было бы только желание, умение и «соответствующие люди на соответствующих местах»... Но идет время, и все ошутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности — самая

неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспропорциями и напастями, как и отсутствие «соответствующих», и беспомощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого бока за них приниматься, не накликав беды хуже нынешней. Тупики наши оттого и мысленные и нравственные — разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражимей. И вряд ли потому, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее наоборот: ожесточенность, вражда — от застревания на чем-то первоначально-отрицающем. Но даже и тут, в этом необходимо-критическом, клеймящем смысле мы оказались неспособны пробиться вглубь, к «причинам причин», дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, и до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое простое и труднее всего выносимое.

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем любой народ, притязающий на то, чтобы собою одним — своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья — определить всесветное будущее. Эта истина не так проста — и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она отнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость — превосходные качества. Право оставаться собой — великое право, становящееся новой международной нормой: суверенитетом Мира, «Мира миров», где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам Мира в целом. Д в а п р а в а — нераздельных и вместе с тем все труднее совмещающихся.

Мир миров, стремящийся стать человечеством, — вправе ли мы попустить, чтобы «правом оставаться собой» распоряжалось многоликое насилие, всякое принуждение к единомыслию, любой владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы самые общие основания к тому, чтобы сделать п о и с к и в з а и м о п о н и м а н и я исходной позицией для совместной работы. «Только» поиски — оттого, что на пути к согласной встрече несходного, разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента

и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе **п о и с к о в**.

И теперь, когда мы прочли «приглашение», давайте полистаем эти пятьсот пятьдесят самиздатовских страниц, страниц сегодняшних московских (именно *московских*, ибо подзаголовок журнала гласит: Свободный московский журнал) «поисков».

Журнал открывается посвящением «ЮРИЮ ФЕДОРОВИЧУ ОРЛОВУ, в дни суда над которым завершалась работа над первым номером нашего журнала». Просматривая оглавление, мы находим, что в журнале собраны как общественно-политические статьи, так и литературные произведения, письма из-за колючей проволоки, рецензии, дискуссионные заметки, хроника сопротивления, переводы. Среди авторов мы увидим и «еврокоммуниста» Каррильо, и «нового философа» Леви, и письмо Анатолия Марченко к американским рабочим, и письмо в защиту Александра Подрабиника, и не пропущенную советской цензурой главу из романа Фазиля Искандера.

Средства массовой информации на Западе сообщали неоднократно о преследовании издателей-распространителей «Поисков». Среди членов редколлегии журнала мы находим и фамилию Раисы Лерт, которая несмотря на свои 73 года ведет неустанную борьбу за осознание недавнего исторического прошлого нашей страны. Бесстрашная женщина называет себя сторонницей демократического социализма, но это отнюдь не означает, что она разделяет взгляды Роя Медведева на сущность советского строя. Вот что она, в частности, пишет в своей статье в первом номере «Поисков» по поводу пресловутого «невмешательства во внутренние дела»: «Но идейного «вмешательства» в дела другой страны не может быть по самому существу этого явления, *по определению*, как говорят ученые.

Никакое международное право не запрещает гражданину одной страны выражать свое *мнение* по поводу дел в другой стране». И еще: «...единственная надежда нашей страны — надежда на достижение свободы высказывания различных, в том числе и противоположных, взглядов».

Вообще братьев Медведевых «Поиски» не очень жалуют. Другой член редколлегии Петр Егидес-Абовин обращается к Рою Медведеву с открытым письмом. Я приведу только одну небольшую цитату из этого письма: «Конечно, молчаливая уния между диссидентом Роем Медведевым и нашими властями сложилась стихийно, спонтанно. Уверен, что никаких договоров, ни гласных, ни тайных, Вы с ними не заключали, никаких обязательств им не давали. Само собой получилось: Вы смягчили свою критику режима и нацелили ее на диссидентов — они оставили Вас в покое и дали Вам возможность «посвящать все свое время историческим трудам». Тот паштет, который представляют Ваши статьи и интервью (20% критики режима и 80% критики диссидентов и зарубежных государственных деятелей — полрябчика и поллошади), пришелся им по вкусу». И несколькими строками выше: «...обвинения против диссидентов, *исходящие от диссидента*, выдержанные в тоне объективной снисходительности и сдобренные некоторой дозой критики против властей, звучат — и для западного мира, и для некоторой части нашей интеллигенции — «более убедительно», чем грубые и глупые выпады официальной прессы». Однако, несмотря на резкость критики, автор письма остается на высоте призыва к покаянию и, видимо, не теряет надежды на то, что братья Медведевы еще могли бы вернуть «свои способности демократическому движению».

Но, разумеется, редакторы не ограничились только полемикой. В общественно-политическом разделе авторы пытаются анализировать недавнее прошлое

России, что совершенно понятно, ибо как же думать о будущем, если не проанализировать прошлое. А кому-кому, как не нам, знать, что наше прошлое — не просто тайна за семью замками, а картинка, обработанная министерством почище орвеловского министерства правды. Потому-то и назван этот раздел *terra incognita* — Земля Неизведанная. И, вступая в эту «неизведанную землю», редакторы и авторы заявляют: «Стремясь к переоценке ценностей, мы не собираемся просто отрицать ради отрицания, из голого «духа противоречия». Но мы и на веру НИЧЕГО брать не хотим». Строя свой журнал, редакторы как бы увлекают читателей за собой, не выдавая готовых ответов. Ибо: «Ответы, школьная зараза века! В книгах и в КГБ, даже в нынешней лирике учат не сомневаться, а «правильно отвечать». Мысли-вопросы мрут как мухи, выпадают как волосы. И лишь Ответы, почему-то они одни, остаются в золе от горящих рукописей. Проще с диктаторами: размножаясь подобно всем смертным, наконец и те умирают на даче или в своей постели. Ответы — бессмертны, и размножаются как одноклеточные». Да, за Ответами этот журнал раскрывать не стоит — их в журнале нет. Нельзя, конечно, сказать, что *отдельная статья* не пытается дать ответ, но уже через десяток страниц этот Ответ исчезает, а остается Сомнение, великий Поиск. Сомнение, переливающееся из политической полемики на чисто литературные страницы, садится за стол вместе с искандеровским дядей Сандро и дергает за бороду сталинского «всероссийского козла» Калинина. То же сомнение осеняет и блестящие перевертни Владимира Гершуни и отправляется вместе с Т. Палеховой на 21-й слет Клуба Самодеятельной Песни. Это гордое и грустное Сомнение звучит в строках молодого поэта Александра Седова:

В диком мраке ночей, в гнусной серости дней нету
дела важней,
Чем толпою брести в круге (кольца-пути), все быстрее
и быстрее!

Те, кто создан для этого, нас обгоняя, кричат:

«Догони! Догони!» —

Но никто никогда никого не догонит! Секунды и дни,
Эры, годы, эпохи, периоды полу- и полных распадов...
А зачем это все? — Мне ответят: «Так надо!»

А может, не надо?

И, идя через сомнения и поиск, журнал заставляет нас помнить о тех, кто прошел до нас, о тех, кто сложил голову за осознание бытия и за право сомневаться. Память — это еще один из многочисленных аспектов журнала. Память даже в озорстве перевертней:

Умыло Колыму
алым. Омыла
Воркуту кровь.

Журнал зовет нас помнить. И вот уже кричит нам в лицо слово терзаемых в большевистском застенке делегатов Рабочего Съезда, арестованных во время заседания этого съезда 23 июля 1918 года: «Но правительство коммунистовъ, какъ и царскіе его предшественники, не терпятъ никакихъ проявленій независимого рабочаго движенія, ибо въ немъ ему чудится близкая гибель своей власти, въ немъ она видитъ отраженіе продовольственнаго кризиса, и неспособное справиться со своими государственными задачами обрушивается на вождей рабочей общественности. На рабочія организаціи направляются неслыханныя репресіи».

И как бы перебрасывая мост через время, из глубины нашей истории звучат строки графини Ростопчиной:

Соотчичи мои, заступники свободы, —
О вы, изгнанники за правду и закон, —
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен.
Удел ваш — не позор, но — слава, уваженье,
Благословение правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одобренье,
И благодарный храм от будущих славян!

И, листая эти потертые листки Памяти, Поиска и Надежды, понимаешь, что не за мифический «еврокоммунизм» обрушилась на создателей машина тоталитарного аппарата удушения Духа, но за Слово. Как сам журнал устами украинского писателя Миколы Руденко говорит:

«Сегодня перед судом стоит Слово. Припоминаете? В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все из Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

Так начинается Евангелие от Иоанна...

Как бы мы ни опровергали идеализм, а всё же остается истиной: человек появился тогда, когда на Земном шаре появилось Слово. Нет Слова — нет человека».

Пожалуй, и можно было бы закончить разговор о свободном московском журнале словами Миколы Руденко — служителя и мученика Слова, уже поднимающегося на свою Голгофу, но еще раз хотелось бы напомнить, что пилаты от КГБ уже готовят гвозди и кресты для издателей и авторов «Поисков». Сегодня от каждого из нас требуется поддержка — и, в первую очередь, словом — тех, кто пытается найти путь из тупика, в который забрела наша Родина. Тупика, в который с такой целеустремленностью рвется и остальное Человечество, одержимое чумой «правильных Ответов» и «единственно верных истин». И когда мы в очередной раз «вцепимся в новый Ответ», то дай нам

Бог услышать трезвый призыв журнала к Сомнению. «Ведь в трещине сомнений угадывается разлом мировой перспективы, а дальше — нету дорог. Даже готовясь истребить себя вдрызг, человек не может сказать — «лучше ли Земле без человека?» — и здесь конец мышлению Ответами, ведущими в безумие. Одержимость Ответами — это фанатизм, душевное нездоровье. Одержимость вопросами к самому себе — сомнение — есть Д У Х».

ГРИГОРЕНКО Андрей Петрович — родился в 1945 г. в Москве. В 1963-64 гг., учась в Московском энергетическом институте, был членом созданной его отцом, П. Г. Григоренко, нелегальной организации «Союз борьбы за возрождение ленинизма», за что был исключен из института и из комсомола. В 1971 г. закончил Московский инженерно-строительный институт. Начиная с участия в демонстрации 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве, принимал активное участие в Движении за права человека в СССР, в особенности в защите прав крымских татар. Эмигрировал из СССР в 1975 г. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Восточноевропейский диалог

Антанас Терляцкас

ЕЩЕ РАЗ О ЕВРЕЯХ И ЛИТОВЦАХ

Во время немецкой оккупации Литвы произошла страшная трагедия — около 200 тыс. евреев было убито. По сей день жжет, не дает покоя вопрос — кто виноват? Почему литовцы, столетиями отличающиеся религиозной и национальной терпимостью, в середине XX века подняли руку на беззащитных людей?

И я тоже давно старался найти ответ. Никто в моем родном Кривасалисе не стрелял в евреев, никто из близких не запятнан невинной кровью. И, тем не менее, многие годы ношу в себе неистребимое чувство вины.

Как-то говорил об ответственности литовского народа за истребление евреев с Томасом Венцловой. Помнится, наши мнения совпали. Отклик Томаса на нечеловеческую эту драму опубликован в журнале «Евреи в СССР». Это талантливый, умный, одухотворенный глубоким и совестливым чувством документ. Трудно было представить себе, что он может оскорбить хотя бы одного литовца (за исключением, разумеется, тех, кто стрелял).

К стыду нашему, подпольная «Аушра» отпечата-ла скрытый под псевдонимом Жувинтас «отпор» Т. Венцлове. Саму критическую статью «Аушра» не нашла нужным представить на суд читателей. Анти-семитская статья Жувинтаса перепечатана эмигрантскими «Акирачай». Боюсь, как бы начавшаяся полемика не обернулась оправданием убийц.

«Как понять то, что было? Когда речь идет о смерти и непоправимой вине, всегда можно привести множество рациональных и детерминистских объяснений, но в конечном счете они ничего не стоят. Это знал еще Эдип, еще лучше это знает христианство (...) Зло всегда остается злом, убийство — убийством и вина — виной. Ничто на свете не изменит факта, что в конце июня 1941 года литовцы на глазах у литовской толпы уничтожали беззащитных людей — даже тот факт, что в двадцатом веке многие, чуть ли не все народы, творили нечто подобное. И я, литовец, обязан говорить о вине литовцев. Садизм и грабежи, презрение и позорное равнодушие к людям не могут быть оправданы, хуже того — они не могут быть объяснены, они живут в столь темных углах личного и народного сознания, что искать их рациональные причины — бесплодное занятие (...) Раскаяние — сложное дело. Это никак не сведение счетов с убийцами, кому бы они ни служили. Это не раздиране одежд — раскаиваются внутренне. Но мы должны говорить обо всем происшедшем, не выгораживая себя, без внутренней цензуры, без пропагандистских искажений, без национальных комплексов, без страха. Мы должны навсегда понять, что уничтожение евреев — это уничтожение нас самих (...)»

Так писал Т. Венцлова. А как насчет вины за уничтожение евреев в Литве у Жувинтаса? Очень просто — сами евреи виноваты! Легко показать, какова цена его аргументов.

1. Евреи в июне 40-го года встречали Красную армию с цветами. Этим они выказали литовскому народу вопиющую неблагодарность, за что и были наказаны спустя год. Конечно, уничтожать евреев не следовало бы, но надо попытаться понять и погромщиков, которые лишь слегка погорячились...

Царская Россия была тюрьмой народов, в которой евреев особенно преследовали. И евреи привет-

ствовали создание независимой Литовской республики, так как надеялись, что ее создание будет способствовать национальному и религиозному развитию еврейского народа. Уже 5 декабря 1918 г. один из сионистских лидеров бывшей Российской империи С. Розенбаум посетил премьер-министра А. Волдемараса и предложил сотрудничество и помощь (П. Аксамитас, П. Фрейдхеймас. Иудаизм и сионизм. Вильнюс, 1974, стр. 120). Премьер-министр, со своей стороны, обещал евреям культурную автономию.

Вряд ли где в мире в то время евреи имели такие условия для развития национальной культуры. Вот несколько примеров. В 1923 г., согласно переписи, в Литве было 7,7% евреев (литовцев 83,9%). В 1938 г. в Литве действовало 60 полных гимназий, из них литовских — 41, еврейских — 14, польских — 3, русская и немецкая. 93% еврейских детей учились в национальных школах, где преподавание велось в основном на иврите. В весеннем семестре 1932 г. в Каунасском университете студенты-евреи составляли 26,2% (литовцы — 67,4%). Это соотношение оставалось неизменным во все время существования независимой Литвы. В университете действовали кафедры иврита и идиш. Евреи имели две раввинские академии — в Тельшясе и Вилиямполе.

Эту широкую культурную автономию евреи стоицей оплатили — своей кровью в борьбе за независимость Литвы (см. списки убитых добровольцев в книге «Добровольческое движение» под ред. П. Русяцкаса, т. 1, Каунас, 1937, стр. 321-349).

Справедливости ради следует, однако, напомнить, что евреи не были уравнены в правах с литовцами. К примеру, они не могли владеть землей, их не принимали на офицерскую службу в армии. До 1926 г. евреи принимали участие в государственном управлении. Вильнюсская сионистская конференция делегировала в первое литовское правительство И. Выгодского, кото-

рый занял пост министра по делам евреев. В Литовский государственный совет входили Розенбаум, Рахмилович, Фолькевич и другие. Первый сразу занял пост заместителя министра промышленности и торговли. После переворота (прихода к власти Сметоны) евреи были отстранены от государственного управления. Этим воспользовалась сталинская пропаганда, пообещав евреям уничтожение всех правовых ограничений. И, так как евреи знали Сталина только по распространяемым в Литве «Известиям», они верили ему.

Была и другая — на мой взгляд, главная — причина лояльного отношения евреев к советской власти. В 1939 г. Гитлер приказал немцам Латвии и Эстонии вернуться на родину. Литвы эта реэмиграция не коснулась. Лишь наивные властители не понимали тайного смысла договора между Сталиным и Гитлером. Во всем мире только и было речи, что Литва скоро будет оккупирована немецкими войсками. Для литовских евреев это означало гетто, концлагеря, смерть. Вместо немцев дождавшись русских, само собой разумеется, евреи ликовали, ибо для них это означало — жизнь!

Почему они не думали о нашем народе? Когда в июне 41-го восторженно встречали немецкую армию, много ли мы думали о евреях? Жалуемся, что мир не может понять, почему оккупантов встречали с цветами. Почему же мы не понимаем евреев, которые имели аналогичные, если не более веские, причины радоваться приходу Красной армии?

2. Среди энкаведистов было много евреев, а в их числе изоциренные садисты. Жувинтас упоминает вырожда Розовского.

Список евреев — сотрудников НКВД можно продолжить. Но выделялись ли чем-нибудь евреи на фоне таких, например, литовцев, как Мартавичус, Петрикас, Тринкунас, Гузявичус, Баранаускас, Баронас? Тип еврея-садиста черными красками рисовала оккупацион-

ная пресса, разжигая антисемитские страсти. Однако и сегодня, оказывается, им пугают народ.

Часто можно слышать упрек, что, когда в июле 40-го года, накануне выборов в так называемый народный сейм, были произведены аресты, в них участвовали одни евреи (и лишь один литовец). Это избитая и проверенная тактика: гестапо арестовывает поляков — в акции обязательно участвует хотя бы один литовец, а при аресте литовцев обязательно участие поляка... Юдофобы Берии и Сталина пользовались той же тактикой.

3. Евреи составляли большинство в рядах ЛКП.

Жувинтасу на руку, что до сих пор не опубликован национальный состав ЛКП в период между войнами. Это, скорее всего, объясняется тем, что подпольные организации сознательно раздували свой личный состав. Попробуем использовать косвенные данные.

19 октября 1933 г. Снечкус и другие, всего 24 литовских коммуниста, были обменены на арестованных в России литовских священников (среди них был епископ Т. Матулёнис). В числе 24-х было 14 литовцев, т. е. более половины. По данным литовской госбезопасности, накануне второй мировой войны в ЛКП было всего 600-650 членов. Допустим, что евреев среди них было около 300, и пусть даже, как кое-кто считает, все они совершили преступление против Литвы. Но в чем виноваты те 200 тысяч убиенных? Как-то несерьезно даже пояснять, что в 1940 г. советскую власть поддерживали не одни евреи. В так называемом народном правительстве был только один еврей — министр здравоохранения Л. Коганас.

Гитлеровская пропаганда изрядно потрудилась, чтобы убедить часть литовцев, что каждый еврей — коммунист, а коммунист — еврей. В действительности большинство евреев было либо глубоко верующими, сионистами, либо индифферентными к религии и политике. О сионистском движении пишут Аксамитас и

Фрейдхаймас: «Литовское сионистское движение составляло один из крупнейших (по отношению к еврейскому населению) отрядов мирового сионистского движения (...) Молодежи с детского возраста прививались сионистские взгляды» (упом. соч., стр. 127-128).

Такова цена «аргументов» Жувинтаса. Но он не использовал всего арсенала антисемитских обвинений против евреев. Приведем кое-какие, часто повторяемые.

1. Евреи всегда помогали противникам Литвы.

В 1794 г. во время восстания Т. Костюшки крестингцу Берку Юзелевичу было поручено создать еврейский полк. Защищая Варшаву от суворовских оккупационных войск, весь полк погиб (М. Биржишка, «Лиетувес сукилимас» (Восстание Литвы). Вильнюс, 1919, стр. 11). Об участии евреев в восстании 1831 г. сведений не имеем. 1863 г. — немало евреев погибло в рядах восставших. 14 апреля 1864 г. Лейба Липман был повешен русскими в Сувалкай (А. Янулайтис. Евреи в Литве, Каунас, 1923, стр. 168). Другой еврей, старьевщик А. Бенц, помог совершить побег руководителю восставших Артуру Гросу (см. В. Лаурайтис. Живые в воспоминаниях народа, «Аушра», 1978, №1, стр. 25). Достоинство уважения и доброй памяти поведение евреев и в годы революции 1905 г. (см. П. Ликмантас. Воспоминания пунского жителя, «Вингис», 1973, апрель, стр. 10). Точно так же не были безразличны евреи и к страданиям литовского народа во время первой мировой войны (см. Литва в Великой войне. Под ред. П. Русецкаса, Вильнюс, 1939 г., стр. 125). Как мы уже видели, евреи сражались за независимость Литвы. Поэтому в 1933 г. был создан Союз литовских евреев — участников освобождения Литвы (большинство членов союза было расстреляно в 1941-44 гг.).

2. Евреи, преследуя свои национальные интересы, отличаются кастовой замкнутостью, в любых си-

туациях евреи поддерживают евреев. Это не порок, а преимущество, которым мы, литовцы, увы, не обладаем. Недаром говорят: два литовца — три партии.

Евреев всюду и во все времена преследовали: законы часто не только не защищали евреев, но были направлены против них. Стоит ли удивляться, что даже в лучшие времена евреи не доверяли законам и не считали их до конца своими? Они признавали над собой лишь власть духовного Закона — иудаизма. Преданность своим установлениям — одна из основных причин обособленности евреев. Они могли отстаивать свое право на существование, лишь укрепляя национальную солидарность.

3. Евреи превалировали в торговле, извлекая барыши за счет литовцев.

На торговле разбогатела лишь горсточка евреев. Большинство нищенствовало. Крестьяне-литовцы и евреи всегда жили в мире. Если бы литовцы действительно ощущали гнет евреев-торговцев, такие отношения были бы невозможны.

...В трудные дни мой отец всегда обращался за помощью к лабанорскому еврею Черному, и я не слышал, чтобы деньги ссужались в рост. Таурагнайские евреи Мятинис и Корка, как только заворачивали в наш Кривасалис, отпускали свою лошаденку, и она сама плелась от хаты к хате. Пока они ходили по домам, скупая щетину и тряпье, кривасальцы сами забирали с лошади приглянувшийся товар и относили к себе. Рассчитывались вечером. Никогда не возникало конфликтов из-за расчета или неуплаченного долга...

Похожие отношения были повсюду в литовской деревне. Упомянутый уже пунский житель рассказывает, как литовцы и евреи «один другого хорошо узнали и один другому буквально были необходимы... Литовцы и евреи жили мирно, помогая друг другу и выручая в трудные минуты».

Трудно вообразить меру страданий евреев гетто, ежедневно ожидающих всё новых и новых «акций». Даже для воображения страшна, непереносима картина, как ведут их к месту расстрела, как детишки постарше цепляются за материнские юбки, матери прижимают к груди младенцев. А двуногое зверье вырывает их — их малышей! — наотмашь бьёт лопатами по головкам.

Разве можно всё это забыть, простить, оправдать? Искать «объективных» аргументов для убийц может только человек, глухой к несчастьям и страданиям беззащитных людей, человек, для которого нет ничего святого!

Антисемит — жалкий подлец, гнусное и трусливое ничтожество, осмеливающееся поднять руку только на слабого. Но он еще и марионетка, которую сильные мира сего, желающие остаться «чистенькими», используют для наиболее грязных своих дел. Те, у которых поднялась рука на евреев, с той же легкостью убивали и своих земляков. Лунюс из Линкменис, расстреливавший евреев, вступил в немецкую армию. Когда его работодатели проиграли войну, примазался к русским партизанам. В 1944 г. пришел в ведомство Берии. Говорят, там он дослужился до звания майора. Только в 1958 г. Лунюс был схвачен и расстрелян. Подобная биография не у одного убийцы евреев.

Каждый народ имеет своих каинов и своих заблудших овец. Но нет и не может быть такого суда в мире, который осмелился бы судить целый народ, и евреи не нуждаются в моей защитительной речи. Не евреи стреляли в литовцев, а наоборот — на скамье подсудимых поколение литовского народа пятого десятилетия XX века. Убийство литовских евреев — это трагедия и литовского народа.

Евреи — великий народ. Западная цивилизация обязана им всеми величайшими открытиями в области духа и моральной культуры. Народ без истории — не народ. Дух без истории — не дух. А духовная история — иудейская Библия. Древние евреи создали высочайшую культуру, движимую социально-этическим идеалом и соединяющую монотеизм с целой системой нравственности. Не культ, а мораль является средоточием религии — эта идея, провозглашенная за 8 веков до рождения Христова, открыла человечеству пути к новому мироощущению.

«...и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову» (Исаия, 1, 15-17). Более 26 веков тому назад прозвучал этот призыв к правде и справедливости одного из величайших еврейских пророков, а он и поныне так же жизненно важен, как и в те далекие времена.

Еврейский народ велик и своей жизнестойкостью. Где сегодня все древние народы, жившие в дружбе или вражде с евреями? Их давно нет, только памятники культуры на их могилах. Тысячелетняя история евреев как бы говорит, что нации, которые силой оружия порабащают своих ближних и дальних соседей, с течением времени погибают сами — их проглатывают новые, еще более могущественные хищники. Умирают государства, умирают и народы, которые свою мощь отождествляют с силой и крепостью государства. Евреи свою силу видели в мощи народного религиозного духа, вот почему они выжили в веках и, в конце концов, обрели свой Иерусалим. Евреи достойны более чем уважения — преклонения — за их любовь к свободе. Борьба евреев за землю предков, за независимость Израиля — пример для всех народов мира.

Литовцы не хуже и не лучше других народов. Только горстка литовцев — юдофобы. Об этом свидетельствуют воспоминания самих евреев: «Осенью 41 года все евреи из близлежащих местечек были согнаны в большое гетто в Пасвалисе. Гетто собирались ликвидировать, но к установленному сроку не нашлось желающих стрелять» («И без оружия воюют». Составитель С. Бинкене, Вильнюс, стр. 271). Е. Якобсонайте вспоминает: «Десятерых обошли, и все нас укрывали, кормили. Они спасли нас от смерти, сами подвергаясь смертельной опасности. Спасаясь от фашистского зверя, обошла множество мест — Шауляй, Шилуте, Каунас, Алитус, Трошкунай. И везде, куда шла, где побывала, меня сопровождали сердечной заботой простые литовские рабочие и крестьяне. Они делали всё, чтобы выжила» (там же, стр. 107).

Выходит, что литовский народ не в чем обвинить? Вновь обращаюсь к Т. Венцлове: «Некоторые скажут: «Что же, евреев убивали не литовцы, а подонки (...), к литовскому народу они не имеют отношения». Я и сам подобное говаривал. Но это неверно. Если считать народ огромной личностью, — а непосредственное ощущение говорит, что эта персоналистская точка зрения единственно ценна и справедлива в мире моральном, — то к этой личности причастны все в народе — и праведники, и преступники. Каждый совершенный грех отягчает совесть всего народа и совесть каждого в нем».

Летом 1941 г. в Дегутском лесу были расстреляны евреи окрестных волостей. Тогда-то священник Салакского костела Пятрас Раудуве произнес проповедь. Страшным обвинением убийцам прозвучали его слова: «Кто ответит за невинно пролитую кровь человеческую? Самое ужасное, что среди убийц были и литовцы, католики. Они призывают на весь наш народ гнев Божий». Все в костеле плакали...

Среди литовской священнической интеллигенции были и героические защитники евреев. Один только Повилас Якас руководил миссией спасения сотен евреев. Но немало священников не последовало истинно христианскому примеру своего брата во Христе П. Раудуве. Их взоры были обращены к Ватикану, к папе. А папа молчал... Молчим и мы! Не читал пьесы П. Когоута* «Наместник», но ее идею знаю. Молчание Пия XII стоило великого множества жизней и навлекло на Ватикан несмываемый позор. В 1975 г. в Литве распространялся меморандум 17-ти интеллигентов. В нем писалось о том, как в 1948 г. один священник написал папе письмо от верующих Литвы и как литовские партизаны совершили попытку пробраться с этим письмом на Запад. Попытка стоила девяти партизанских жизней, однако двум все-таки удалось увидеть Рим. Рим, но не папу... Папа отказался принять письмо литовских верующих, ибо боялся Сталина. Из этого факта я сделал вывод, что равнодушие к иудеям порождает такое же равнодушие и к судьбам миллионов христиан...

* *

Мы призваны решить проблему восстановления союза и доверия между евреями и литовцами. Как говорят сами евреи, их положение в Литве много лучше, чем в других республиках. Однако многое еще надо сделать. И, прежде всего, постичь масштабы трагедии и степень вины поколения 40-х годов. Затем, отбросив предубеждения, ближе понять еврейский народ, его культуру, традиции. Только так достигается сосуществование, взаимопонимание, сотрудничество.

Французские епископы в своем обращении 1973 г. писали: «Антисемитизм — наследие языческого мира,

* Автор ошибочно приписывает Павлу Когоуту пьесу швейцарского драматурга Рольфа Хоххута. — Прим. ред.

но в христианском климате он укрепился благодаря псевдотеологическим аргументам. Евреи достойны нашего внимания и нашего уважения, иногда нашего преклонения, временами нашей дружеской и братской критики и всегда — нашей любви. Может быть, в этом им больше всего отказывали, и это лежит бременем на совести христиан».

Литовскому народу выпало немало страданий — такова уж воля Провидения. Заботясь только о будущем своего народа, мечтаю о том, чтобы никогда больше литовцы не стреляли в невинных и незащищенных. Мир не гарантирован от еще более страшных катастроф. Уберечь литовцев от участия в погромах (на этот раз уже не евреев) можно, только безоговорочно осудив убийство мирного населения.

И тут главная роль должна принадлежать Церкви. Мы часто слышали подобные проповеди из всех стран Европы и Америки. Только не в Литве. Литовско-еврейская трагедия заслонена повседневными событиями. Необходимо осудить во весь голос преследования людей, особенно по расовым, религиозным, политическим мотивам.

Почтим память погибших евреев. Их братские могилы поросли мхом. Церковь может взять на себя инициативу, чтобы на месте расстрелов евреев были поставлены памятники. В День поминовения принесу и я венок на Швенчёнельское кладбище, к братской могиле, где преданы земле линкмянские евреи. Надеюсь, что в этот день я буду не один...

Обращаюсь к епископам Юлиёнасу Степонавичусу и Винцентасу Сладкявичусу, ко всем честным литовским священникам — посвятить мессы сотрудничеству и взаимопониманию между литовским и еврейским народами. За ними последуют все, для кого Христово Евангелие не слова, а жизнь и дела.

*8 октября 1978 года
Вильнюс*

ТЕРЛЯЦКАС Антанас — родился в 1928 г. в Литве (дер. Кривасалис, р-н Игналина) в семье крестьян-бедняков. В 1954 г. окончил экономический факультет Вильнюсского университета, начал работать в Литовском республиканском отделении Госбанка, в 1955 г. поступил в аспирантуру. В декабре 1957 г. арестован и приговорен к 4 годам лагерей «за участие в националистической организации и антисоветскую агитацию», срок отбывал в Озерлаге. Освободился по окончании срока, не получал работы по специальности, несколько лет работал заведующим столовой завода электросчетчиков. Заочно учился на истфаке Вильнюсского университета, но к защите дипломной работы «Литва под властью России в 1795—1915» не был допущен. С 1972 г. работал заведующим, потом кладовщиком кондитерского цеха, в мае 1973 г. арестован и обвинен в «хищении государственного имущества». За недоказанностью обвинения был... приговорен «всего» к одному году лагерей, отбывал срок в бытовом лагере строгого режима в Вильнюсе. С тех пор работал грузчиком, пожарником, ночным сторожем, в настоящее время — подсобным рабочим на Литовской киностудии.

С 1945 г., когда Терляцкас был впервые задержан на два месяца по подозрению в участии в националистической организации, он подвергается бесчисленным преследованиям. Обыски и допросы особенно участились в 70-е годы в связи с его активным участием в правозащитном движении в Литве. Последний раз КГБ задержал его на три дня в августе 1977 г.

Автор ряда самиздатских текстов, среди которых письмо Андропову (1975), где Терляцкас подробно излагает 30-летнюю историю преследований, которым он подвергался.

К читателям!

После публикации в «Русской Мысли», «Новом Русском Слове», в некоторых западных изданиях и в девятнадцатой книжке «Континента» моего памфлета «Сага о носорогах», вокруг него возникло целое кружение из читательских (причем, самых взаимоисключающих!) писем, газетных (причем, тоже предельно полярных!) откликов, досужих разговоров. Споры, вызванные этой вещью, лучше всего прочего свидетельствовали о ее своевременности и качестве.

Как это ни странно, нашлось немало охотников подставить имена (чаще всего намеренно, чтобы только создать конфликтную ситуацию) под обозначенные мной сугубо типизированные образы. Спешу заверить своего читателя в том, что автор здесь ни при чем. Автор не задавался целью обидеть или задеть кого-либо, но, к сожалению, как известно, каждый думает о себе и о других в меру своей собственной испорченности.

Тем не менее, возникшая дискуссия дает мне благодарный материал для продолжения темы и создания новых и весьма колоритных типов из породы многообразного носорожьего племени современности.

Что же касается господ, которые, не жалея ругательств, призывают меня к терпимости и плюрализму, то я советую им, «чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя... оборотиться».

Чувство ответственности перед своим народом вообще и перед читателем в частности проверяется не в бесноватой ругани или запугивании литературного противника, а в собственном творчестве, даже если оно, это творчество, кому-либо и не по вкусу.

На этом полемику вокруг «Саги» считаю законченной. Во всяком случае для себя. Что же касается оппонентов, то они могут продолжать в прежнем духе. Как говорится, на здоровье!

Владимир Максимов

Запад — Восток

Тьерри Вольтон

ПАРИЖ — МОСКВА ИЛИ ПАРИЖ ПОД МОСКВОЙ?

Выставка «Париж—Москва. 1900—1930», официально открытая французским и советским министрами культуры 31 мая 1979 г. в Центре им. Жоржа Помпиду* (Бобур) в Париже, по замыслу организаторов, выступает как результат прекрасных отношений между Францией и СССР. Действительно, такой выставки русского и советского искусства, где было бы представлено более 2500 произведений как живописи и архитектуры, так и литературы (а вокруг выставки — еще и музыкальная программа, и показ кинофильмов), Западу еще не показывали, а это критерий безошибочный. Тем более, что, например, двумя годами раньше, на Нью-Йоркской выставке живописи за тот же период, не было и трети из того, чем мы можем любоваться сегодня в Бобуре.

Казалось бы, грех жаловаться, даже если и испытываешь вполне законное чувство неловкости. Просто

* Центр имени Жоржа Помпиду, называемый также Бобуром, был открыт в феврале 1977 г. Вместительное здание современной архитектуры расположено в самом центре Парижа. В Бобуре постоянно действуют публичная библиотека, синематека, фонотека, Музей современного искусства. Каждый год в Бобуре проходит множество художественных, индустриальных и др. выставок. В распоряжении Бобура — собственный бюджет, выделяемый государством и составляющий 90% всех государственных расходов на культуру. К слову, основные расходы по выставке «Париж—Москва» были сделаны за счет французской стороны, т. е. из бюджета Бобура.

советские власти сочли французов «заслуженным народом», предоставили французской публике статут «привилегированной» и оказали нам честь поглядеть на то, что они до сих пор прятали. Потому-то и гордятся некоторые французские организаторы выставки, потому-то и хвастаются «атмосферой доверия», царившей между ними и их советскими коллегами во время подготовки выставки. Это уже не просто самовосхваление, поскольку за такими похвальбами скрыты не одни лишь многочисленные трудности периода подготовки, но и намеренные умолчания, и прямая ложь, в чем может убедиться внимательный посетитель выставки.

Трудности? Они начались в тот момент, когда руководители Центра захотели устроить ретроспективную выставку «Париж — Берлин — Москва». Советская сторона категорически отказалась: нельзя, мол, смешивать стили. А ведь культурные связи, существовавшие между тремя столицами, неопровержимы... Здесь-то и собака зарыта: сопоставление «соцреализма» и «национал-социализма» оказалось бы по меньшей мере компрометирующим для советской идеологии. Обещанный одними «новый человек» слишком напоминает того, которым гордятся другие. Более того, лучше избегать некоторых исторических параллелей, иначе как не заметить сходства между нарастанием нацизма и сталинизма?

Ну, Бобур и уступил, трилогия не состоялась, зато в прошлом году провели выставку «Париж — Берлин». Ох, и разошлись же по этому случаю организаторы, внушая каждому посетителю, какая вина лежит на политиках Веймарской республики и вообще на порочной капиталистической системе (например, был широко показан кризис 1929 г.) за то, что Гитлер пришел к власти. Выставленные произведения — чуть ли не до преувеличения — были помещены в исторический контекст. Это делало выставку одушевленной,

что и приветствовала единогласная в своих похвалах критика.

После такого доказательства доброй воли, впрягшись в работу по подготовке новой выставки, руководители Центра, возможно, рассчитывали на равноправное сотрудничество. Но они недооценили своих советских напарников. Пришлось им набраться горького опыта, когда в течение года надо было выторговывать одну работу за другой, дабы не обмануть ожиданий французской публики после успеха выставки «Париж—Берлин». Понятно, что в таком торге не обойтись без компромиссов. А где компромисс, там и умолчания, и, хуже того, просто ложь. Так что не стоит окружать почетом тех, что, добившись столь многих экспонатов, с чистой совестью почили на лаврах.

Можно ли говорить об их заслугах, когда выставлены многочисленные произведения, которых никогда не видел законный «хозяин» (в СССР, как трубят об этом на всех перекрестках, «искусство принадлежит народу»), а ни выставка, ни сопровождающий ее толстый каталог ни словом об этом не упоминают? А среди таких спрятанных от народа сокровищ — Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов, Филонов, Татлин и т. д. Можно ли гордиться тем, что в Париже замалчивается трагическая судьба русской поэзии? Выставлены книги и портреты Мандельштама, Ахматовой и других, но ни слова о том, что одни погибли в лагерях, а других травили «на воле». Можно ли гордиться портретом расстрелянного Гумилева в экспозиции Бобура, в то время как не только стихи его не издаются в СССР, но само его имя вычеркивается даже из научных комментариев? Одним словом, стоит ли похвалиться верностью официальным советским тезисам и советской версии истории? Однако именно в этом преуспели безропотные руководители Бобура под знаком «доброго сотрудничества» двух стран.

Что же из этого вышло? Вышла выставка, на которой, с одной стороны, весь исторический контекст смазан, а с другой — Октябрьская революция представлена как отправная точка для некоего «единого целого» русской и советской культуры. А ведь какой угодно искусствовед, если он действительно специалист в своем деле, знает, что это не так. А, велика важность, главное — не огорчить советских друзей. Во имя этой аксиомы посетителю приходится проглотить сведения о том, как под властью большевиков и Советов процветал и благоденствовал авангард. Что же до тех, кто не потерпел, чтобы рука государства водила его кистью или резцом, у кого достало мудрости уехать подальше от неминуемых лагерей, надвигающегося расстрела или хотя бы голодной смерти, — то их жизнь в изгнании, согласно выставке, не что иное, как «заграничное путешествие»* (Шагал, Кандинский, Цадкин, Певзнер, Габо и др.). Какой печальный эвфемизм для этих «туристов» в Вечности...

Вот и выходит, что, будучи на сегодняшний день самой большой выставкой русского и советского искусства, когда-либо показанной на Западе, «Париж — Москва» — это еще и самая огромная мистификация, устроенная советскими властями в этой области.

Тем не менее, факт этот признают с трудом. Почти вся французская пресса, за редким исключением, поспешила приветствовать «событие», не задумываясь о моральных и политических проблемах, поставленных выставкой. В конечном счете, скандала «Париж — Москва», вероятнее всего, и не произошло бы — к облегчению французских организаторов и к удовлетворению советских властей, превзошедших в мошенничестве самих себя. К счастью, через несколько дней

* И, например, изданная в 1927 г. в Париже по-французски книга И. А. Бунина помещена в витрине, посвященной... культурному «обмену».

после открытия выставки был проведен коллоквиум «Культура и коммунистическая власть», который позволил с честью противостоять тому, что могло бы оказаться «французским духовным Мюнхеном».

Реализовать идею коллоквиума, возникшую еще за несколько месяцев до выставки у Наташи Дюжевой, парижской переводчицы и дочери норильского эка, было далеко не просто. Отсутствие средств, трудности, связанные с поисками подходящего помещения, — на ее месте многие отступили бы. Она же продолжала держаться за свой проект, оказавшийся целительным средством против мистификации «Париж—Москва». Были люди — Н. Горбаневская, автор этих строк, — которые другие, — которые сразу поверили в этот замысел. Не раз и не два планы коллоквиума обсуждались с главным редактором «Континента». Не надо забывать и о таких представителях французской интеллигенции, как Пьер Эмманюэль и Владимир Янкелевич, без которых это мероприятие наверняка не удалось бы. Именно Пьер Эмманюэль добивался, чтобы Бобур — самое подходящее место для проведения коллоквиума, вскрывающего истинный смысл здесь же проходящей выставки, — выделил для этого один из своих многочисленных конференц-залов. Напрасный труд! Президент Бобура, отказывая в этой просьбе, просто заявил, что поскольку выставка — плод долгого и тесного сотрудничества, не может быть и речи о чем-то, что было бы расценено как «измена» Бобура сложившейся «атмосфере доверия», — ценное саморазоблачение!

В конце концов, благодаря профессору Янкелевичу, участников встречи приняла в своих стенах Сорбонна — старейший парижский университет. Своевременная финансовая помощь нескольких организаций (комитет «Помощь и взаимодействие», Международ-

ный комитет поддержки Хартии-77, журналы «Сведетви» и «Континент») довершила остальное.

В течение двух дней, на четырех заседаниях под председательством таких выдающихся личностей, как Давид Руссе, Манес Шпербер, Жан-Мари Доменак и Эмманюэль Леруа-Ладюри, выступили писатели, философы, историки, искусствоведы — как эмигранты из СССР и других стран Восточной Европы, так и французы. В битком набитом амфитеатре звучали конкретные, с фактами в руках разоблачения этой фабрики советского соблазна, поселившейся на верхнем этаже Бобура. От Игоря Голомштока, восстанавливавшего непростую правду о взаимоотношениях советской власти с русским авангардом, до Андрея Синявского и Ефима Эткинда, жестоко и остроумно вскрывших измышления каталога и выставки, через Михаила Геллера, блестяще показавшего, как дубовый советский язык убивает язык русский, — коллоквиум позволил прежде всего поставить под сомнение представленный на выставке официальный советский образ истории искусства и истории как таковой. Тому же были посвящены выступления французских специалистов по периоду 1900—1930 гг.: Ален Безансон говорил об этом на материале истории и идеологии, Франсуа Шампарно — на материале авангардистского искусства, Анатолий Копп — архитектуры.

И все-таки главное было, не ограничиваясь прошлым, показать непреходящий характер замалчиваемых на выставке проблем: смерть всякой живой культуры, как только она начинает подчиняться давлению государства, и постоянное возникновение независимых культурных ценностей. По этому поводу Наталья Горбаневская напомнила присутствующим о значении самиздата и тамиздата, а Александр Смоляр подробно рассказал о польском «летучем университете» и Товариществе научных курсов, об успехах независимых издательств и самиздатской прессы в Польше. Так что

тем, кто живет сегодня под игом социализма, есть на что надеяться, несмотря на неизбежные в условиях такого режима трудности поисков собственного пути, трудности, которые анализировал в своем выступлении молодой венгерский писатель Миклош Хараст, совсем незадолго до коллоквиума на год выехавший на Запад.

Но самое, быть может, существо проблемы затронули бывшие коммунисты Пьер Дэкс и Доминик Десанти: почему марксизм и коммунистическая идеология по-прежнему, несмотря ни на что, зачаровывают французскую интеллигенцию?

Только поставив этот вопрос, можно понять всеобщую сдачу позиций перед лицом тоталитаризма, иллюстрацией чего оказалась выставка «Париж—Москва». В самом деле, можно ли вообразить Бобур, настоящий храм современной французской культуры, участником какого-нибудь мероприятия во славу гитлеровской Германии? Или же во славу какого-нибудь сегодняшнего диктаторского режима Латинской Америки? Такое мероприятие, даже под прикрытием «культурного обмена», не замедлило бы вызвать настоящую бурю всеобщего негодования. Однако стоит напомнить, что, не будь коллоквиума в Сорбонне, выставка «Париж—Москва» просто-напросто освятила бы узы французского сотрудничества с советским тоталитаризмом, без единого слова протеста.

Как и почему такое сообщничество остается возможным, в то время как нельзя уже не знать фактов о действительности осуществленного социализма? Ответ на такой вопрос не однозначен. Следовало бы, прежде всего, провести различие между «государственными соображениями» и тем, что можно назвать «скрытым просоветизмом», не чуждым большинству французов, — притом что ни то, ни другое не может служить оправданием.

К государственным соображениям относятся те, что во имя дипломатических отношений заставляют рассматривать гостеприимство Бобура, оказываемое некоторым аспектам советской культуры, как вполне естественное. Да еще и добавлять со спокойной совестью, что выставка позволила увидеть произведения, находившиеся до сих пор в подвалах, не забыв, конечно, упомянуть, что советские власти обещали показать эту выставку в Москве в 1981 году. А ведь именно из государственных соображений следовало бы знать цену кремлевским обещаниям. Поспорим — впрочем, почти не рискуя проиграть, — что те несколько русских супрематистских и конструктивистских работ, заново увидевших свет в Париже, вернувшись на родину, снова лягут в запасники. Но государственным мужам не до таких мелочей — что, впрочем, не раз уже доказала вся политика Франции по отношению к СССР. К этому мы еще вернемся.

Что же касается «просоветизма», это штука потоньше. Конечно — и к счастью, — прошло то время, когда большая часть французской интеллигенции на страницах своих статей и книг воскуряла фимиам небывалым советским достижениям. Сегодня всё стало сдержанней, громкоголосые хвалебщики редчают, но иное молчание — пособник куда более красноречивый, чем любое славословие. Этим-то красноречивым молчанием и отличились французские организаторы выставки «Париж — Москва».

Этот пример не единственный. Достаточно вспомнить проведенную там же в 1978 г. (под покровительством обществ «Франция — СССР» и «СССР — Франция») выставку, посвященную советскому градостроительству. Противопоставленный миазмам капитализма, социалистический урбанизм был представлен как царство полного расцвета личности. И вывод ясен: какое счастье быть советским гражданином! Когда же кому-то приходит в голову предъявить факты иного

рода — цензура тут как тут. В мае 1978 г. чуть не была сорвана выставка в библиотеке Бобура, посвященная Марте Кубишовой — самой популярной певице времен Пражской весны, а в тот момент — глашатаю Хартии-77. Директор библиотеки потребовал убрать с выставки два стенда: на одном был воспроизведен текст Хартии, на другом — отрывки из Всеобщей Декларации Прав Человека (!). Причина: это чересчур пахнет политикой! (Впрочем, по части прав человека Бобур отличился и теперь. По требованию советских комиссаров выставки «Париж—Москва», из фойе Центра — с первого этажа, далеко от самой выставки, — были убраны постоянные стенды «Международной Амнистии».)

Итак, Центр имени Жоржа Помпиду, витрина французской культуры, постоянно и охотно потворствует осуществленному социализму. Но «государственные соображения» здесь ни при чем. Бобур пользуется значительной независимостью от государственной власти. Истинные причины надо искать скорее в образе мыслей руководителей и вдохновителей Бобура. Здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что персонал Центра, как, впрочем, и всякого другого французского культурного учреждения, прежде всего «антикапиталистичен», следовательно, проникнут «левым сознанием», хотя и не обязательно прокоммунистическим. Это сознание, пронизавшее всю официальную культуру*,

* Разумеется, «официальная культура» существует во Франции не в советском понимании термина. Культурное творчество свободно, цензуры как учреждения нет, и культурные учреждения теоретически независимы от власти. На практике это более или менее остается в силе для кино и театра, так как, даже получая государственные субсидии, они, в основном, финансируются частными ассоциациями. Что же касается массовой культурной работы, особенно развитой и играющей особенно важную роль в провинции, — это уже не так. Эта работа проводится преимущественно в рамках Домов культуры и Домов молодежи, которые финансово зависят от центральной и, прежде всего, муниципальной власти. Так что даже →

склонно превозносить социализм, и всё — из-за господствующего во Франции дихотомического мышления, механически противопоставляющего капитализм социализму. Мы, конечно, знаем, что на востоке не рай, но еще тверже убеждены, что мы-то живем в аду. Каждым своим мероприятием Бобур безудержно разоблачает эксплуатацию, нищету, слаборазвитость, отчуждение, неравенство, загрязнение среды — порождения капитализма. Под таким углом зрения социализм многим может показаться наименьшим злом. И это отношение все еще очень распространено.

Таким образом, несмотря на то, что светлый образ СССР серьезно потускнел, он все еще стрижет купоны со сложившейся ситуации, своеобразную сверхприбыль с симпатий к «вечно живому идеалу социализма». Советским руководителям это хорошо известно. Осознав свои потери в том, что касается политического кредита, они стараются наверстать упущенное за счет культурных владений. Кончились те времена, когда только хор Красной Армии выпускали сотрясать стены парижского Дворца Спорта. Став изощреннее, власти экспортируют балет Большого театра, а еще лучше — Театр на Таганке или Андрея Вознесенского. Не доказательство ли это либерализма? Прием, оказанный прессой выставке «Париж — Москва», лишний раз показал, что советское руководство — на верном пути.

Надо заметить, что в этой области французские власти проявляют, мягко говоря, необычайную терпимость. Мы снова возвращаемся к «государственным соображениям». Во имя их власти, не задумываясь, цензурируют даже телевидение; когда оно рискует

при отсутствии цензуры всегда можно оказать влияние на культурную политику с помощью субсидий и соответствующего подбора персонала, что и делается во всех муниципалитетах — как правых, так и левых.

слишком откровенно обеспокоить «советского партнера». Такое произошло в июне 1977 г., когда в день приезда Брежнева в Париж была запрещена телевизионная передача, в которой преобладало критическое отношение к СССР. Совсем недавно перенесли показ фильма о «кремлевских шпионах», поскольку в назначенный для фильма день начался визит Жискард д'Эстена в Москву. Что же до полного отступления французского правительства на Белградской конференции, когда был поднят вопрос о нарушении прав человека в странах советского блока, то о нем уже достаточно известно, и повторяться не стоит.

Было бы упрощением думать, что такая терпимость — нечто новое. Речь идет, в действительности, о некоей константе французской политики. Еще в 1968 г., спустя три месяца после заявления де Голля, разоблачавшего истинного зачинщика майских событий — «тоталитарный коммунизм», Мишель Дебре, ярый голлист и многолетний государственный деятель, охарактеризовал вторжение советских танков в Чехословакию как «дорожное происшествие». Это только пример двойного языка, свойственного французским политикам в течение многих лет.

Внутри страны ничто не удерживает власти от разоблачения опасности «коллективизма» (например, как только речь заходит об Общей программе, которой некоторое время были связаны коммунистическая и социалистическая партия), зато политика СССР пользуется невероятным попустительством тех же властей. Но противоречие здесь чисто внешнее. На самом деле, как бы парадоксально это ни выглядело, оба языка предназначены для внутреннего пользования. Первый из них вызывает к чувствам мещанина, к его желанию сохранить и защитить частную собственность, второму же предназначено задевать националистическую струнку, столь чувствительную у французов. А для националистов пугало — не «советская ге-

гемония», а «американский империализм». Причины этого лежат глубоко, а корни, наверное, уходят в коллективное подсознание всего французского народа, для многих поколений которого главным врагом была Англия. Так что Франция прежде всего страдает англофобией, а заодно — и американофобией. И, наоборот, можно с полным основанием говорить о довольно распространенном русофильстве. В массовом сознании *«moujik»* куда симпатичнее «джентльмента-фермера».

Кстати говоря, генерал де Голль был типичным представителем именно такого национализма. Его решение 1963 года убрать с французской территории американские военные базы — во имя независимости Франции! — было встречено в широких массах с энтузиазмом. Тот же национализм заставляет французское правительство добиваться своего места в кругу великих держав, даже если это Франции не всегда по средствам.

Стоит упомянуть, наконец, о недавней кампании перед европейскими выборами, которая вызвала новый взрыв ксенофобии во имя борьбы против «германо-американской» Европы. Лозунг особого стиля, соединивший в себе и германо-, и англофобию на французский лад.

Ясно, что всё это на пользу СССР. И примкнувшей к «идеалу социализма» интеллигенции, и страдающему германо- и англофобией народу Советский Союз представляется как «привилегированный союзник». Стоит ли в этом случае удивляться, что, несмотря на общеизвестные факты, у советского тоталитаризма все еще столько молчаливых сообщников в этой стране? Было бы, безусловно, гораздо труднее организовать выставку «Лондон—Москва» или «Рим—Москва». (Правда, что и с точки зрения развития культуры такие выставки менее обоснованы.) Однако советские руководители, исходя именно из политических сообра-

жений, не прибегают к этому средству обольщения. Зато есть «Париж — Москва».

И все же — можно ли говорить о нависшей над Францией угрозе «финляндизации»? На примере трудностей, с которыми сталкиваются сегодня те, кто ведет кампанию бойкота Олимпийских игр в Москве, можно и поверить в существование такой опасности. Не случайно, что общественное мнение с гораздо большей легкостью откликнулось на кампанию по разоблачению диктаторского режима в Аргентине в связи с проведением Кубка мира по футболу в 1978 году. Видно, существует двойная мера, двойной подход. Многие, наверно, уже готовы, как Франсуаза Жиру, типичная представительница новейшего политического либерализма, потребовать исключения из участия в московских Олимпийских играх за нарушения прав человека — Аргентины!

К сожалению, такого рода политическая непоследовательность — вещь широко распространенная. Многие ли из тех, кто обоснованно осудил государственный переворот в Чили в 1973 г., восставали против вторжения в Чехословакию в 1968-м? А те, кто десять лет тому назад кричал «Янки, прочь из Вьетнама», — примутся ли они сегодня кричать: «Кубинцы, прочь из Африки!» или «СССР, прочь из Афганистана!»?

В конце концов, «финляндизация» — это всего лишь состояние духа, при котором уничтожается всякая способность сопротивления диктату. А чтобы суметь сопротивляться, недостаточно только желания — надо еще знать своего врага и быть готовым к встрече с ним. Ни одно из этих требований не выполняется во Франции в отношении советского тоталитаризма. Осуждая СССР, не приходится рассчитывать на мобилизацию масс, поскольку действительность осуществленного социализма по-прежнему остается неосознанной и «главный враг» все еще грозит не с Востока, а с Запада.

«То, как члены какого-то общества реагируют на правду об СССР, может служить показателем степени коммунизации этого общества», — справедливо заявил Ален Безансон, выступая на коллоквиуме в Сорбонне. И вот мы можем констатировать, что правда эта далеко не стала общим достоянием французов. Более того, ее просто скрывают — в частности, и с помощью выставки «Париж — Москва». А в придачу еще и навязывают советскую концепцию культуры и истории. «Слабость» такого рода недопустима, будь она даже одиночным явлением. А если добавить к этому постоянное попустительство по отношению к социалистическим режимам, то перед нами — симптом капитуляции перед тоталитаризмом. А тогда и попытки измерить серьезность зла становятся бесплодными, и до «финляндизации» рукой подать.

ВОЛЬТОН Тьерри — родился в 1951 г. в Абиджане (Берег Слоновой Кости), с 1956 г. живет во Франции. В 1975 г. окончил Сорбонну (социология), в 1976 г. защитил диссертацию «СССР и Третий мир». С 1975 по 1978 гг. работал в газете «Либерасьон», написал ряд репортажей о Польше и Чехословакии. В 1977 г. составил сборник «Жить на Востоке» (см. рецензию в «Континенте» № 15, в разделе «По страницам журналов»). В 1978 г. — один из авторов фильма «Чехословакия — десять лет нормализации». В настоящее время работает в восточноевропейском отделе радио Франс-Энтернасьональ. Соавтор книги «Запад глазами диссидентов» (изд. Сток, Париж, 1979).

Факты и свидетельства

Эдуард Кузнецов

В ЗАЩИТУ БОГДАНА РЕБРИКА

На пресс-конференции в Париже ребята из студенческого комитета «Антигона» обратились к Эдуарду Кузнецову с вопросом о Даниле Шумуке. Под петицией в защиту Шумука (в числе 10 политзаключенных других стран, находящихся в особо угрожаемом состоянии здоровья) комитет собрал тысячи подписей среди студентов Парижа. Эдик был, вне сомнения, обрадован тем, что кто-то, наконец, взялся за защиту человека, о котором на Западе знают и говорят мало. Как другой пример столь же нуждающегося в защите и еще более забытого заключенного лагеря особого режима №1 (Сосновка, Мордовской АССР) он назвал имя Богдана Ребрика. После пресс-конференции я познакомила его со студентами, и Кузнецов выразил свою готовность поддержать любую их акцию в защиту Шумука и Ребрика. Одновременно он сказал мне, что отправил в свое время из лагеря посвященный Ребрику документ с большим правовым вступлением и что, хотя вступления ему уже не восстановить, он готов заново написать для «Континента» о тех преследованиях, которым постоянно подвергается Богдан Ребрик в заключении.

В своем интервью, опубликованном в журнале «Нувель Обсерватор» как «документ недели», Кузнецов снова настойчиво возвращается к судьбе своих сокамерников, оставшихся в заключении: Юрия Федорова, Алексея Мурженко, Олексы Тихого, Николая Еврафова, Данилы Шумука, Левко Лукьяненко, Богдана Ребрика. Он сообщает, в частности, что Богдан Ребрик во время службы в Советской армии почти полностью потерял зрение при ядерных испытаниях.

Вместе с Лукьяненко, Тихим и Балисом Гаяускасом Богдан Ребрик входит в созданную в сосновском лагере Группу-Хельсинки. (В группу входили также Кузнецов и Гинзбург — до своего освобождения — и украинский православный священник о. Василь Романюк — до отправки в ссылку.)

Н. Горбаневская

Полагаю необходимым предать гласности случай с Богданом Ребриком — он достаточно характерен, но не все осмеливаются рассказывать о том, как их били, тогда как Богдан, мой многолетний сокамерник, сам продиктовал мне подробности, которых я сейчас уже, к сожалению, не помню — т. е. не помню чисел, пере-сылных тюрем и фамилий. В октябре 1978 года я переправил А. Д. Сахарову как вице-президенту Международной Лиги Прав Человека «Заявление», посвященное оценке системы советского права вообще и его карательной функции в частности. Насколько мне известно, А. Д. Сахаров предал гласности этот документ, но, видимо, гласность не была достаточно гласной, раз случай Ребрика, которым я проиллюстрировал общетеоретические рассуждения, никому не известен.

За неимением времени, я не берусь восстановить мое «Заявление» в полном объеме, воспроизвожу здесь вкратце лишь последнюю его страницу — чистая фактография.

Летом 1977 года Ребрика возили на очередную «промывку мозгов» в следственный изолятор КГБ Ивано-Франковска. Пытались склонить его к сотрудничеству с КГБ, обещали тут же освободить, если он публично раскается, напишет статью обо мне (тема: сионист командует зоной, на 90% состоящей из украинцев) или расскажет, каким путем уходят из лагеря различные материалы. Ребрик, естественно, отказался, сказав: «И каши не надо, и по воду не пойду». Во время этапа его дважды избили, пытались сорвать с него нательный крестик, но он, чтобы не отдавать им крестика, успел проглотить его вместе с цепочкой.

Если не ошибаюсь, в мае 1978 года его привезли в следственный изолятор КГБ г. Саранска, где от имени члена украинского политбюро Федорчука ему предложили свободу на тех же, что и в предыдущем году, условиях, причем на этот раз попытки склонить его к

предательству сопровождалось угрозами. В мае Ребрика вновь этапировали в Ивано-Франковск. Во Львовской пересыльной тюрьме его раздели донага, избили и бросили в карцер, предварительно вылив на цементный пол несколько ведер воды, при этом приговаривая: «Проси своего Бога, чтобы он тебя осушил и согрел». Во время обратного этапа в лагерь в Киевской пересыльной тюрьме его, раздев донага, принялись избивать восемь надзирателей (в том числе и две женщины). Когда у него стали отнимать крестик, он сунул его в рот — дежурный офицер, майор, сначала душил его, а потом, запустив пальцы в углы рта, пытался надорвать ему губы — Ребрик откусил ему фалангу большого пальца правой руки. Ребрика избили до полусмерти, и почти двое суток он провалился без сознания и нагишом в карцере. Где-то числа 15 августа его на носилках занесли в этапный лагерь. Хотя он мог бы доехать до лагеря дней за 5-6, его специально везли кружным путем, чтобы, прибыв в лагерь, он не был столь сиренев. В лагере он появился 1 сентября (в один день с А. Гинзбургом) — он еле держался на ногах, и все его тело было в кровоподтеках и синяках.

Вот очень общий контур этого случая.

20.6.1979

КУЗНЕЦОВ Эдуард Самойлович — родился в 1939 г. В 1960 г. поступил на философский факультет Московского университета. Принимал участие в независимом творческом движении молодежи (поэтические демонстрации на площади Маяковского, издание журнала «Феникс»). В 1961 г. арестован вместе с Владимиром Осиповым и Ильей Бокштейном, приговорен к 7 годам лагеря за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Срок отбывал в Мордовских лагерях (в том числе в лагере особого режима, куда направили всех троих осужденных, несмотря на то, что лагерь предназначен для «рецидивистов») и во Владимирской тюрьме (посланный туда лагерным судом за «нарушения режима»). Освободившись в 1968 г., жил сначала под административным надзором в г. Струнино, Вла-

димирской обл., затем, после женитьбы на Сильве Залмансон, — в Риге. Получив неоднократный отказ в эмиграции, он был арестован 15 июня 1970 г. перед попыткой захвата пассажирского самолета, вместе с десятью соучастниками. Кузнецов и Марк Дымшиц были приговорены к расстрелу, замененному затем — под давлением мирового общественного мнения — 15 годами лагерей. «Самолетное дело» стало, тем не менее, началом массовой разрешенной эмиграции евреев из СССР. (В момент сдачи этого номера в печать еще трое из подельников Кузнецова: Юрий Федоров, Алексей Мурженко и Иосиф Менделевич — остаются в советских лагерях.) В тюрьме, во время следствия, суда и в ожидании расстрела, а затем в первые месяцы лагерной жизни Кузнецов пишет свои «Дневники» (Париж, ИМКА-Пресс, 1974, также изданы на многих иностранных языках). В лагере особого режима (Сосновка, Мордовской АССР) активно участвует в сопротивлении политзаключенных, вместе с Вячеславом Чорновилом (находившимся тоже в Мордовии, но на зоне строгого режима) разрабатывает статус политзаключенного, пишет и передает на волю вторую книгу, которая в ближайшее время выйдет в издательстве «Москва—Иерусалим». Осенью 1978 г. становится одним из членов-учредителей Группы-Хельсинки Сосновского лагеря. В апреле 1979 г. «обменен» (вместе с Георгием Винсом, Александром Гинзбургом, Марком Дымшицем и Валентином Морозом) на двух советских шпионов в США. Живет в Израиле.

ИНОЕ МНЕНИЕ

Шестой конгресс психиатров в Гонолулу принял решение, которое разожгло одну из самых жестоких профессиональных баталий. Конгресс признал недопустимыми и осудил злоупотребления психиатрией в СССР в политических целях: ложные диагнозы и их последствия — заключение инакомыслящих в психиатрические тюрьмы. Всего за несколько часов до голосования я сидел в номере мотеля Вайкики с Андреем Снежневским — одним из тех, кого прямо обвиняют в фабрикации ложных диагнозов в политических целях.

— Советские диагнозы инакомыслящим ставятся очень аккуратно и точно, — настаивал проф. Снежневский, — а то, что мы видим сейчас на конгрессе, — это всего лишь апогей кампании, вот уже лет десять как развязанной против советской психиатрии, всего только истерический спектакль.

Он утверждал также, что если бы я, опытный психиатр, сам обследовал кого-либо из диссидентов, то я убедился бы в абсолютной правоте советских врачей.

Через четыре месяца я получил приглашение от одного из друзей Петра Григорьевича Григоренко. Один из самых известных диссидентов, Григоренко — в прошлом генерал Советской Армии, орденосец, один из создателей советской военной теории, — выступив с политическими протестами, дважды был объявлен душевнобольным и упрятан в психиатрическую тюрьму. Мне сообщили, что, выпущенный на полгода к сыну в США, Григоренко просит американских психиатров обследовать его.

Я посоветовался с Аланом А. Стоуном, тоже психиатром, а также правоведом. Он сказал, что собирается в СССР и сообщит о наших намерениях прямо профессору Снежневскому. В конце лета 1978 г. он, действительно, был в Москве, и советский психиатр сказал, что, если такой специалист, как Стоун, берется за это дело, он не видит возражений против обследования больного и помощи ему.

Когда Стоун вернулся, мы посоветовались еще с несколькими коллегами. Дело в том, что повторная экспертиза такого рода — переобследование советского диссидента — противоречила некоторым профессиональным принципам*, такого еще не делалось. Возникал ряд проблем. Сумеет ли мы провести обследование достаточно беспристрастно? Не подвигнет ли нас простая человечность к некоторой предвзятости, так что мы увидим полную норму там, где на самом деле есть отклонения? Кроме того, мы знали, что у других диссидентов, подвергнутых в СССР принудлению, отмечены те же симптомы, что у Григоренко, им поставлены те же диагнозы, — если наша экспертиза подтвердит, что генерал психически болен, не станет ли это автоматически приговором для других? А если кто-то из этих других и верно болен — не принесет ли наша экспертиза только ущерб самому Григоренко?

Тем не менее, мы решили экспертизу провести. Мы просто изменили бы своему представлению об иерархии нравственных ценностей, поставив профессиональные принципы выше интересов пациента. Но прежде всего, разумеется, мы должны были зару-

* Так, например, французские психиатры обследуют бывших советских заключенных психиатрических тюрем только в рамках сопоставления действительности и советских экспертных заключений. Согласно профессиональной этике, они считают возможным проводить полную экспертизу лишь тогда, когда человек обращается с просьбой о лечении. — Прим. ред.

читься формальным официальным согласием генерала.

Мы сообщили ему все свои соображения — в первую очередь, о потенциальной опасности выводов экспертизы. Он не только дал свое безусловное согласие, но и оговорил, что акт экспертизы должен быть открыт для всех и непременно опубликован, каковы бы ни были выводы экспертов. В конечном счете, сказал он, терять ему нечего: ярлык сумасшедшего на него уже налепили.

Мы составили документ за подписью Григоренко о его согласии на обследование и на публикацию результатов: нам следовало предупредить возможные упреки в нарушении врачебной тайны. Григоренко прочел русский перевод документа и спокойно подписал его.

Далее следует описание обследования.

БИОГРАФИЯ

Петр Григорьевич Григоренко родился в 1907 г. в православной крестьянской семье на Украине. Его мать умерла от тифа, когда ему было три года. В 1913 г. отец женился вторично, но мачеха бросила дом через год, когда отец ушел на фронт Первой мировой войны.

Григоренко первым в своей деревне вступил в комсомол. В возрасте 15 лет он отправился в Донецк, где работал машинистом, а вечерами учился. В 20 лет он вступил в партию и по партийной путевке был направлен в Военно-инженерную академию, которую окончил с отличием в 1934 году. В рядах Красной Армии он участвовал в 1939 г. в военных действиях против Японии и был ранен в спину осколком гранаты. Еще два ранения получил во время Второй мировой войны.

После войны Григоренко преподавал в Академии им. Фрунзе в Москве. В 1949 г. назначен начальником научно-исследовательского отдела, в 1958 — начальником отдела кибернетики. В это время он уже был кандидатом наук. В 1959 г. получил свое высшее звание — генерал-майора. К моменту выхода в отставку (пятью годами позже) он был автором более чем 60 статей по военной науке, в большинстве своем засекреченных.

Григоренко имеет множество наград, в том числе орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны и семь медалей.

Женился впервые в 1927 г., через 15 лет последовал развод. Три сына от этого брака живут в СССР. От второго брака (с его нынешней женой) имеет одного сына, Андрея, который несколько лет тому назад эмигрировал в США.

ДИССИДЕНТСКАЯ БИОГРАФИЯ

Григоренко имел несколько небольших столкновений с властями — например, протестовал против антисемитизма в своей академии. Но первый серьезный конфликт произошел после его выступления на партконференции в Москве*. Он призвал к демократизации устава партии, в результате чего был лишен делегатского мандата. Почти в то же время он написал открытое письмо к московским избирателям, критикуя «неразумную и часто вредную деятельность Хрущева и его окружения». Был немедленно уволен из академии и спустя полгода переведен с понижением на Дальний Восток. Там он создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (1963 г.) в составе 13 человек и написал листовку о возвращении к ленинским принципам. Был

* В 1961 г. — Прим. ред.

арестован и направлен на экспертизу в институт им. Сербского, где его признали душевнобольным и неменяемым. Вышел из психиатрической больницы специального типа весной 1965 г., вскоре после падения Хрущева.

Не считая возможным менять свою позицию, лишенный военной пенсии, Григоренко вынужден искать любую работу и в возрасте 58 лет поступает работать грузчиком. Он неоднократно посылал письма протеста Косыгину, в «Правду», в КГБ. Он открыто протестовал против лишения его воинских званий и постоянно участвовал в публичных демонстрациях против процессов над диссидентами.

В 1969 г. он вылетел в Ташкент, чтобы выступить в качестве свидетеля защиты на процессе диссидентских лидеров*. Его тут же арестовали, и следствие направило его на психиатрическую экспертизу. Ташкентская экспертиза признала его нормальным. Тогда его отправили в Москву, снова в институт им. Сербского, на повторную экспертизу, — там его опять признали душевнобольным.

На этот раз он пробыл в спецпсихбольнице четыре года. Выпущенный в 1974 г., он возобновил свою деятельность.

В 1977 г. он получил выездную визу на полгода — навестить своего сына в Нью-Йорке и сделать срочную операцию, которую он не доверял советским врачам. Три месяца позже Указом Верховного Совета за подписью Брежнева он был лишен советского гражданства. После этого Григоренко получил политическое убежище в США.

* Процесс над активистами крымско-татарского движения. — Прим. ред.

Дважды комиссия института им. Сербского назначала Григоренко принудительное лечение в психиатрической больнице специального типа. Оба заключения были идентичны.

Главным доводом невменяемости было то, что протесты Григоренко — результат психопатологического состояния, а не разумного решения. Согласно актам экспертизы, Григоренко страдает хронической паранойей, которая время от времени достигает порога невменяемости, и тогда больной вступает в конфликт с советскими законами. В частности, у него развился «бред реформаторства» — потребность деятельности, направленной против властей, желание перестроить общество и одержимость диссидентской темой.

Как сказано в этих заключениях, Григоренко не может контролировать свое поведение и отвечать за свои поступки, а поэтому должен быть изолирован как больной, неспособный участвовать в своем судебном процессе и защищать себя.

По утверждению советских психиатров, болезнь усугубляется, а частично и вызвана артериосклеротическими изменениями сосудов головного мозга.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Чтобы провести обследование в максимально полном объеме и с предельной точностью, мы несколько изменили обычную процедуру.

Беседы с обследуемым (в общей сумме восемь часов) каждый из нас проводил по отдельности. Один из нас находился в Гарварде, двое — в студии видеозаписи Института психиатрии штата Нью-Йорк.

Вопросы, задаваемые генералу, касались всех сторон его жизни, включая семью, детские воспоминания, сексуальную жизнь, интеллектуальное развитие и нравственные установки, его идеи, влечения, интересы, взаимоотношения с людьми... Особое внимание мы обращали на его политические взгляды и на мотивы тех или иных «диссидентских» поступков. Все ответы сообщались нам через переводчика, одновременно велась запись на видеомagnetную пленку.

В порядке проверки диагноза психопатии, фигурирующего в советских актах, консультанты медицинского факультета Гарвардского университета провели три специальных обследования. Трехчасовая тестовая программа Ирен П. Стивенс включала задачи на интерпретацию, «проективные тесты» (подобные тестам Роршаха, так наз. «чернильным пятнам»), с помощью которых обнаруживаются параноидальные признаки. Вопрос о склерозе, фигурирующем в советском заключении, был исследован невропатологом Норманном Гершвиндом. Эта сторона состояния здоровья Григоренко подверглась также всесторонней проверке восьмичасовым набором тестов, которую проводила Барбара П. Джоунз.

Наконец, все видеозаписи мы передали в лабораторию биометрических исследований Института психиатрии штата Нью-Йорк. Сотрудники института изучили собранную информацию с точки зрения того, соответствует ли весь этот материал, согласно их критериям, картине какого-либо психического заболевания, имеющегося в настоящем или пережитого в прошлом.

Григоренко по-английски не говорит и не читает. Доктор Борис Зубок, психиатр, эмигрировавший из СССР в 1973 г., информировал Григоренко обо всех наших процедурах, объяснял нам некоторые аспекты принятой в СССР диагностики и был нашим консультантом и переводчиком в течение всего обследования. (По иронии судьбы, д-р Зубок частично проходил ор-

динатуру в Москве у того самого Снежневского, который согласился на переосвидетельствование Григоренко в США.) Разумеется, мы понимали, что советские психиатры вполне могут выразить подозрение, что д-р Зубок как эмигрант скрыл какие-то признаки заболевания обследуемого. Поэтому при экспертизе постоянно присутствовали еще три человека, владеющие русским языком. Все они нашли перевод предельно точным и добросовестным.

БЕСЕДЫ И ВЫВОДЫ

Григоренко — широкоплечий мужчина с прекрасной осанкой, голову бреет, походка медленная, слегка шаркающая.

Во время бесед с нами он был, в основном, очень спокоен, но временами проявлял живейший интерес ко всей процедуре обследования. Особенно заметно было это оживление, когда он говорил на политические темы, рассказывал, как с годами менялись его взгляды, и еще — когда вспоминал полузабытые удачи или огорчения. Он способен ответить на прямой вопрос с точнейшими подробностями, память позволяет ему восстанавливать все эмоциональные реакции, весь их широкий спектр — от сожалений до радости, с естественным переходом от грустных моментов к нескрываемому юмору.

Общение с людьми у него устанавливается быстро и легко, с каждым из нас он готов был поделиться своими горестями. Излагая их, он, однако, шутил по поводу своих жизненных перипетий, по поводу удач и иронии судьбы. На вопросы отвечал исчерпывающе, хотя из опыта общения с советской психиатрией знал, что при определенных условиях излишняя детальность может расцениваться как симптом некоторых психических заболеваний.

Большинство наших вопросов было рассчитано именно на проверку параноидальности. Если советский диагноз верен, то признаки этого состояния непременно обнаружались бы. Более того, мы смогли бы определить не только сегодняшнее состояние, но и степень заболевания в прошлом, если оно имело место.

Мы задавали вопросы о мотивах тех или иных диссидентских поступков Григоренко. Насколько верно оценивал он опасность своих действий? Имел ли он когда-нибудь параноидальные сверхценные идеи реформаторского характера? Гнала ли его, как это часто бывает с параноиками, неколебимая уверенность, что мир не соответствует реальному о нем представлению? Не было ли у него экзальтированно преувеличенных представлений о собственных возможностях, мании величия, не принимал ли он себя за некоего сверхчеловека или носителя миссии, ниспосланной свыше?

Григоренко отвечал, что никогда не преуменьшал возможных последствий своих поступков. Например, создавая «Союз борьбы за возрождение ленинизма», он предполагал даже возможность расстрела.

— Но если вы думали, что вас могут расстрелять, — почему же вы все-таки создавали этот Союз?

— Потому что я никак не мог смириться с режимом. Я знал, что организацию быстро раскроют, но я хотел пробудить чувство нравственной ответственности у других... Советские психиатры расценивали это как несомненный признак душевного заболевания, но фактом остается, что я совершал поступки, вполне оценивая их последствия. Если же американские психиатры, как советские, сочтут это признаком болезни, то я скажу, что они очень ошибутся.

Мы акцентировали тему мотивировок его дальнейшей деятельности, усиленно отмечая ее опасность, способную привести к душевному истощению.

— Так ведь это не личное дело, — сказал он, — это вопросы общественные, общие — кто-то же должен начать... Народ не выносит эту систему правления, но раньше почти не случалось, чтобы кто-либо восстал против нее открыто. Всегда так бывает, что находятся люди, которые что-то начинают, потом к ним присоединяются другие... И те, кто начинает, независимо от того, выдающиеся они люди или самые простые, становятся вроде знамени для тех, кто идет следом за ними... Моей жизнью, моей верной службой коммунистической системе я ведь тоже повинен в том вреде, который она принесла народу, и я хотел в оставшееся время хоть что-то исправить, искупить... Какой смысл прожить еще лишний год жизни, если продолжаешь лгать и закрывать глаза на то, что творится? Лучше прожить остаток жизни так, чтобы не позориться перед собственными внуками. — В этот момент Григоренко, показалось нам, опечалился, но продолжал говорить продуманно и серьезно. — Я думаю, что призыв к служению возникает в душе, когда оно вдохновлено Богом...

— Но почему именно в вашей душе? Разве не могли другие сделать то, что сделали вы?

— Это не совсем точно. Я, по счастью, стал в какой-то мере известен, особенно в результате кампании в мою защиту, которую организовала, главным образом, моя жена. Есть многие, сделавшие гораздо больше, чем я, но о них никто ничего не знает.

— Их тоже подвигнул Бог?

— Думаю, что да. Думаю, что Провидение играет в жизни человека куда большую роль, чем нам представляется.

— Не считаете ли вы, что у вас с Богом некие особые отношения?

— Нет. Более того, хотя я безусловно верю, что Бог есть, что есть некий Высший Смысл, я, к несчастью, не могу полностью погрузиться в молитву...

Исследуя отношения Григоренко с другими людьми и интерпретируя его поведение, мы особенно интересовались, нет ли признаков того, что он расценивает все, предпринятое против него, как чье-то стремление лично его преследовать. Зная, кто он такой, зная, что он действительно подвергался преследованиям КГБ, мы полагали, что это могло привести к стрессу. Мы допускали, что он мог придавать особое значение хитрости и мстительности властей, арестовывавших его, принудительно госпитализировавших, лишивших его чинов и пенсии. Вместо этого он постоянно указывал на порядочность, честность и откровенность некоторых из своих противников, в том числе даже членов ЦК.

Поскольку советские психиатры упирали на характерологию Григоренко, особо выделяя те черты, что могли подтвердить параноидальность, мы уделили наибольшее внимание тем же чертам характера. Мы, например, спросили его о конфликте, который имел место в 1949 г. в связи с его кандидатской диссертацией. В первой главе ее содержалась резкая критика военных теорий не названных по имени высших советских офицеров — ему было предложено эти места убрать. Мы спросили, как он отреагировал на такой совет, ожидая, что при наличии параноидальных реакций они в подобном случае непременно проявятся. Он ответил, что не сразу, но согласился эти критические места убрать.

Мы нашли и другие свидетельства гибкости характера Григоренко. Во время первого заключения, например, он пересмотрел свои политические убеждения, отбросив те самые «ленинские принципы», из-за которых создал свой нелегальный союз и подвергся аресту и принудительному лечению.

Мы систематически искали других указаний на паранойю, теперь или в прошлом, от самых слабых до самых определенных. Наш консультант-психолог сде-

лал множество проб, но они тоже не дали подтверждающих результатов.

Наконец, мы постарались окончательно прояснить вопрос о склерозе сосудов. В 1972 г. Григоренко перенес небольшой удар, который ухудшил зрение, затронув правый глаз. Исследования, проведенные нашим невропатологом, показали признаки артериосклероза с правой стороны сонной артерии, но это никак не могло влиять ни на мышление, ни на поведение, ни на характер — ни в настоящем, ни в прошлом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тщательно изучив заново все материалы исследований, мы не обнаружили у генерала Григоренко никаких признаков психических заболеваний. Наши выводы подтверждены исследованиями биометрической лаборатории Института психиатрии штата Нью-Йорк, проводившимися независимо, на материале изучения всех бесед, записанных на видеомэгнитофон.

Мы не обнаружили также признаков каких-либо заболеваний в прошлом. В частности, не найдено никаких параноидальных симптомов даже в самой слабой форме.

Наличествующие признаки склеротических изменений не таковы, чтобы иметь хоть какое-то влияние на мыслительные или эмоциональные проявления, на интеллектуальную сторону личности Григоренко и, тем более, на его поведение.

Специальная серия исследований и проверок заключения повторяется Американской ассоциацией психиатров в Чикаго.

Наше обследование Григоренко проводилось с установкой на обнаружение симптомов заболевания. Вместо этого мы нашли человека, который напоминал описанного в советских актах экспертизы столько же,

сколько живой человек напоминает карикатуру на него. Все черты его советскими диагностами были деформированы. Там, где они находили навязчивые идеи, мы увидели стойкость. Где они видели бред — мы обнаружили здравый смысл. Где они усматривали безрассудство — мы нашли ясную последовательность. И там, где они диагностировали патологию, — мы встретили душевное здоровье.

*Профсоюзам всех стран
Президенту АФТ-КПП Джорджу Мини
Эмнести Интернейшнл*

ОБРАЩЕНИЕ

Сегодня, 21 июня 1979 года, суд в Бобруйске (Белорусская ССР) присудил рабочего Михаила Кукобаку к трем годам заключения общего режима, то есть в общем уголовном лагере. Ему поставлены в вину распространение и публикация за рубежом текстов его открытых общественных выступлений о психиатрических репрессиях, об условиях жизни в его родном городе Бобруйске, о патриотизме, о связи проблем разрядки и прав человека, которые суд голословно признал клеветническими. Таким образом, осуждение Кукобаки — преследование за убеждения и информацию.

Ранее Кукобака по аналогичным обвинениям отбыл шесть лет заключения в специальной (тюремной) психиатрической больнице, однако на этот раз он был признан психически здоровым.

Кукобака осужден в дни важного события — подписания договора ОСВ-2, когда есть все основания ожидать действий, способствующих укреплению международного доверия. Тем более заслуживают сейчас сожаления такие акты нарушения основных прав человека.

Я призываю выступить в защиту Михаила Кукобаки. Я надеюсь, что органы власти СССР проявят гуманность и найдут возможным отменить несправедливый приговор Кукобаке.

Андрей САХАРОВ

21 июня 1979 года

Лауреат Нобелевской премии мира

ФОНД ПОМОЩИ СОВЕТСКИМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ

Весной 1979 года во Франции создан Фонд помощи советским узникам совести и их семьям (Фонд помощи им: Александра Гинзбурга). Президент Фонда — г-жа Лепренс-Ренге, жена известного ученого, члена Французской Академии и деятеля Европейского федеративного движения Луи Лепренс-Ренге. Вице-президент — г-жа Картан, жена одного из крупнейших французских математиков Анри Картана, известного своей активной деятельностью в защиту советских политзаключенных.

В комитет поддержки Фонда вошли лауреат Нобелевской премии проф. Андре Львов; президент Международной лиги против антисемитизма и расизма Жан-Пьер Блок; известный певец Жорж Брассанс; католический священник, член Французской Академии о. Карре; пастор Андре Дюма; владелица картинных галерей, где часто устраиваются выставки русских художников, Катя Гранова; г-жа Альперн, вдова узника нацистских лагерей, хирурга и члена Французской Академии Бернара Альперна; г-жа Янкелевич, жена философа Владимира Янкелевича; члены Французской Академии (и члены редколлегии «Континента») Эжен Ионеско и Пьер Эмманюэль. До своей кончины в комитет поддержки входил также герой французского Сопротивления протоиерей о. Николай Оболенский.

Александр Гинзбург, после своего освобождения, согласился войти в комитет поддержки Фонда, названного его именем и возникшего под влиянием руководимого им в СССР Фонда Солженицына.

Содержание работы Фонда — отправка продуктовых и вещевых посылок семьям политзаключенных и ссыльным. Первые отправления, в основном, уже достигли адресатов.

Адрес Фонда: F.A.A.G., 95 bd. Jourdain, 75014 Paris.

Деньги для деятельности Фонда просьба посылать на почтовый счет: C.C.P. 8 330 03 U Paris.

Религия в нашей жизни

Виктор Тростников

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА ИСТИНЫ

В зимний день 1642 года, когда жители Англии поздравляли друг друга с годовщиной рождения Иисуса Христа, в Вулсторпе родился человек, которому впоследствии тоже придавали черты мессии, поскольку он был призван возвестить миру великие истины. Эту оценку хорошо выражает известный стих:

Был темнотою этот мир окутан.

Бог молвил: — Будет свет! — и нам явился Ньютон.

Как всякий мессия, Ньютон представляет собой загадку. Огромная ньютоноведческая литература не только не разрешает ее, но окончательно запутывает. Особенно беспомощны биографы и историки в уяснении природы гениальности Ньютона. Та модная сейчас наука, которая важно называет себя психологией творчества, в этом случае может лишь развести руками. Все, кто изучал Ньютона, отмечают, что особенности устройства мира были открыты ему как бы непосредственно, будто он подглядел план творения, и это представляется им необъяснимым и шокирующим. Они с удовольствием нашли бы какое-нибудь «рациональное» объяснение феноменальной интуиции Ньютона, но такого объяснения нет, а принизить степень

Отрывок из книги В. Н. Тростникова «Мысли перед рассветом», готовящейся к изданию в издательстве ИМКА (Париж). В нашу публикацию вошли три (7-й, 8-й и 9-й) заключительных раздела главы 1 («Как это начиналось»). Заголовок публикации дан редакцией.

этой интуиции не позволяют упрямые факты. Когда, например, Галлей спросил Ньютона, как тот пришел к своей теории движения небесных тел, он получил поразительный ответ: «Я знал это много лет, но, если вы дадите мне несколько дней, я найду строгое доказательство». Очевидно, здесь какая-то фундаментальная форма знания *предшествовала* математическому выводу, который Ньютон должен был еще искать. Не менее странным выглядит то обстоятельство, что Ньютон упорно придерживался корпускулярной теории света, хотя известные в то время факты работали на волновую теорию. Впрочем, его взгляд на свет был неоднозначным, что замечено исследователями его работ. Он писал: «Под лучами света я подразумеваю его мельчайшие частицы, как в их последовательном чередовании вдоль тех же линий, так и одновременно существующие по различным линиям». Эта картина вполне согласуется с нашей фотонной теорией, объединившей корпускулярную и волновую точки зрения. Ньютону, кажется, *было известно*, какую природу имеет свет, но недостаточный уровень экспериментальной техники и отсутствие подходящего математического аппарата не позволили ему растолковать эту истину другим. Многие улавливают в его анализе прохождения света через щель попытки выразить существо процессов, описанных впоследствии квантовой механикой; в его концепции «эфирных духов» (исключенной из окончательного варианта «Начал») — зачаток теории гравитонов, а в рассуждении о химических свойствах тел — прообраз учения об электронных оболочках. Но даже не идя так далеко, нельзя не удивиться тому, что целый ряд физических явлений получил у Ньютона сложное и не очень логичное объяснение. Дело выглядит так, будто для него стройность теории, ее экономичность и даже максимальное соответствие известным фактам, вопреки утверждениям позитивистов о смысле науки, не есть самоцель;

будто он зачастую имел независимую информацию о природе явлений, но не всегда мог ее эксплицировать в рамках предоставленного ему языка. Де Морган дал очень точную характеристику гения Ньютона: «Его догадки были всегда так правильны, будто бы он знал больше, чем умел доказать». Можно было бы привести множество дополнительных примеров, подтверждающих этот дар ясновидения Ньютона, но особо хочется сказать об одном из них, который не пользуется популярностью у комментаторов. В своей «Оптике» Ньютон писал: «Не там ли чувствилище животных, где находится чувственная субстанция, к которой через нервы и мозг подводятся осязаемые образы предметов так, что они могут быть замечены вследствие непосредственной близости к этой субстанции? И если эти вещи столь правильно устроены, не становится ли ясным из явлений, что есть бестелесное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи». Это таинственное место обычно рассматривалось как досадный пережиток средневекового обскурантизма. Но вот миновали два века безуспешных попыток дать «физическую» теорию ощущений, и великий физиолог Шеррингтон выдвинул взгляд, чрезвычайно близкий к приведенному высказыванию Ньютона. Как знать, сколько еще опередившей время мудрости скрыто в работах Ньютона и в его только недавно начавшей публиковаться корреспонденции.

Перейдем теперь к более простому вопросу — к объективной оценке вклада Ньютона в развитие науки. Здесь разногласий не имеется — все признают этот вклад самым большим за всю историю науки. Это общее мнение отражено уже в приведенном выше стихотворении. Однако нам будет полезно в нескольких словах конкретизировать это обстоятельство.

В математике он сделал столько, что вместе с Архимедом и Гауссом вошел в «тройку всех времен и на-

родов». Он поднял математику на новый этап, который принято назвать «математикой переменных величин», — заложил фундамент дифференциального и интегрального исчисления. Этим на столетия определилась ведущая роль математики в естественных и прикладных науках. Но в физике он сделал еще больше: фактически, *создал* физику. Нет нужды объяснять известное всем и каждому революционное значение построенной им на аксиоматической основе теоретической механики. Для нас важно сейчас остановиться на достижении, которое самим Ньютоном и его ближайшими последователями считалось самым важным: на теории всемирного тяготения.

Вся суть в том, что предмет этой теории имеет особый статус. Сегодня, когда мы не отделяем то, что происходит в космосе, от земных явлений, это не сразу понимаешь. Но надо взглянуть на мир глазами человека XVII века, чтобы оценить всю дерзость ньютоновской мысли, перебросившей мостик от падающего яблока к обращающейся вокруг нашей планеты Луне. «Земные дела» в сознании людей того времени были отграничены от «небесных дел»; между первыми и вторыми было принципиальное, глубокое различие. Планеты, кометы и звезды составляли особое царство, неподвластное человеческому уму, находящееся под воздействием непонятных сил. И вот какой-то смертный проник своим разумом в сокровенную тайну этого царства, разгадал его законы и, что было не менее удивительно, показал их полное совпадение со «здесьними» законами.

Господствующее сейчас мнение заключается в том, что материалистические философские выводы из теории всемирного тяготения были однозначными и выбора ни у кого не оставалось. Согласно этому мнению, небесная механика окончательно подорвала религиозное мировоззрение и, развитая в работах Лапласа, привела к утверждению детерминизма явлений приро-

ды, который насквозь пронизывает сейчас все естествознание. Но для того, кто хоть малейшее значение придает историческим фактам, это ходячее представление неприемлемо, ибо оно абсолютно несовместимо с двумя бесспорными моментами:

1. Как мы убедились выше, детерминизм, т. е. взгляд на мир как на часовой механизм, получил широкое распространение задолго до Ньютона, как бы не нуждаясь в формальных доказательствах.

2. Сам Ньютон оставался до конца своей жизни не только глубоко верующим человеком, но и принципиальным противником детерминизма в природе.

Если на первый факт до сих пор обращалось мало внимания, то второй невозможно было не заметить или обойти молчанием. Его парадоксальность была слишком вопиющей: создатель математической теории, согласно которой можно было предвычислить положение небесных тел с величайшей точностью на сотни лет вперед, категорически возражал против взгляда на вселенную как на запрограммированный механизм.

Парадокс получал разные объяснения, но все они сводились к тому или другому варианту утверждения, что конкретные достижения в науке — одно, а их философское истолкование — совершенно другое. Согласно этому, постепенно распространявшемуся все шире взгляду, деятельность ученого можно, а иногда и необходимо отграничить от ее мировоззренческого осмысления. Здесь, как видно, устанавливается принцип разделения труда. Но оно эффективно лишь в тех случаях, когда разные части работы поручаются людям, каждый из которых является специалистом в своем деле. С ученым все просто — известно, в чем он специалист. Ну а тот, второй человек, который призван осознать глубинный смысл научных открытий, он-то в чем должен быть специалистом?

Не будем пока торопиться с ответом и познакомимся с двумя редакциями упомянутого утверждения.

Самая мягкая его форма (а потому самая жизнеспособная и популярная) состоит в приписывании ученому некоторой чудаковатости. С этой позиции подходит к Ньютону Кейнс:

«Он менее обычен, более экстраординарен, чем представление о нем, сложившееся в XIX веке...

Начиная с XVIII века Ньютона стали трактовать как первого великого ученого Новой эры, рационалиста, как того, кто научил нас мыслить рассудочно. Я не вижу его в таком освещении... Ньютон не был первым представителем эры разума, он был последним представителем халдейской магии, последним великим умом, который видел внешний и внутренний мир теми же глазами, как и те, кто начал закладывать наши интеллектуальные ценности 10 000 лет назад».

Далее Кейнс приводит аргументы в защиту своей точки зрения на Ньютона:

«Почему я называю его магом? Потому что он смотрел на всю вселенную и на все, что в ней есть, как на *загадку*, как на секрет, который можно разгадать силой ума, вникая в сущность различных намеков, повсюду рассеянных Богом, чтобы облегчить членам эзотерического братства охоту за философскими сокровищами. Он верил, что эти намеки отчасти содержатся в устройстве мироздания и в свойствах частиц материи (и это породило ложное мнение, будто он экспериментатор), а частично в преданиях, зафиксированных в таинственных текстах, сохраненных членами этого братства в Древней Вавилонии. Он смотрел на вселенную как на криптограмму Всемогущего».

Представление о Ньютоне как о рассеянном мечтателе, стремившемся к недостижимому, сложилось у Кейнса в результате изучения его неизданных писем. Читая эти документы, Кейнс не переставал удивляться несовместимости их содержания с обычным представлением о Ньютоне как об основателе новой науки,

свободной от всяческих суеверий. Кейнс почти дословно повторяет мысль Де Моргана: «Я думаю, что его эксперименты были не средствами открытия, а проверкой того, что он знал заранее». Не пытаюсь понять природу этого странного знания, Кейнс хочет все же дать правдоподобное и вполне «рациональное» объяснение тому факту, что насквозь пропитанное религией мышление Ньютона сумело произвести на свет науку, «упразднившую Бога». И он рисует трогательный портрет человека, жизнь которого разбивается на две резко несхожие части. В молодости он еще принадлежит средневековой с его тягой к эзотерической мудрости и, подобно доктору Фаусту, ищет магический ключ к открытию главной мировой тайны. Хотя такого ключа нет и быть не может, наивная вера юноши в его существование порождает замечательный побочный эффект: величие цели обеспечивает упорство и целеустремленность. «Он был прекрасным экспериментатором, — объясняет Кейнс, — но не это главное в нем. Его специфический дар состоял в способности фокусировать всю силу своего ума на какой-то духовной проблеме, пока она не получала решения». Благодаря этой способности, юноша, как бы сам того не желая, открывает научные принципы устройства мира. Созданная молодым ученым теория распространяется по миру, выходит из-под его контроля и получает то развитие, какого требует ее внутренняя логика. Сам же ученый за это время стареет, обретает житейскую мудрость, становится индифферентным к «смысловым» проблемам и заявляет: «Я не строю гипотез». Он погружается в молчание и, запирая в тайной шкатулке старые письма, хоронит таким образом свою первую половину — пылкого юного «халдейского мага», искавшего мистическую божественную истину, а миру являет лишь вторую половину, которая и остается в веках.

Эта концепция, произведшая в свое время сильное впечатление, обладает многочисленными достоинствами: она в меру сентиментальна и в меру психологична; выглядит достаточно обоснованной материалом и вместе с тем заставляет задуматься о чем-то иррациональном... Одно лишь в ней плохо — она неверна. Ложность кейнсовской концепции видна хотя бы из того, что именно в конце жизни Ньютон занимался наиболее «мистическим» предметом своей жизни — толковал пророчества Даниила и Откровение святого Иоанна, отдавая этому занятию и жар души, и упорство. Но еще более разительные аргументы против Кейнса дает давно опубликованная переписка Лейбница с Кларком — завзятым ньютонианцем, профессором богословия, о котором в предисловии к русскому переводу сказано, что он «не проявляет в полемике особой самостоятельности и в основном выражает позицию Ньютона, прибегая в ходе дискуссии даже к непосредственной консультации последнего». По существу, мы имеем здесь дискуссию между Лейбницем и Ньютоном, развернувшуюся в последние месяцы жизни Лейбница и примерно за десять лет до смерти Ньютона. Ясно, что в этой полемике Ньютон должен был обнаружить кредо своей «второй половины».

* * *

Пolemика затрагивает множество предметов, но в ней четко выделяется главный пункт, вокруг которого вертится все; пункт, в котором позиции сторон были диаметрально противоположными и в отношении которого не было достигнуто никакого компромисса. Опираясь на разнообразный материал, в том числе и на результаты Ньютона, ссылаясь на свои известные сочинения, Лейбниц пытается утвердить доктрину *деизма*, смысл которой таков: Бог, разумеется, создал мир, но, создав его и предписав ему строгие законы

движения, Бог не вмешивается больше в его функционирование. Ньютон же устами Кларка опровергал это представление.

Спор начался с письма Лейбница, в котором были следующие слова:

«Г-н Ньютон и его сторонники... придерживаются довольно странного мнения о действии Бога. По их мнению, Бог от времени до времени должен заводить свои часы — иначе они перестали бы действовать. У него не было достаточно предусмотрительности, чтобы придать им непрерывное движение. Эта машина Бога, по их мнению, так несовершенна, что от времени до времени посредством чрезвычайного вмешательства он должен чистить ее и даже исправлять, как часовщик свою работу; и он будет тем более скверным мастером, чем чаще должен будет изменять и исправлять ее. По моему представлению, постоянно существует одна и та же сила, энергия, и она переходит лишь от одной части материи к другой, следуя законам природы и прекрасному предустановленному порядку».

Здесь мы замечаем тот же момент предшествования идейной установки фактическому материалу, с которым уже сталкивались раньше*. До открытия закона сохранения энергии оставалось целое столетие, а Лейбниц уже предугадывает его. Известно, что самой заветной мечтой Лейбница было создание «Универсальной характеристики» — алгоритма, с помощью которого чисто механическим путем можно было бы получить *всю истину*. С каким восторгом он мечтал об этом! Но при всем его математическом таланте затея не удалась, и теперь, на склоне лет, ему хотелось доказать всем, что он, по крайней мере, стоял на единственно правильном пути, что предустановленный порядок, в принципе доступный алгоритмическому познанию, существует. Но, вероятно, стоило ему вооб-

* Автор имеет в виду не вошедшее в нашу публикацию описание «бэкониянской революции» в науке и теорий Гоббса. — Прим. ред.

разить приятный сердцу расчерченный на клеточки бездушный мир, как из памяти выплывала гигантская фигура Ньютона, смотревшего на этот мир с презрительной усмешкой. Этого нельзя было вытерпеть, надо было спровоцировать Ньютона, втянуть его в перебранку, с помощью язвительных фраз заставить потерять спокойствие и чувство меры и дискредитировать его авторитетное мнение. Ньютон лично не снизошел до полемики и поручил ее ведение Кларку. Но, несомненно, только близкое общение с этим великим человеком внушило Кларку достоинство и сдержанность ответа.

«Представление, согласно которому мир является большой машиной, работающей — как часы без помощи часовщика — без содействия Бога, есть идея материализма и фатальности и направлена на то, чтобы под предлогом сделать из Бога *надмировой разум* фактически изгнать из мира божественное Провидение и руководство. И на том же самом основании, на котором философ может представить себе, что все в мире протекает, начиная с самого начала мироздания, без всякого руководства и участия Провидения, скептик станет доказывать еще худшее и легко допустит, что вещи существовали вечно (как существуют и сейчас) без истинного их создания и без первоначального Творца, руководствуясь только тем, что подобные резонеры называют всемудрой и вечной природой».

В этом замечательном отрывке нам нужно выделить центральную мысль. Она заключается в разоблачении сущности деизма, являющегося ничем иным, как шагом к атеизму. Для Кларка (Ньютона) совершенно ясно, что перевод Бога на должность одноразового творца есть не просто понижение, но и подготовка к окончательному увольнению. Мы сталкиваемся здесь с пронизательностью человека, видевшего во всем оболочку, а суть. Не меньшая пронизательность проявлена и в предсказании, каким именно конкретным способом захотят устранить даже не вмешивающегося в ход мировых часов Бога: скажут, что материя *суще-*

ствовала вечно. Обратим внимание на то, что эта идея представляется Ньютону нелепой и ее защитники получают название резонеров, т. е. людей, говорящих пустые, бессодержательные вещи. И в самом деле, фраза «так было всегда» побивают все рекорды нелепости: она означает полный отказ от обсуждения серьезных проблем создания мира, является издевательством над понятием объяснения, влечет за собой ряд столь же бессмысленных уверток от других, поднимающихся из самых глубин человеческого сознания коренных вопросов. Но люди ко всему привыкают, и XVIII-XIX столетия заставили их привыкнуть и к «вечности материи», даже несмотря на то, что одновременно вырабатывали противоречащие этой доктрине многочисленные эволюционистские теории. Ложь, много раз громко провозглашенная, становится правдой. Во время Ньютона еще не прозвучала в полный голос ложь о вечности материи, но он уже видел, куда все клонится, и заранее скорбел о том, что человечество отворачивается от света истины.

Разумеется, письмо Кларка ни на йоту не изменило позиции Лейбница. Основателю математической логики совершенно не было дела до того, логичны ли рассуждения оппонента. Ему была важна не убедительность аргументов, а их идеологическая окраска. Он продолжал настаивать на алгоритмичности вселенной:

«Движения небесных тел, а также развитие растений и животных, за исключением возникновения этих вещей, не содержат ничего такого, что было бы похоже на чудо... Процессы в теле человека и каждого живого существа являются такими же механическими, как и процессы в часах».

Сейчас, когда перед биологией начинает вырисовываться фантастическая сложность живой материи, когда в клетке обнаруживают все новые и новые аппараты и структуры непонятного назначения, такие

утверждения Лейбница кажутся непостижимыми. Ну, хорошо, о детерминизме поведения небесных тел он знал, благодаря Ньютону. Но он *ничего не знал об устройстве организмов*, так как же мог он судить об их детерминизме или индетерминизме? Ведь даже в XX веке никто не может судить об этом!

Объяснение тут одно. Раз он, ничего не зная, говорил, да не просто выдвигал гипотезу, а горячился, выходя из себя, пускал в ход *все средства*, чтобы подавить оппонентов, — значит, он *хотел* детерминизма. Это желание было выше логики и разума, оно шло изнутри и означало фатальное стремление к автоматоподобному миру Брейгеля. Это был приказ незримого ордена своему адепту.

Наши слова «все средства» отнюдь не являются преувеличением или метафорой. Вот выдержка из письма Лейбница:

«Во времена Бойля и других выдающихся мужей, деятельность которых процветала в Англии в начале правления Карла II, никто не отважился бы предлагать нам такие пустые понятия. Надо надеяться, что это счастливое время вернется при таком добром правительстве, каким является нынешнее; надо надеяться, что тогда все умы, отвлекаемые сейчас из-за неблагоприятных условий, смогут в большей степени заняться развитием основательных знаний. Главная тенденция г-на Бойля всегда была направлена на то, чтобы внушать, что в физике все совершается механическим путем».

Лейбниц не дожил до «счастливого времени». Оно пришло в Европу лишь в XIX веке, когда, как писал Ганс Дриш, всех, кто не признавал организмы автоматами, «постигла печальная участь: охотнее всего их бы запрятали в дома умалишенных, если бы «старческое слабоумие» не служило для них некоторым извинением». Еще более счастливое время расцвело в России в период правления Сталина: теперь за отстаивание живого, творческого начала в фауне и флоре грозил уже не сумасшедший дом, а концлагерь. Знал ли Лейб-

ниц, какие последствия он навлекает на человечество, когда, подобно Макиавелли и Гоббсу, апеллировал к правительству, чтобы оно в приказном порядке установило доктрину механической вселенной? Скорее всего, не знал — он ведь был лишь слепым орудием идеологии. Но великий Ньютон знал все и через Кларка высказал это такими словами:

«Если считать, что все движения нашего тела необходимы и возникают независимо от души из чисто механических импульсов, то это прежде всего ведет, и я не вижу никакой возможности избежать этого, к утверждению необходимости судьбы. Такое воззрение заставляет считать людей просто машинами (каковыми Декарт считал животных)».

Надо ли приводить еще доказательства того, что рождественская сказка Кейнса показывает полное непонимание им личности Ньютона? Углубившись в изучение многочисленных материалов, Кейнс не заметил того, что лежит на самой поверхности, — исключительной целенаправленности жизненного подвига Ньютона — и приписал ему экстравагантность и раздвоение. Уверять, что великие открытия Ньютона были артефактом, смысл которого им не был до конца осознан, — значит быть слепым, а точнее — ослепленным. Кем же? Какой злой волшебник лишил Кейнса и других детей XIX века зрения?

В России, стране крайностей, все является нам резче, виднее, отчетливее. Развивая идею об отделении научных результатов от их истолкования, Ленин заявил, что ученым, как бы ни были велики их заслуги в конкретных областях знания, нельзя верить *ни в едином слове*, когда начинается обсуждение мировоззренческих аспектов науки. Но если ученые абсолютно неспособны осмыслить то, что сами делают, то кому дана эта способность? Ленин разъяснил это: «Беспартийные люди в философии — такие же тупицы, как и в политике». Значит, только принадлежность к пар-

тии, к незримому или зримому братству дает свет истины, а наука играет лишь служебную роль. В России — незрелой и увлекающейся стране — выбалтывалось то, о чем в Европе помалкивали, но чем направлялось все ее развитие: *естествознание играло роль служанки идеологии, провозглашающей мир мертвой машиной*. С самого начала допускались только те направления в естественных науках, которые помогали укрепить эту идеологию, и безжалостно подавлялись, вытравлялись и подвергались осмеянию все те, которые могли бы ее подорвать. И этот открытый нажим продолжался до тех пор, пока не исчезли среди ученых независимые и гордые умы, пока из ученых не было выращено племя добровольных рабов идеологии. Тогда в хитрой и опытной Европе были отменены крайние меры принуждения, и ученым разрешили даже иногда упоминать Бога. Такая контролируемая отдушина для считающих себя вполне свободными рабов закабляет их еще надежнее. На примере Кейнса мы можем хорошо увидеть, как атрофировалась самостоятельность мысли ученых за три столетия невольничества. Разрабатывая версию, будто Ньютон, хотя и не осознал этого до конца, служил возведению на трон Новой Науки, Кейнс лишь повторяет на свой лад мотив, пропетый еще Вольтером, который, вернувшись из Англии, писал о Ньютоне:

«Ему особенно повезло, не только в том, что он родился в стране свободы, но и в век, когда в Море не осталось места наглости схоластицизма. На пьедестал был воздвигнут Разум, и он стал не Врагом, а Учителем человека».

В действительности же в то время все более откровенной становилась наглость идеологов бездуховности. Они вербовались и из околонучных писателей, и из крупных ученых, но их отличительной чертой была именно наглость, упомянутая в цитированном отрывке далеко не случайно, — давно известно, что про-

тивнику надо приписывать свои недостатки. Выступали на сцену будущие хозяева мира, и мир должен был съежиться перед ними. Русская пословица гласит: «Бог шельму метит». Случайно ли все эти люди были шельмами — интриган Макиавелли, взяточник Бэкон, стяжатель Вольтер, нахлебник Гоббс? Может быть, такие люди и были нужны? Будь они не такими зубастыми, крикливыми, самовлюбленными и хвастливыми, разве могли бы они сделать то, что выпало на их долю: оседлать молодую и необъезженную науку и надеть на нее прочную узду? Что, кроме наглости, позволило Вольтеру, ничего не смыслившему ни в математике, ни в физике, «истолковать для своего народа учение Ньютона»? Удивительно ли, что после того как поработали такие «толкователи», вся сущность ньютонианства была фальсифицирована?

*
*
*

А сущность была вот в чем: Ньютон осуществил великий прорыв мысли, позволивший людям уже гораздо меньшего масштаба создать естествознание. Но для прорыва необходим сверхчеловеческий, божественный ум, руководствующийся не формальным выводом, а озарением. Ньютон и обладал таким умом — на то указывают все известные нам факты. Подобно Христу, он мог бы сказать: «Ничего не выдумываю для вас, описываю лишь то, что вижу у Отца моего». Он не пользовался ни методом Бэкона, ни методом Декарта; он вообще не мог бы, наверное, сказать чего-либо о своем методе — он просто «фокусировал на проблеме всю силу своего ума» до тех пор, пока внутреннему взору не открывалось решение. Но насколько глубже проникала его мысль в суть вещей, чем этому может научить какая-либо систематизированная инструкция!

Почти за два столетия до Ньютона возникло заметное увеличение интереса к материи, ко всему вещному, телесному, плотскому. Начиналось историческое движение, призванное стать ведущей силой в Европе на ближайшие несколько столетий. Мало-помалу оформилась и идеологическая основа этого движения, сводящаяся к трем главным пунктам:

1. Мир — огромная детерминированная машина.
2. Главной задачей познания является открытие законов, управляющих движением этой машины.
3. Конечной целью исторического процесса является покорение природы разгадавшим ее законы человечеством.

Мировоззренческим фоном, обеспечивающим соответствующее поведение людей и нужное умонастроение, должна была стать замкнутая философская система, в которой можно было бы крутиться вечно, имея иллюзию поступательного движения, но на самом деле не выходя за рамки царства вещей. Для этого стали захлопываться все окна, через которые могла бы просвечивать непостижимость и бесконечная мудрость Бытия. Но для выполнения второго пункта, т. е. для *познания* материи, недостаточно было наличия идеологии, нужен был пророк, который возвестил бы о ее свойствах.

Таким необходимым новой идеологии пророком и был Ньютон. Но пророку не может открыться только то, что у него берут: в своем таинственном озарении он всегда видит намного больше. Ньютону не было дела до требований идеологии, он поведал о том, что увидел, и все это было истиной, хотя и не всегда ясно выраженной. Но из его великих откровений людей заинтересовала малая, и даже не главная, часть.

Истолкователи и популяризаторы, выющиеся вокруг Ньютона, как бабочки вокруг лампы, остались глухи к самым замечательным из его свидетельств,

относящимся к фундаментальным проблемам мироздания — к проблемам, без понимания которых нет никакой надежды приобрести что-нибудь большее, чем технология. Недоуменно подымая брови, прошли они мимо его указаний на то, что феномен ощущения связан с неким *раздроблением* единого мирового сенсо-риума на множество отдельных частей, каждая из которых становится ядром определенного индивидуального восприятия, — указаний, которые могли бы сделаться базой стройной теории психики, если бы только научные исследования действительно могли развиваться свободно, как об этом везде трубят. Эти указания Ньютона не понадобились ученым, потому что *за них уже было решено*, чем они будут заниматься: автоматической вселенной. И вот, вместо развития гениальных намеков Ньютона на глубинную природу сознания, психоаналитики начинают развивать теорию детерминированной полезными и сложившимися в процессе эволюции инстинктами психики, а кибернетики тщатся построить теорию «искусственного интеллекта», чтобы понять по аналогии работу «естественного интеллекта», являющегося таким же алгоритмическим устройством.

Никто не заинтересовался и другой глубочайшей мыслью Ньютона, ведущей к преодолению нелепой ситуации с «вечностью материи». Как бы предугадывая возражение Милля против концепции создания мира Богом, заключающееся в том, что, приняв эту гипотезу, мы будто бы придем к не менее трудному вопросу «Кто создал Бога?», Ньютон разъясняет: «Не Бог существует в пространстве и времени, а Своим существованием Он Сам производит пространство и время». Это сразу лишает возражение Милля всякой силы, ибо выводит проблему в такую плоскость, где понятие предшествования, а следовательно — и создания, не имеет смысла. Но, хотя разработка этой ньютоновской идеи могла бы дать давным-давно как раз

то, к чему только в последние годы подходит теоретическая астрофизика, стоящая перед фактом, что вселенная появилась 10-15 миллиардов лет назад, а не «существовала вечно», тут пришлось бы обратиться к запрещенному понятию, открыть окно, выводящее из замкнутого лабиринта, а этого делать не дозволено. И ученые, искренне считающие себя самыми свободомыслящими людьми, воплощением непредвзятости, продолжали послушно ползать в отведенном в их распоряжение лабиринте. Они были готовы пойти на любые ухищрения — например, вводить логарифмическую шкалу времени, чтобы вселенная, имея фактически конечный возраст, стала *как бы* вечной, — лишь бы не выйти из своего замкнутого мирка на открытый простор. Даже те из них, кто в силу внутренних требований науки вынужден был выйти из этого мирка, не хотят сознаться, что это случилось. Устами Нильса Бора естествоиспытатели провозгласили, что теории, чтобы быть верными, должны быть сумасшедшими; они гордо заявили, будто отбросили все запреты, накладываемые на мышление, что их не пугает даже нарушение законов логики и математики; но самое простое и естественное предположение — что вселенная не есть заводной автомат, что она представляет собой открытую часть Сущего, что материальный мир есть лишь один из слоев Бытия, взаимодействующий с другими слоями, — эта тривиальная гипотеза заставляет их в испуге остановиться. Почему же? Понятно, почему: здесь вступает в действие запрет более серьезный, чем те, какие устанавливают логика с математикой.

Всю свою жизнь Ньютон твердо и последовательно стоял на той точке зрения, что вселенная не есть механизм, что материя постоянно испытывает воздействие других слоев Бытия. Он даже набросал контуры грандиозной концепции, обещающей увязать воедино механизмы этого воздействия на материю с феноме-

ном ощущения, возникающего у людей и животных. Уже то, что в русле этой концепции две величайших неразрешенных проблемы современной науки — конечность вселенной в пространстве и времени и сущность сознания — сливаются в *одну* проблему, должно было бы вызвать громадный интерес ко всем высказываниям Ньютона по этому поводу. Но современный ученый только пожимает плечами и охотно подписывается под словами Леона Розенфельда: «Такая смесь рационализма и теологии для нас трудно постижима».

Есть и другое неоценимое свидетельство Ньютона: его утверждение об открытости Бытия, о непостижимой мудрости мироустройства. Оно выражено в притче о мальчике, играющем на берегу Океана Истины. Стереотипное мышление может трактовать ее как проявление скромности Ньютона, на самом же деле скромность тут не при чем. Ньютон просто *видел* растилающийся перед ним океан непознанного и описал то, что предстало его взору. А вот Лейбниц был убежден, что вот-вот найдет универсальный ключик *ко всем истинам*, т. е. собирался вычерпать океан ложкой. И естествознание пошло не за своим основателем Ньютоном, а за Лейбницем.

Конечно, Ньютон знал лишь малую часть истины. То, что он увидел в своем пророческом озарении вполне ясно, он ясно и сформулировал; на то, что открыло ему лишь свои очертания, он только намекнул. Остальное же, увиденное им просто как существующее, он назвал Океаном. И величайшим стремлением всей его жизни (а не первой половины ее) было дальнейшее познание тайн Океана. Поэтому он и вчитывался в писания Даниила и Иоанна — членов того же «эзотерического братства», к которому принадлежал и сам и которое призвано сохранять в веках и тысячелетиях сокровенные истины Бытия. И если бы современный ученый правильно осознал смысл этой деятельности Ньютона, он бы взял с него пример и стал бы делать

то же самое: пытался бы расшифровать пророческие откровения, рассеянные в текстах Ньютона, как Ньютон пытался расшифровать откровения, рассеянные в текстах более ранних пророков. Но ведь для этого пришлось бы выйти из лабиринта, а это невозможно! И современный ученый, этот приверженец логики и фактов, вопреки логике и вопреки фактам готов повторить то, что сказал о Ньюtone Е. Т. Белл:

«Он посвятил серьезные усилия, чтобы доказать наличие смысла в пророчествах Даниила и в поэзии Апокалипсиса... В его время теология была еще царицей наук, и она часто управляла своими подданными с помощью палки».

Чтобы доказать *отсутствие смысла* во фразе Белла, не нужно прилагать «серьезных усилий». Действительно, Ньютон занялся герменевтикой на склоне лет, когда он был уже всемирно знаменитым человеком, членом парламента, гордостью Англии, живой реликвией. Как может Белл уверять нас, будто занятия, которым посвящал старик Ньютон свой досуг, были результатом давления на него официальной теологии? Кто мог с помощью «палки» заставить его ногами сидеть над Апокалипсисом? Далее: любой, кто имеет хоть отдаленное представление об Англии того периода (а историк науки Белл не может не иметь его), прекрасно знает, что в этой «стране свободы», как называл ее Вольтер, царил не культ схоластической теологии, а культ прикладных наук, часто перехлестывающий даже через край, как это видно из приведенного выше письма Лейбница о благословенных временах Карла II. Не спутал ли уважаемый мистер Белл начало XVIII века с XIII столетием?

Древние греки завещали нам прекрасный метод выяснения истины — приведение к абсурду. Руководствуясь общепринятым взглядом на соотношение науки и религии, Белл пришел к явному абсурду. Что же это доказывает? Разумеется, то, что общепринятый

взгляд ложен. Не теология палкой управляла естествознанием — этого в принципе не могло быть, ибо во времена господства теологии не существовало естествознания, — а овладевшая миром идеология бездуховности с помощью палки и хитрости стала направлять развитие возникшего в XVII веке естествознания. Судьба ньютоновского научного наследия ярко подтверждает это. Прорыв, осуществленный могучей мыслью Ньютона, открывал пути в разные стороны. Естествознание было принуждено воспользоваться лишь одним из них, притом далеко не самым интересным.

* *
 *

Ему предстояло на целых три столетия погрузиться в лабиринт, поверить, что лабиринтом исчерпывается все сущее, и подробно исследовать все его закоулки, в каждом из которых громоздились друг на друге бесчисленные автоматы и механизмы. И, когда все люки захлопнулись, Кто-то сказал: *только непереносимая тоска по живому сможет снять это заклятие!*

ТРОСТНИКОВ Виктор — родился в 1928 году, физик, живет в Москве, автор ряда научно-популярных работ, участник альманаха «Метрополь».

ОТ ИМЕНИ РЕДАКЦИИ СБОРНИКА «ПАМЯТЬ»

Самиздатская редакция сборника «Память» обратила мое внимание на то, что в некоторых публикациях эмигрантской прессы, а также в одной из передач «Голоса Америки» на Советский Союз были высказаны сомнения в том, что сборник «Память» составляется в СССР, а то и прямые утверждения, будто он составляется за границей.

Как представитель самиздатской редакции за рубежом, я более полно, чем кто бы то ни было, могу оценить не только научное качество сборника, но и нечеловечески тяжелые условия, в которых работают его составители. И я хотела бы только одного: чтобы подобные безответственные высказывания оказались плодом недоразумения, а не сознательного оболгания.

При случае уточняю, что мои обязанности как представителя редакции и зарубежного редактора состоят в чисто технической подготовке сборника к сдаче в типографию (иногда с посильным прибавлением комментариев по недоступным редакции источникам), в чтении корректуры и в организации отношений с издательствами. Те материалы, что я получаю от зарубежных авторов и нахожу достойными для включения в «Память», я пересылаю редакции сборника. Надеюсь, что в будущих номерах «Памяти» появятся и они, подготовленные и прокомментированные самиздатскими историками.

*Наталья Горбаневская,
зарубежный представитель редакции
исторического сборника «Память»*

Париж, сентябрь 1979

ИСТОКИ

Владимир Чернявский

ДОВОД СЛАБЫХ

(К истокам терроризма)

*Вы слышали, что сказано древним:
«Не убивай»; кто же убьет, подлежит
суду (Исход 20, 13).*

Мф. 5, 21

*... не забывать о значении применяе-
мых средств... ибо средства управляют
целью и меняют ее.*

Ганди

*Малoverы мы и слабы, как дети, и
поэтому поднимаем меч.*

В. Ропшин. «Конь бледный»

О государственном терроре (а именно в таком смысле термин *террор* впервые упомянут в словаре Французской Академии в 1798 году, после недавнего крушения Робеспьера) — будь то террор якобинский, нацистский, сталинский или имя рек — написаны фолианты. Нас здесь интересует не террор «сверху», а терроризм «снизу» — то, что известный западный исследователь вопроса Уолтер Лакер характеризует как «насильственный акт, направленный против режима, правящего класса, этнического, расового, религиозного меньшинства, что не следует смешивать с другими формами насилия (гражданская война, государственный переворот, герилья)»*. Оговоримся сразу: в этой

* «L'Express», 27.3. — 2.4.1978.

необъятной теме нас занимают не столько статистика или рассмотрение отдельных фактов индивидуального террора, сколько его социально-этический аспект, — не *что* и *как*, а *почему*...

К середине 60-х годов на Западе подросло первое послевоенное поколение, для которого многие привычные всем вещи стали отнюдь не сами собой разумеющимися.

В 1967-68 гг. Европу и Америку сотрясли студенческие волнения, подстегнутые современными «левыми пророками», вроде Маркузе. В Париже в мае 68-го «запахло революцией», но повсюду, в основном, дело ограничилось массовыми демонстрациями, многотысячными митингами, в особенности в студенческих городках (Беркли, Берлин и др.), хотя не обошлось и без бурных стычек с полицией, без эксцессов и отдельных жертв. Протест был, так сказать, трехсторонним: «моральным» (против войны во Вьетнаме), «политическим» (против власти монополий) и «культурным» (против существующих «табу» в семье и обществе). Пафосом этих протестов было требование не свободы «для», а свободы «от» — от всяческих «буржуазных условностей». «Культурная революция» быстро выродилась в бунт хиппи, праздновавших под вопли и визги битлсов оргии «свободной любви» во имя «полного (читай — сексуального) раскрепощения личности».

Протестующие не выдвигали никаких конкретных альтернатив. Призывая покончить с войной — порожденной «империализмом» и «фашизмом», — они призывали одновременно покончить с этим самым «фашизмом» и «империализмом», понимая под таковыми существующие в их странах демократические институты. Вынося тотальный приговор демократии, они провозглашали неведомую утопическую «свободу» по образцу мифологизированного Третьего мира.

Но постепенно «революционный» порыв иссяк: «поднять» народ не удалось! Дискуссии в переполненных аудиториях, с участием «слепых поводырей» — профессоров (в основном подыгрывавших молодежи), обнаружили поляризацию мнений и постепенный крах иллюзий. В результате этого краха большинство «остепенилось», ряд бывших лидеров избрал мирные интеллектуальные профессии и мирную политическую работу. Но незначительное меньшинство не успокоилось и, укрепившись в вере в необходимость и благотворность *непосредственного действия*, перешло от утопизма к насилию. Это экстремистское меньшинство, безответственное и невежественное, напичканное плохо переваренными цитатами из классиков марксизма-маоизма-геваризма и т. д. и т. п., нашло выход своим агрессивным наклонностям в насилии. Сорганизовавшись в различные вооруженные подпольные группировки, они начали с «имущественного террора» — с поджогов универсальных магазинов и взрывов зданий, — а кончили захватом заложников и убийствами.

Ныне, по прошествии десятилетия, международный терроризм (своеобразная уродливо-жуткая реализация «Интернационалки») стал грозным знаменем времени — может быть, «последних времен». Слова «террорист» и «заложник» стали паролем эпохи. Говоря так, мы имеем в виду, конечно, пока еще относительно свободный мир, где юные экстремисты (преимущественно недоучившиеся студенты, богема, деклассированные элементы), вооружившись автоматами и бомбами, решили перейти от «слов» к «делу». Как метко заметил тот же Лакёр, терроризм — *болезнь демократии* (разительный пример — Испания после смерти Франко): в тоталитарных или хотя бы авторитарных странах не очень-то развернешься. Только за 1975-77 гг. в западном мире произошло около 4 000 похищений, совершенных, в основном, ле-

выми, но иногда и правыми экстремистами, выдвигавшими требования денежного (выкуп) или политического характера. В одной лишь Италии за первую половину 1978 года было зарегистрировано 1487 покушений, в результате которых 23 человека убито и 318 ранено. При этом становится трудно отличить по «почерку» профессиональных гангстеров от так называемых политических террористов, от тех, кто выдает себя за идейных борцов — во имя класса, нации или всего «прогрессивного человечества».

Увидев на экране телевизора или на газетной полосе труп Альдо Моро, обнаруженный в «рено» в центре итальянской столицы, неподалеку от штаб-квартиры его партии, любой нормальный человек не мог не испытать чувства ужаса и отвращения. Все-таки *они* его убили! Измучили длительной пыткой ожидания смерти, всяческими унижениями, издевательствами — и хладнокровно прикончили. И этот «подвиг» совершили итальянские «краснобригадчики», идейные братья немецких баадер-майнхофовцев, японских «красноармейцев», палестинских эль-фатаховцев и т. п. После такого поражающего своей тупой жестокостью, демонстративного злодеяния, которому могли бы позавидовать мастера из цеха Гиммлера-Берия, терроризм вступил как бы в высшую фазу. Это было уже похоже на объявление гражданской войны правительству*: ведь Альдо Моро был не обычным чиновником, журналистом, полицейским, банкиром или промышленником, символизирующим «большой капитал», — он был неоднократным премьером Италии, лидером правящей Христианско-демократической партии, так сказать, символом итальянского истеблишмента...

* А в 1979 г., во время предвыборной кампании в Италии, усилившийся терроризм прямо объявил себя «гражданской войной».

Какую же цель преследуют все эти террористические организации — выступающие под анархо-коммунистическими, сепаратистскими или национально-освободительными лозунгами? Всех их объединяет, несмотря на некоторые частные различия, стремление разрушить тот или иной общественно-государственный порядок; посеять страх, панику; путем насилия вынудить тех, кого они считают виновниками своих бед, пойти на уступки. Они постоянно провоцируют демократические правительства, ставя последние перед сложной дилеммой — либо уступить их наглým домогательствам, шантажу, угрозам, насилию, либо дать им соответствующий отпор и не нанести при этом ущерба существующим свободам. В Европе такая дилемма решается соответствующими законодательно-исполнительными органами пока сравнительно успешно, но в таких, например, странах (с куда более слабыми демократическими традициями), как Уругвай или Аргентина, тупамаросы, монтанеросы и иже с ними вызвали своими действиями лишь приход к власти военных диктатур...

Ясно, что без соответствующей финансовой базы террористы не смогли бы действовать с таким размахом. И такую базу им предоставляют «заинтересованные» страны, в основном, коммунистического блока, которые прямо или косвенно, с оглядкой и с опаской (как бы не занести — «эффект бумеранга»! — бациллы терроризма в собственный дом), под видом поддержки национально-освободительной борьбы или под другим соусом помогают тем, кто расшатывает своими действиями устои западного мира. Терроризм сегодняшнего дня стал поистине прибыльной индустрией. По подсчетам специалистов, некоторые террористические группировки располагают капиталом порядка 100-150 млн. долларов в год! Не будь столь обильных «вспрыскиваний», вряд ли был бы неулови-

мым воспитанник московского университета им. Лумумбы «легендарный» Карлос...

Терроризм наших дней отличается от терроризма, скажем, столетней давности не только несравненно лучшей финансово-технической оснащенностью, но и — прежде всего — *этически*. Ныне нет никакой гарантии, что какой-нибудь новоявленный кондотьер, странствующий из страны в страну и из организации в организацию, выполняя задание своей группы или по собственному почину, не применит в борьбе с «противником» не только портативное ракетное, но и портативное ядерное оружие. Ибо всех этих людей, помимо «революционных» намерений, объединяет поистине дьявольская ненависть к окружающему их миру, абсолютный аморализм, полнейшее презрение к тому, что Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Неизвестно, есть ли общая касса и боевой арсенал у нынешнего глобального терроризма, но у него бесспорно есть общие идейно-политические истоки, некий историко-теоретический опыт, который взят им на вооружение.

Столь ли уж глубока нравственная пропасть между «разрушителями старого мира» в прошлом, которые орудовали дедовскими средствами, и нынешними, действующими на базе современной научно-технической революции? Уолтер Лакёр (и не он один) ставит в пример сегодняшним террористам русских народо-вольцев и некоторых их последователей, которые, по его словам, предпочитали умирать сами, нежели убивать виновных, и были движимы любовью к людям. Терроризм, по его мнению, становится преступлением лишь тогда, когда он направлен против тех, кто сам никого не мучил, не убивал, кто сам по себе — не угнетатель, не палач и не диктатор (а именно таков терроризм сегодня). И все же... — попробуем вернуться к истокам, попробуем по возможности объективно

взглянуть на тех, кто некогда в России начал беспощадную террористическую войну с властью.

Поначалу все было как будто мирно... «Ведь русские мальчики как орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это же один чёрт выйдет, всё те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время...»*

Но вот 4 апреля 1866 года случилось неслыханное — среди бела дня в столице империи неизвестный совершил покушение на жизнь Александра II. Будучи схваченным, преступник отказался назвать свое подлинное имя: его личность установили случайно. Он оказался 26-летним дворянином, вольнослушателем Московского университета Дмитрием Каракозовым. Установили также его принадлежность к тайному московскому обществу Николая Ишутина, которое считало себя ветвью бакунинского «Интернационального братства» и ставило конечной целью, согласно докладу следственной комиссии, «путем революции ниспровергнуть существующий порядок в государстве». Каракозов был сторонником немедленных насильственных действий, вплоть до цареубийства, и действовал

* Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Собр. соч., т. 9. М., 1958, стр. 293.

на свой страх и риск. Его судили (вместе с другими ишутинцами) и приговорили к повешению...

Психологически неподготовленное к терроризму, общество в целом отнеслось к покушению Каракозова резко отрицательно. «Выстрел 4 апреля был нам не по душе, — писал в «Колоколе» Герцен. — Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую брал на себя какой-то фанатик. (...) Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Действия «фанатика» привели лишь к взрыву репрессий. Были закрыты «Современник» и «Русское слово», приостановили печатанье даже очередных глав «Преступления и наказания», хотя автор недвусмысленно осудил своего героя, «во имя идеи» переступившего через невинную кровь.

Если не считать неудачного повторения каракозовской попытки, предпринятого в следующем году в Париже польским эмигрантом Березовским, террор более чем на десять лет заглох, однако мысль о насильственных формах революционной борьбы давала уже первые ядовитые плоды. В конце 60-х годов в одной из неподписанных бакунинских брошюр периода женевской эмиграции — «Постановка революционного вопроса» — ставка делалась, в частности, на... разбойный мир: «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со времени основания московского государства отчаянным протестом народа против гнусного общественного порядка. (...) Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством...»

В марте 1869 г. в Женеву прибывает молодой Сергей Нечаев. Выдавая себя за представителя мифического революционного комитета и беглого узника Петропавловки, он приводит в восторг Бакунина и Огарева. И, хотя нечаевская программа «казарменного

коммунизма» противоречила бакунинскому анархизму, хотя Нечаев лишь упростил, извратил и приспособил к собственным нуждам мысли Бакунина о роли «разбойной» стихии в революции, Бакунин оказал Нечаеву (и без того полному разрушительных эмоций) дурную услугу. В брошюре «Начало революции» (по мнению Н. Пирумовой, автора книги «Бакунин», М., 1970, эта брошюра написана Нечаевым) доминируют две идеи: террор и допустимость любых средств для достижения революционной цели. «Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяния коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора с *исключением только его идеализма*, который мешал действовать как следует, с заменой его суровой, холодной, беспощадной последовательностью». «Данное поколение должно начать настоящую революцию (...), должно разрушить всё существующее сплеча, без разбора, с единым соображением 'скорее и больше'». «*Яд, нож, петля* и т. п.!.. Революция всё равно освящает в этой борьбе. (...) *Это назовут терроризмом! (...) Пусть! Нам все равно!*» (выделено мною. — В. Ч.).

В знаменитом нечаевском «Катехизисе революционера», наряду с кредо революционного аморализма («Нравственно все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему»), предлагается и программа тотального террора: «Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих».

До поры до времени призывы Нечаева и якобинско-бланкистского ткачевского «Набата» (основанного в 1875 г. в Женеве) «к насильственному нападению

на существующую политическую власть с целью захвата власти в свои руки» путем создания хорошо законспирированной иерархической организации не находили широкого отклика в революционной среде. «Земля и Воля» строит расчеты на массовой агитации и в 1876-79 гг. предпринимает «хождение в народ» (провал его укрепит террористические тенденции внутри народничества).

31 марта 1878 года петербургский окружной суд присяжных, заседавший под председательством А. Ф. Кони, оправдал Веру Засулич, выстрелом в упор ранившую градоначальника Ф. Ф. Трепова. Засулич мстила Трепову за его приказ высечь розгами политзаключенного Боголепова, который не снял шапку перед градоначальником при посещении им Дома предварительного заключения. По собственному признанию Засулич, она понимала, как тяжело поднять руку на человека, но была готова на этот шаг, чтобы даже ценой собственной жизни привлечь внимание к произволу.

Этот оправдательный приговор стал для революционеров как бы пробным камнем, проверкой отношения общества к подобным «выстрелам». Не случайно идеолог народничества Н. К. Михайловский назвал это событие началом политической борьбы в России. Либералы и прочие прогрессисты говорили о решении суда с восторгом, но такие люди, например, как Толстой и Достоевский, смотрели на это иначе. Толстой писал Страхову: «Засуличевское дело не шутка (...) Это первые члены из ряда нам непонятного». А Достоевский (присутствовавший на процессе) заносил в свою Записную тетрадь 1880-81 гг.: «Засулич — «тяжело поднять руку пролить кровь», — это колебание было нравственней, чем само пролитие крови».

Почти одновременно с Засулич к мысли о необходимости иных, «активных» политических форм борьбы приходят «южане» — Г. Попко, В. Осинский,

Д. Лизогуб (последние двое были вскоре казнены). По их почину в недрах «Земли и Воли» возникает Исполнительный комитет (который позднее воскресят народолюбцы) и намечается террористическое направление. Его сторонники и организовали вскоре убийство шефа жандармов Мезенцева. Исполнителем назначили Сергея Кравчинского. 16 августа 1878 года на Михайловской площади в Петербурге Кравчинский смертельно ранил Мезенцева ударом кинжала в грудь и скрылся. В октябре того же года в программной статье журнала «Земля и Воля» он разъяснял: «Террористы не более как охранительный отряд, назначение которого оберегать этих работников (пропагандистов. — В. Ч.)... от предательских ударов врагов». А в своей апологетической книге «Подпольная Россия» Степняк-Кравчинский писал в том же духе: «Нечего было и думать о взятии приступом твердыни царизма (...), нужно было обойти врага с тылу, схватиться лицом к лицу позади его неприступных позиций, где не помогли бы ему все его неприступные легионы. Так возник терроризм».

Весною следующего, 1879 года А. Соловьев предложил «Земле и Воле» собственноручно убить Александра II, причем *искупить грех цареубийства* ценою собственной жизни. По свидетельству В. Фигнер, после бурных споров руководящие деятели организации решили отказать в помощи покушению, «но индивидуально отдельные члены могли оказать ее в той мере, в какой найдут нужной». Соловьевское покушение, которому суждено было окончательно изменить политико-психологическую ориентацию землевольцев, было предпринято 2 апреля 1879 года и потерпело неудачу. Соловьев всю вину взял на себя и, подобно Каракозову, был казнен... В поведении Соловьева уже проявилась присущая людям его типа готовность *заплатить свою жизнь за смерть своей жертвы*. Недаром многие из них сравнивали свою судьбу с судь-

бою христианских мучеников, а казенный «бунтарь» И. Ковальский даже писал, что их борьба «выше, лучше, святее».

Обескровленная арестами и казнями, «Земля и Воля» была восстановлена упорными усилиями А. Михайлова, но после выстрела Соловьева действие центробежных идеологических сил логически вело организацию к расколу. Принципиально пересматривалась проблема методов и целей борьбы, отношения к государственной власти, роли политики в революционном движении. Теперь террор (по принципу «или-или») представлялся наиболее «нетерпеливым» одним из самых действенных средств войны с режимом — средством, которое якобы стимулирует борьбу, устрашая одних, воспитывая силою примера других. Как сказал бы Иван Карамазов, им надобно было немедленного «возмездия», «здесь уже, на земле», и чтобы они сами его увидели... Подобно Шигалеву, они словно ждали «разрушения мира, и не то что бы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого».

Раскол, назревавший в недрах «Земли и Воли», окончательно оформился после Липецкого и Воронежского съездов (июнь 1879) и привел вскоре к созданию двух самостоятельных организаций — «Народной Воли», стоявшей за активные (террористические) действия, и «Черного Передела», защищавшего мирные методы. После ряда тщетных попыток, 1 марта 1881 года народовольцы бомбой, брошенной на Екатерининском канале в Петербурге, убили Александра II — накануне утверждения им так называемой лорис-меликовской конституции. Первого, неудачливого метальщика — Рысакова — схватили, второй — Гриневицкий — погиб при взрыве вместе со своей жертвой.

Непосредственных участников и зачинщиков покушения осудили на смерть. «3-го апреля между 9 и 10

часами утра на Семеновском плацу в Петербурге, — извещалось в прокламации Исполнительного комитета «Народной Воли», — приняли мученический венец социалисты: крестьянин *Андрей Желябов*, дворянка *Софья Перовская*, сын священника *Николай Кибальчич*, крестьянин *Тимофей Михайлов* и мещанин *Николай Рысаков*». Интересно отметить, что Желябов, арестованный из-за предательства еще до покушения, потребовал накануне суда приобщить себя к делу 1 марта: «...если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности». И в постскрипуме: «...требую для себя справедливости», т. е. смерти на эшафоте. На суде по делу первомартовцев Желябов заявил, что «истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера». Перед казнью он поцеловал крест. Но, по глубокому замечанию Бердяева («Духи русской революции»), «сходство революционной святости с христианской есть обманчивое сходство антихриста с Христом» (подмеченное еще Достоевским!)*.

Бессмысленное злодейское убийство Александра II привело к торможению очередных реформ и к усилению реакции и было (по выражению Бердяева) «концом и срывом» самих народовольцев. И конец этот был очень скверным. Издавна разъедавший организацию — по самой ее централизованно-конспиративной природе — рак провокации, на этот раз в лице выдающегося провокатора Сергея Дегаева (действовавшего вкуче с начальником петербургской секретной полиции

* Вряд ли, однако, Бердяев был прав, говоря, в противоречие с этим утверждением, что Желябов «из русских революционеров был наиболее близок к христианству» («Истоки русского коммунизма»).

Судейкиным), доконал «Народную Волю». Убийство Судейкина по постановлению Исполнительного комитета (руками самого Дегаева и его подручных) 16 декабря 1883 г. и предшествовавшее ему убийство военного прокурора Стрельникова в Одессе (18.3.1882) были последними громкими террористическими акциями народовольцев.

Процесс 21-го (так называемый «лопатинский»), процесс 1 марта 1887 г. (по делу А. Ульянова и его сообщников), процесс Оржиха, Сигиды и др. в том же году и процесс Софьи Гинзбург (1890) были лебедиными песнями народовольцев.

Вплоть до начала нового, XX века о «большом» терроре было не слышно, пока он вновь не возродился в деятельности партии социалистов-революционеров, считавшей себя идейно-политической наследницей «Народной Воли».

14 февраля 1901 года бывший студент с.-р. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Боголепова, а осенью того же года с.-р. Григорий Гершуни, с благословения Е. Брешко-Брешковской, организовал особую боевую группу внутри партии с единственной целью террора, в котором «бабушка русской революции» видела пример «великой революционно-гражданской доблести». По согласованию с ЦК партии, группа после первого же террористического акта должна была быть названа Боевой организацией и получить фактическую независимость в проведении так называемого *центрального* террора.

Первой жертвой был намечен министр внутренних дел Сипягин. 2 апреля 1902 года молодой социалист Степан Балмашев, переодетый в адъютантскую форму, явился в Марииинский дворец и, встретив Сипягина, дважды выстрелил в него. В прокламации, озаглавленной «Боевая организация Партии Социалистов-Революционеров» (с подзаголовком «По делам вашим

воздастся вам»), заявлялось: «...незачем объяснять, почему казнен Сипягин. Его преступления слишком известны, его жизнь слишком всеми проклиналась, его смерть слишком всеми приветствуется». Такое выступление от имени «всех» звучало по меньшей мере нелогично, поскольку несколькими строчками выше авторы прокламации «скромно» именовали себя *сознательным меньшинством*: «...мы, сознательное меньшинство, считаем не только своим правом, но и своей священной обязанностью, несмотря на все отвращение, внушаемое нам такими способами борьбы, — на насилие отвечать насилием, за проливаемую народную кровь — платить кровью его угнетателей...». Авторы требовали немедленного прекращения производства политических дел, освобождения политзаключенных, «отмены всех исключительных законов и правил национальных и сословных ограничений и изъятий, свободы собраний, печати и слова», а также созыва всенародного Земского Собора... Степана Балмашева, отказавшегося просить о помиловании, казнили 3 мая того же года в Шлиссельбурге. Террор стал программным пунктом партии.

Вскоре в статье «Террористический элемент в нашей программе» можно было прочитать: «Мы — за применение в целом ряде случаев террористических средств. (...) Террористические удары должны быть делом организованным. Они должны быть поддержаны партией, регулирующей их применение и *берущей на себя нравственную ответственность* за них (выделено мною. — В. Ч.). Это сообщит и самим героям-борцам то необходимое моральное спокойствие, которое невозможно при действиях на свой личный риск и страх, без уверенности в моральной санкции и поддержке партии». Недаром Великий Инквизитор у Достоевского говорил, что человек ничем так не тяготится, как собственной свободой, свободой воли, свободой выбора!..

Идейно подчиненная партии, Боевая организация была независима от нее организационно: она получала от ЦК общие директивы относительно выбора места, времени и объекта очередного нападения — в остальном она была автономна, строго засекречена и имела собственную кассу.

После убийства Сипягина Гершуни скрылся из Петербурга и стал готовить покушение на харьковского губернатора князя Оболенского, «осужденного» за жестокое обращение с голодающими крестьянами. 29 июля 1902 г. рабочий Фома Качура стрелял в Оболенского, но промахнулся. После некоторого затишья, 6 мая 1903 г., член БО слесарь Егор Дулебов застрелил уфимского губернатора Богдановича. В том же месяце, после ареста Г. Гершуни, главой Боевой организации стал Е. Азеф, который обновил и состав так называемых боевиков, и технику террора: на смену револьверу пришел динамит. Лидер партии В. Чернов провозгласил, что «террор должен быть революционным применением наивысшего для данного момента технического знания». Осенью 1903 г., облеченный полным доверием (и будучи, как выяснилось позже, негласным сотрудником департамента полиции), Азеф готовит убийство министра внутренних дел Плеве. 15 июля 1904 г. боевик Егор Сазонов бросает бомбу в карету Плеве, убивает министра и сам тяжело ранен взрывом. Приговоренный к каторжным работам, он покончил с собой на каторге.

После убийства Плеве следует знаменитое покушение на Вел. Кн. Сергея Александровича, когда И. Каляев не метнул приготовленную бомбу, увидев, что великий князь едет в карете с женой и племянниками. Только двумя днями позже он подстерег, наконец, великого князя в карете одного и с расстояния четырех шагов бросил бомбу. Он уцелел, но, захваченный вихрем взрыва, видел, как в щепки разнесло

карету, видел, что осталось от великого князя... Это было 4 февраля 1905 года.

Готовились и другие акции «центрального» террора (покушения на Николая II и на П. А. Столыпина), но они не были осуществлены: по поводу взрыва дачи Столыпина в 1906 г. партия с.-р. заявила о своей непричастности (это было дело отколовшихся от партии с.-р. максималистов). В этот период — на словах — террор временно прекращали (в основном, из тактических соображений, после обнародования царского манифеста в 1905 г. и в связи с открытием 1-й Государственной думы, дабы не компрометировать эсеровскую думскую фракцию), на деле же и центральный, и местный террор не затихал никогда.

1908 год — год разоблачения В. Бурцевым Азефа — стал началом конца Боевой организации. Боевиков арестовывали, их акции лопались одна за другой. Так, 24 сентября провалилось намеченное нападение на «центр центров»: в этот день, во время смотра Николаем II крейсера «Рюрик», машинист Авдеев и вестовой Каптилович должны были убить царя, но у них не поднялась рука... Через два года новый руководитель Боевой организации Б. Савинков вновь пытался организовать покушение на императора, но в обстановке усиливавшейся слежки и общей деморализации, а также из-за тактических разногласий с ЦК он решилпустить летучий отряд и отправился за границу.

Бывший член Боевой организации В. Зензинов писал о боевиках («Пережитое», Изд-во Чехова, 1953): «Да, люди, бравшиеся за страшное оружие убийства — кинжал, револьвер, динамит, — были в русской революции не только чистой воды романтиками, но и людьми наибольшей моральной чуткости! Они шли на убийство человека лишь после тяжелой и долгой внутренней душевной борьбы, лишь после того, как сами приходили к убеждению, что все мирные средства ис-

черпаны и бесполезны». И он же: «В глазах русских террористов политическое убийство было последним и высшим актом человеческой активности во имя общего блага, актом справедливости прежде всего — и морально оно в глазах террориста могло быть оправдано до некоторой степени — только до некоторой степени! — лишь тем, что террорист отдавал при этом собственную жизнь».

Да, были некоторые судьбы, подтверждающие подобную оценку. Не случайно Ивана Каляева посетила в Пятницком арестном доме вдова убитого, великая княгиня Елизавета Федоровна, которая молилась вместе с ним и тщетно уговаривала подать прошение о помиловании. Журнал «Былое» в 1908 г. предсказывал: «И художник, и биограф найдут в Каляеве благодарный материал, чтобы в ярких красках обрисовать своим читателям его фигуру». В самом деле, уже на следующий год вышел в свет «Конь бледный» В. Ропшина (Ропшин — псевдоним Б. Савинкова), написанный на материале покушения на великого князя, с фигурой Ивана Каляева в центре.

Диалог между Ваней (Каляевым) и героем-рассказчиком Жоржем на тему «не убий», составляющий идейную сердцевину книги, по этической напряженности один из самых захватывающих в русской литературе после Достоевского. «Убить всегда можно», — утверждает Жорж, на что Ваня с волнением возражает: «Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу» (то есть обречь ее на вечную погибель).

И еще:

«— Ваня, Христос сказал: не убий.

— Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи. (...) Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм — рай на земле? Ну, а за любовь, во имя

любви, кто-нибудь на костре горел? Слушай, я верю: вот идет революция крестьянская, христианская, Христова. Вот идет революция во имя Бога, во имя любви. (...) Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому поднимаем меч. Не от силы своей поднимаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, они будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем...»

Терроризм — это довод слабых! — таково, по сути, важнейшее признание в устах террориста, свидетельство бесплодности данного движения, *аргумент тупика*.

Вопрос о том, можно ли противиться злу насилем, обращенный и к религиозному, и к атеистическому сознанию, — вопрос, от правильного решения которого зависит во многом будущее человечества.

О том, как на эту проблему смотрели сами террористы, мы уже вкратце упоминали. Индивидуальный террор они считали вынужденным. В своем заявлении (10.9.1881) Исполнительный Комитет «Народной Воли» резко осудил убийство американского президента Гарфильда, подчеркнув, что в такой свободной стране, как США, «политическое убийство, как средство борьбы — есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своею задачею. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия». Перед народовольцами как бы не возникало вопроса, *кто и на каком основании*, руководствуясь *какими* критериями, может присвоить себе право самосуда (исходя из собственных — быть может, ошибочных — представлений о «деспотизме»).

«Мы воюем не с личностью, а с принципом самодержавия, много раз заявляли народовольцы (...) Вот почему Маркс, говоря о развитии террористической

борьбы в России, подчеркивал, что *морализация в таком случае неуместна, так же как при землетрясении*» (выделено мною. — В. Ч.), — пишет в своей книге «Героический период революционного народничества» М. Г. Седов (Москва, 1966). В таком же духе размышляет, готовясь к царевубийству, и герой романа С. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» (1889): «Нравственное право и справедливость замышляемого не подлежали для него никакому сомнению», — говорит о нем автор.

Но был и есть иной — не политический, а метафизический — взгляд на проблему, сводимый к толстовской формуле «непротивления злу насилием». По словам Л. Толстого, для которого насилие было *абсолютным злом*, откуда бы оно ни исходило — «сверху» или «снизу», «одно из главных приобретений человечества — невозможность насилием и вообще убийством достигать своего совокупного блага» («О борьбе со злом. Письмо к революционеру»). «Доводы ваши сводятся к тому, — читаем мы в этом письме, — что человек, во имя любви к людям, может и *должен* убивать людей, потому что есть какие-то для меня таинственные или самые непонятные рассуждения, во имя которых люди всегда и убивали друг друга; те самые, по которым Каиафа нашел, что выгоднее убить одного Христа, чем погубить целый народ». И еще: «...как только правительства или революционеры хотят оправдать такую деятельность (противодействие насилию и убийству насилием и убийством. — В. Ч.) разумными основаниями, тогда является ужасающая бессмыслица, и необходимо нагромождение софизмов, чтобы не видна была бессмыслица такой попытки». «Нельзя огнем тушить огонь, водой сушить воду, злом уничтожать зло», — вновь и вновь повторяет Толстой («О непротивлении злу злом»).

Нынешние западные сторонники насильственных форм политической борьбы претворяют в жизнь тео-

рии своих учителей, над сознанием которых тяготеют стереотипы: «Парижская коммуна, русская революция, китайская революция». И, говоря о былом российском терроризме — терроризме без заложников, с «правилами», «границами» и «мотивами», мы, при всех скидках на историческую обстановку и общий более высокий духовный потенциал того времени, не станем утверждать, что *в высшем смысле* тогдашний терроризм был лучше теперешнего. Нет «плохого» и «хорошего» терроризма...

Напомню некоторые статистические примеры. Автор статьи «Максималисты» Н. В. Пятницкий («Возрождение», №116, авг. 1961), ссылаясь на авторитетные источники, приводит следующие данные о количестве жертв террористов с 1906 по 1908 год.

Годы	Число покушений	Убитых	Раненых	Всего
1906	4 742	1 387	1 725	3 112
1907	12 102	2 999	3 018	6 117
1908	9 428	1 714	1 955	3 669
Итого	26 272*	6 100	6 698	12 898

Автор упомянутой статьи приводит также цифры случайных жертв: из общего числа 12 898 — 7 652 человека, в том числе 96 детей. Нет, Каляевы явно не делали погоды!..

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что нынешние российские оппозиционеры в целом решительно выступают против террористических форм политической борьбы: достаточно напомнить хотя бы о неод-

* Итоговые цифры в большинстве строк и столбцов были неточны и пересчитаны нами на основе предположения, что опечатки не вкрались в исходные данные цит. статьи. — Прим. ред.

нократных заявлениях на этот счет — по разному поводу — академика Сахарова и некоторых других видных инакомыслящих. Показателен в этом плане и рассказ одного из бывших членов ВСХСОН Леонида Бородин «Вариант» (в кн.: Повесть странного времени. «Посев», 1978), где повествуется о подпольной молодежной организации в Ленинграде. «Шел не девятнадцатый век, а середина двадцатого, — пишет автор, — и они были не дворяне или разночинцы, а комсомольцы, но история повторялась, и они чувствовали это повторение, которое, как и всякое повторение, банально. Чувствовали, но из круга банальности вырваться не могли, и постепенно нагнеталось ощущение безвыходности и обреченности». Именно от этой безвыходности и обреченности, от сознания тупика (помните слова Вани из «Коня бледного» о поднимающих меч «от страха и слабости»?) руководитель группы Андрей (обрисованный отнюдь не в розовых тонах) предлагает участникам террористический «вариант», с которым соглашаются далеко не все, да и то от слабости или «за компанию». Сначала они, осуществляя план Андрея, обезоруживают (дабы раздобыть пистолет) милиционера и при этом в схватке невзначай убивают его, что действует на них подобно шоку; потом Андрей — по собственноручному приговору («за преступления против человечности») — «казнит» этим же оружием отставного подполковника КГБ. В итоге всех хватают, Андрей же бежит и при попытке задержания погибает в перестрелке. Чрезвычайно характерно его самопризнание в том, что, «поднявшись с пистолетом против стоголового дракона, он в бунте своем *храбр от отчаяния* (выделено мною. — В. Ч.), от бессилия, от страха перед неспособностью к чему-то большему, чем безумство»...

Между тем, нравственно-психологическая установка на ненасилие — отнюдь, и это следует подчеркнуть, не свидетельство пассивности или покорности, о чем в

свое время неустанно говорил Ганди, проповедуя ненасильственные несотрудничество и неповиновение. «Ненасилие в действии, — писал он в «Доктрине меча», — означает сознательное страдание. Это не есть покорное подчинение воле злодея, это есть *противопоставление всех духовных сил воле тирана* (выделено мною. — В. Ч.). Руководствуясь этим законом нашего бытия, один человек может бросить вызов всей мощи незаконно существующей империи и тем самым спасти свою честь, свою религию и свою душу». И, может быть, в том, что именно в России, впервые прошедшей через жесточайший террор «снизу» и попавшей под пресс невиданного террора «сверху», с каждым днем множится число людей, противопоставляющих тотальному насилию *лишь силу своего духа*, — может быть, именно в этом высший пример для истинных поборников справедливости во всем мире, для всех тех, кто стремится к подлинной свободе.

Этот номер уже находился в печати, когда мы узнали, что 2-го сентября от инфаркта скончался автор этой статьи (и статьи «Москва — Мехико» — в 15-м номере «Континента»), Володя Чернявский. Человек широко и разносторонне образованный, обладавший прекрасной памятью и огромной эрудицией, он всю жизнь посвятил литературному творчеству: был детским писателем (в СССР вышли три его книги), переводчиком, автором множества статей и очерков. Свою литературную деятельность он продолжил и в нелегких условиях эмиграции, публикуясь, как правило, под разными псевдонимами (так, в его переводе вышла книга Р. Гароди «Крутой поворот социализма»). Смерть его тем более горька для нас, что он ушел из жизни так внезапно, полный планов и замыслов, в расцвете творческих сил...

Мир праху твоему, Володя!

Редакция «Континента»

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Спорт и политика

Эмануил Штейн

КЕНТАВРОВЫ ШАХМАТЫ

Карпов — Корчной

В пропагандной борьбе, которую вело с югославскими отщепенцами сталинское руководство, не последнее место занимала шахматная страсть Иосипа Броз Тито. Внешне всегда невозмутимый маршал, кандидат в мастера по шахматам, довольно болезненно реагировал на одну из передач советского радио на Югославию, в которой утверждалось: «палач» братских славянских народов ничегошеньки не смыслит в игре мудрых. Ответный ход последовал незамедлительно: белградский диктатор вызвал своих московских коллег на сеанс одновременной игры, причем каждому из участников он готов был дать фору и соответствующее денежное вознаграждение в конвертируемых единицах. Вызов этот пришлось замолчать: даже в шашках тогдашний Президиум выше пятой категории не тянул...

«Коллегиальному руководству» теперь бояться нечего — если кто и вздумает бросить ему «шахматную» перчатку, поднимет ее член ЦК ВЛКСМ, орденоносец, близкий друг «бровеносного» Ильича, чемпион мира Анатолий Карпов. Это он в Багио, в самом жестокое и длинное матче за всю историю шахмат, одолел «предателя родины» Корчного, это ему держать скипетр власти над рыцарями гордой игры.

93 года прошло с первого восшествия на престол шахматного короля. 30 раз сражались шахматисты за лавры чемпиона, и лишь 12 счастливых вознеслись на Олимп. Матч А. Карпова, последнего из этой великой «дюжины», с претендентом — В. Корчным — стал третьим в истории первенств, когда за победу вели спор русские шахматисты, но за пределами России. Дважды до этого, в 1929 и 1934 годах, в разных немецких городах «выясняли отношения» два эмигранта — А. Алёхин и Е. Боголюбов.

Когда потухли прожекторы в зале Конгрессов в Багио, все вздохнули с облегчением — атмосфера нервного шока, крайне далекая от спорта, измотала не только участников поединка, но и зрителей, и журналистов, и организаторов. Противники нарочито демонстрировали свою неприязнь друг к другу, «запрещенные приемы» сменялись, как в калейдоскопе; тандем Зухар-Карпов, хотя и не кончал Ибанской Академии Засирания Мозгов, блестяще использовал преклонение Корчного перед астрологическими коллизиями и силой гипноза. Для Корчного филиппинское «противостояние» было, быть может, матчем последней надежды, который должен был, наконец, ликвидировать комплекс «страшного Виктора» и из «вечно второго» перевести его в желанные первые. Была это и борьба против шахматного истеблишмента батуринских, котовых, рошелей. Матч этот, наконец, был для претендента той амбразурой дзота, закрыв которую, он мог бы вырвать у «серых» заложников — свою семью.

Задача Карпова была, пожалуй, не менее сложной. Он «воевал» и за себя, и за родных, за свое возвращение домой, за право оставаться в номенклатуре (нетрудно себе представить, что в случае проигрыша положение чемпиона было бы намного хуже того, в котором оказался Спасский, уступивший Фишеру). Рыболовы Ибанючья перевыполнили всесоюзный план улова деликатесного мокрожопуса; Карпову, предста-

вителю класса «особых рыб», надлежало закрепить этот успех и выдать на-гора свою продукцию. Отступать ему было некуда, за ним не было Волоколамского шоссе, а только страшное всероссийское ибанство.

Эти доминанты и привели к тому, что в Багио честнейшая из игр лишилась своей многовековой нравственности, переродившись в «мениппейные, кентавровы» шахматы со своей гладиаторской шкалой ценностей, при которой конфликт неминуемо кончается трагедией. Шахматоведение, несмотря на богатейшую литературу об игре, фактически делает свои первые, очень робкие шаги, поэтому аналогия с античным жанром представляется уместной: ведь и в древне-еврейском «Гакрабе» до конца не разрешен спор между возвышенной поэтикой и страстями фигур-символов. Эти новые шахматы соединили в себе глубину мысли с отсутствием элементарного киндерштубе, товарищество с предательством, гангстерство с пресловутым детантом. Лапидарная суть этих шахмат может быть скорее всего определена не *как*, а *для чего* играют гроссмейстеры, то есть — «цель оправдывает средства». Борис Спасский, ведя в матче с Робертом Фишером со счетом 2 : 0, имел моральное право покинуть поле боя, но он предпочел спортивную схватку до конца. Было это всего лишь семь лет назад, теперь же рыцарство в мировых шахматах вызывает в лучшем случае ироническую улыбку. Деграция этических принципов шахмат подытожена Карповым в «трех основных частях» — «Я ненавижу Корчного!» И борьба за «мениппейно-кентаврову» шахматную истину ведется всеми силами; истина эта не в вине, а в «сухом» очке, которое цековские алхимики превращают в награды, деньги, жизнь...

Даже филиппинская природа возмутилась крушением канонов шахматного братства, сопровождая матч в Багио зловещим аккомпанементом. Вулкан Булосан, расположенный в центральной части архипе-

лага, извергал лаву, а на севере страны пронесся тайфун, который повлек за собой человеческие жертвы.

Шахматный спектакль, поставленный на сцене зала Конгрессов в Багио осенью прошлого года, был обставлен небывалой психологической бутафорией. Ее составили тренерский коллектив Карпова, временами достигавший 30-ти человек, «Интернационал», по воле «хозяев поля» ставший гимном СССР, «мебельная война» и очки претендента, йогурт Карпова и государственное таможенное управление, «война штандартов» и два члена индийской секты Ананда Марга. «Примадонной» же этого шахматного бенефиса стал советский парапсихолог В. Зухар.

Не будем, однако, спешить отдавать приоритет в психологических изысканиях кентавру Зухар-Карпов. Пионером психологической окраски шахмат, скорее новатором в постижении их метафизической сути, стал русский гений Александр Алехин. Правда, его первые опыты на этом поприще по сравнению с нынешними «достижениями» кажутся игрушками для детей дошкольного возраста. В 1935 году он заставлял своего сиамского кота обнюхивать доску и фигуры перед очередными партиями с голландцем Максом Эйве. Алехину метафизика, кстати, не помогла, он уступил тогда звание сильнейшего, а через два года, отказавшись от психологических трюкачей, с честью вернул себе чемпионские доспехи.

Психологическая стратегия поединка в Багио предполагала целый ряд предматчевых демаршей. Первой начала «артподготовку» армия Карпова. Советская делегация воспротивилась тому, чтобы Корчной выступал под швейцарским вымпелом — под флагом страны, в которой он проживает. Правда, в течение всего матча претендент демонстративно носил на отвороте пиджака эмблему Швейцарии. Однако не «флаговая» баталия явилась решающим достижением советской стороны в предматчевый период: более зна-

чимым успехом был практический переход в лагерь Карпова главного организатора чемпионата Флоренцио Кампоманеса.

Устроитель шахматного сражения — это громадная, зачастую и решающая сила. Он создает «антураж» поединка, может непрерывно подчеркивать, что не он для игроков, а они для него; если необходимо, ввести электронное подслушивание. Советскую делегацию Кампоманес встретил в манильском аэропорту и вместе с ней прибыл в Багио. Корчного же никто не встречал. В связи с матчем на звание чемпиона мира правительство Филиппин открыло границы для всех шахматных болельщиков, предоставив им возможность быть в стране без визы в течение 59-ти дней. По сравнению с «олимпийской» политикой СССР — это зеленые пальмы демократии, но... Задолго до первого хода в сражении таможенное управление страны задержало книгу В. Корчного «Шахматы — моя жизнь». Автобиография гроссмейстера была издана по-английски, в течение всего матча Кампоманес продержал книгу на границе, в продажу она поступила уже после чемпионата.

На книжный «ход» претендента издательство «Физкультура и спорт» ответило тем же. В канун встречи Корчной — Карпов оно выпустило из печати книгу последнего: «Избранные партии 1969-1977». Произведение чемпиона мира начинается такой преамбулой: «Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи, пребывание в рядах которого помогло формированию моего общественного сознания, становлению характера и стремлению к высоким целям, посвящая». Даже друг и учитель всех шахматистов мира, великий языковед не требовал от своих верноподданных таких панегириков.

Как только спутники Карпова узнали, что Корчной привез с собой на матч кресло, в котором можно легко то отклоняться назад, то подаваться вперед,

они затребовали «мебель» для лабораторного анализа. Рентгеновские лучи ничего не обнаружили. Точно такой же результат показал в 1972 году анализ кресла Р. Фишера во время его встречи с Б. Спасским. Напомнить следует, что регламент матча не оговаривал качества кресел, а лишь форму фигур и часов.

Статья 4.25 Положения ФИДЕ о проведении личных чемпионатов мира говорит о том, что во время церемоний торжественного открытия и закрытия поединка должны быть исполнены гимны Международной шахматной федерации, стран, которые представлены игроками, и страны-организатора. Закон этот в Багио был нарушен, и для Корчного вместо гимна Швейцарии исполнялась часть Девятой симфонии Бетховена. Но и звуков, ассоциирующихся у нас со словами «Союз нерушимый республик свободных...», не раздалось тоже: филиппинский военный оркестр перепутал и сыграл «Интернационал», при исполнении которого Корчной не поднялся со своего места. Возможно, что в этой гимновой чехарде была какая-то мистическая суть: ведь торжество открытия матча состоялось как раз в 60-ю годовщину умерщвления Короля, правда, не на шахматной доске, а в Ипатьевском особняке...

Организаторы матча взяли на себя расходы, связанные с содержанием руководителей делегаций гроссмейстеров, четырех тренеров и лечащих врачей. Карповское же окружение, состоявшее из 30-ти человек, должно было постоянно напоминать Корчному о том, что в «сила города берет!» есть своя сермяжная правда. Бой за время претендент тоже проиграл — было решено, что партии будут начинаться не в три часа дня, как того требовал Корчной, а на два часа позднее, как это было удобнее Карпову. Гроссмейстер-невозвращенец ответил на это ударом: его штаб заявил, что у претендента на вооружении имеется детектор, способный обнаруживать... гипнотические волны.

Прелюдия к матчу, исчерпав себя, подходила к концу — можно было, наконец, сесть за доску, но оказалось, что и у Кампоманеса тоже случаются накладки: организаторы забыли согласовать с гроссмейстерами тип шахматных фигур. Соперники предпочли «Стантон», но таковых шахмат в Багио не оказалось. Специальный самолет из Манилы привез их за 10 минут до начала игры.

Величайший шахматный оптимист всех времен Ефим Боголюбов любил повторять: «Я выигрываю, потому что у меня белые. Если же я играю черным цветом, то я побеждаю, потому что я Боголюбов!» Первая же партия матча Карпов — Корчной показала, что в этом поединке не цвет фигур будет превалирующим фактором, а нечто иное, чему еще не дано точной дефиниции. Кстати, по предложению Карпова, мир был подписан уже на 18-м ходу. Этот финал американский гроссмейстер Роберт Бирн прокомментировал предельно точно: «Противники создали крайне опасную позицию... для болельщиков. Зрителей сковала дремота...». Поскольку победителем в матче считался тот гроссмейстер, который первым добьется шести побед (ничьи в зачет не принимались), то и вторая бесцветная ничейная партия ни к чему противников не привела, если не считать ... йогурта.

Дело в том, что во время этой партии, по просьбе В. Батурина, на столике Карпова оказался стакан с подозрительным содержимым... Руководство группы претендента потребовало от судейской коллегии ограничения потребления чемпионом мира йогурта. Делегация Корчного усмотрела в молочном продукте ход к разрешению ряда шахматных проблем Карпова. Главный судья матча, гроссмейстер Лотар Шмидт, принял решение, по которому йогурт должен был подаваться чемпиону мира единожды — в 7. 15, причем до начала партии должен был быть согласован его цвет и вкус. Через несколько дней после этого решения

Корчной потребовал, чтобы официант, обслуживающий Карпова, в то же самое время подавал и ему, но не йогурт, а икру. Обе стороны остались довольны, кроме официанта, которому ни чемпион, ни претендент так и не дали чаевых.

Подавляющее большинство журналистов, как советских, что понятно, так и западных, считало, что в «буре в стакане» йогурта виновен лишь претендент, что его молочные претензии не стоят выеденного яйца. Пишущая братия априори отметала возражения, что белый цвет содержимого в стакане чемпиона может означать угрозу по линии «Б», желтый — опасность по вертикали «Ж» и т. д. и т. п. Монреальское жульничество чемпиона мира и олимпийских игр 1972 г. по современному пятиборью, коммуниста Бориса Онищенко было, как по мановению волшебной палочки, забыто, несмотря на то, что телевизор запечатлел обман для зрителей многих стран. Да, да, А. Карпов не Б. Онищенко, но шахматный король был под неустанной опекой КГБ, то бишь Батурина и Ивонина, а уж те толк в спорте знают. Корчной, конечно же, помнил, как именно КГБ «делало» матчи советских хоккеистов с канадцами в Москве. Сначала всеильные органы телефонными звонками старались вывести из себя заморских гостей. Не помогло! Три оперативные группы тогда успешно применили «воровской» вариант и похитили у канадцев их мясной запас, привезенный специально из Канады, что-то около полутора центнеров. И что вы думаете? Желудок-то и сломал боевой дух спортсменов из страны кленового листа. Сотрудники Комитета госбезопасности за это мероприятие получили награды и ... попали в книгу Джона Баррона «КГБ». Вот и верь в йогуртную честность советской делегации.

Шахматный мир знает множество призов, включая награду за красоту проведенной партии. Увы, никто еще не додумался отмечать «блефование». Если

бы было наоборот, то за пятую партию чемпион мира должен был получить подобную награду: на 55-м ходу он смело ринулся своим королем в матовую сеть; Корчной, не ожидавший такой дерзости, растерялся, и партия продолжалась вплоть до 124-го хода, несмотря на то, что на доске после второго откладывания стояла ничейная позиция, известная в теории по имени ее аналитика Раузера. И опять громы и молнии посыпались на голову Корчного — нельзя-де так тянуть доигрывание, выжимать воду из камня, стремиться к не весьма почетному монументализму. Оказывается, и шахматная память скоротечна: абсолютный рекорд по продолжительности игры принадлежит аргентинцу Пильняку и израильянину Черняку, их партия продолжалась 23 часа и закончилась ничейным результатом на 191-м ходу.

На доске во время шестой партии борьбы почти не было, но она с небывалой силой развернулась перед пуском часов. Бой разгорелся вокруг советской «новинки» — парапсихолога В. Зухара. С самого начала матча Зухар не только занимал одно из центральных мест в первом ряду кресел, но и был тенью Карпова, всюду сопровождая шахматиста. В своем протесте Корчной утверждал, что Зухар — гипнотизер и силой своего психологического воздействия лишает его нормальных условий борьбы. Во избежание ненужных эксцессов Лотар Шмидт принял решение, ограничивающее действия советского парапсихолога, — в зрительном зале последний мог пользоваться любым местом не ближе девятого ряда.

Бедный Лотар Шмидт! Запомнил он, что и над попом есть поп, — апелляционное жюри матча, собранное по инициативе советской стороны, тремя голосами против двух аннулировало решение главного судьи, и Зухар опять начал свободно дефилировать по залу. Семь первых партий матча закончились, однако, вничью.

Перед восьмым поединком представитель ТАСС Александр Рошаль оповестил журналистов, что он проведет короткую пресс-конференцию, которая, однако, начнется через полчаса после старта тура. А на сцене тем временем была продемонстрирована вторая «заготовка» Карпова: он отказался от традиционного рукопожатия, тем самым нарушив элементарные нормы этики и показав, что ему незнакомо чеховское «протянутую руку надо пожать». Поведение Карпова Рошаль мотивировал тем, что в своих предматчевых интервью Корчной оскорбил не только чемпиона мира, но и его друзей, Батуринского и Таля. Вопрос журналистов о том, почему реакция Карпова так запоздала, коль скоро высказывания претендента были известны уже давно, — оказался для Рошалья нокаутирующим, ему нечего было сказать, в этот момент спас его Карпов, который к тому времени добивал противника. Оказалось, что Корчной хуже перенес игру нервов и очень быстро, на 28-м ходу, в партии было все кончено.

Реакция Корчного на проигрыш последовала молниеносно. Он потребовал, чтобы мирные переговоры велись не между игроками, а только через главного судью. Следует отметить, что в первых четырех партиях с ничейными предложениями выступал Карпов.

После того, как счет в матче стал 3 : 1 в пользу Карпова, было ясно: чтобы сохранить шансы, Корчной в следующей решающей партии должен будет победить. Пятнадцатая и шестнадцатая схватки никому не принесли успеха. Но вот настало 26 августа — страшный день и семнадцатая партия. Часы начали свой бег, а претендент и не думал садиться за столик. Он потребовал удаления Зухара из пятого ряда. Протест Корчной обосновал тем, что газета «Советский спорт» в одном из репортажей с матча назвала В. Зухара членом делегации чемпиона мира Карпова, а места членам обеих делегаций были отведены в глубине

зала. Организатор турнира Кампоманес принял «соломоново» решение: он освободил от зрителей первые шесть рядов кресел. «Пересадка» продолжалась 11 минут, и только после ее завершения гроссмейстер-невозвращенец сделал первый ход. Одиннадцать минут были Виктором Корчным потеряны, а с ними практически и шансы на победу в матче. В начале миттельшпиля этой трагической партии он получил выигрышную позицию — подкравшийся, однако, цейтнот стал его вторым врагом. К последним тринадцати ходам Корчного можно поставить вопросительные знаки. Перед контролем времени претендент ошибся еще раз, и Карпов еще более увеличил разрыв — 4 : 1. «Жертва» Корчного в одиннадцать минут была воспринята в Багио как акт шахматного самосожжения. А как же еще мог бороться с Зухаром Корчной?

Кто же он такой, этот «темный гений»? Какова его роль в борьбе за мировое первенство? Влиятельнейший американский журнал «Ньюсуик» на эти вопросы ответил броской «шапкой» — «Победа Зухара-Карпова». В интервью, проведенном автором этой статьи с Корчным, гроссмейстер пояснил, что имел в виду вашингтонский журнал: «Зухар — техническая новинка, подготовленная советскими к матчу с Фишером. Шахматист, находящийся в гипнотической связи с врачом, который внушает больному, что он играет, как, например, Фишер и Алехин, вместе взятые, играет на голову сильнее! Был и некоторый парапсихологический эффект — негативное влияние врача на меня, но его, силу этого эффекта, не следует переоценивать. В итоге — Карпов выиграл пять партий, играя вместе с Зухаром, и только одну без него. Этого кентавра с головой Зухара и телом Карпова не так просто осилить».

Советский парапсихолог до и во время Багио выполнял историческую миссию (без йоты иронии): для народа он лепил национального кумира, для партии

же стремился вывести на подмостки сцены богатыря, но вскормленного не «молоком дикого зверя», а замешенного на самых чистых, номенклатурных дрожжах. Именно Анатолий Карпов, с помощью Владимира Зухара, должен был заполнить тот духовно-престижный вакуум, который образовался в советской шахматной жизни после скандального матча СССР — Сборная мира 1970 года, после проигрыша русского Спасского «бруклинскому мальчику» Бобби.

Воспользовавшись двумя причитающимися ему тайм-аутами, Корчной уехал в Манилу. Путешествие в столицу Филиппин освежило его, дало возможность приступить к дальнейшим схваткам с новой энергией и верой в свои силы. В этом ему должны были помочь Михаил Драир и Виргиния Шеппард, члены особой спиритуальной группы Ананда Марга. Недолго они, однако, посвящали Корчного в тайны абсолютной медитации — все тот же Кампоманес добился того, что они были выдворены из турнирного зала. Основание: по делу сектантов в то время филиппинскими властями велось следствие.

После матча Корчной признался: «Я не сумел овладеть искусством медитации. Вот упражнения йоги мне серьезно помогли». Возможно, что трансцендентное созерцание не подчинилось гроссмейстеру, но все то, что творилось в матче в период от 18-й до 22-й партии включительно, превзошло любой театр абсурда. Увертюрой к этому периоду послужило джентльменское соглашение двух лагерей, по которому Карпов гарантировал, что Зухар будет находиться в самом конце зала, а Корчной перестанет пользоваться очками, которые раздражали чемпиона мира. С подписания договора с Батуринским и К^о начался абсурд, который должен был привести Карпова к быстрой победе. Партии 18-20 прошли с подавляющим перевесом советского гроссмейстера, и по существу в это время матч мог бы закончиться сокрушительным разгро-

мом — 6 : 1. Однако шахматная дриада решила по-иному, и претендент трижды спасался в ничейной гавани. В «очковом» 21-м поединке с помощью самого Карпова Корчной добивается важного успеха. В следующей партии чемпион мира имел все основания рассчитывать на успех, но тонкая защита претендента развеяла эти надежды. Боги на Олимпе покинули своего дитя и обратили внимание на пасынка; говоря без метафор — игра у Карпова не шла, что-то сломалось в прекрасном шахматном дизеле.

Трагедию художника Карпова в этот момент можно объяснить попыткой соединить воедино разрозненные вертикали и горизонталы черно-белого мира, или, по-белинковски: «Великие книги были испорчены своим назначением, переплетами, ценой, величиной и праздниками». Слова эти не столько о книгах, сколько о тех, кто их создавал. Почти классический стиль художника не только потерял свой обычный блеск — он просто деформировался под тяжестью того давления, которому его подверг «коллектив»: отточенная техника отупела, компьютерное прогнозирование сменилось зияющими провалами. Массы стали пожирать творца.

На 27-м этапе шахматного марафона чемпион мира вплотную приблизился к заветной цели — он заслуженно и красиво победил. Быть может, выигрыш этот, подобно свободе, требовал платы. Рассчитываться пришлось, не отходя «от кассы», — две следующие партии закончились в пользу Корчного, и разрыв в счете (5 : 4) сократился до минимума.

Шахматные обозреватели во многих странах мира (но не в СССР) в унисон заголосили: двух партий подряд Анатолий Карпов никогда не проигрывал, это-де первый срыв в его блестящей карьере. Факты же говорят о другом. На финише полуфинала СССР 1967 года Карпов уступил и Л. Григоряну, и А. Бокучаеве. Второй раз? Пять лет тому назад в секретном матче все

с тем же Корчным он сдал и четвертую, и пятую партии (поединок этот в стране был полностью замолчан).

В 30-й по счету схватке Карпов с позиции силы продиктовал мирные условия. Доигрывание очередной партии сложилось для чемпиона мира крайне неудачно, он не использовал ряд ничейных продолжений и на 71-м ходу капитулировал. Счет стал равным — 5 : 5. В матче возникла ситуация фарса, когда будущий победитель оказался в роли побежденного. Потрясенный спуртом Корчного, Карпов обращается в судейскую коллегию с протестом против секты гуру — член ЦК ВЛКСМ испугался черной магии. Феноменальное «пять — пять» стало не только спортивным равновесием, но и идеологическим — оказалось, что невозвращенец, лишенный семьи и родины, зачастую окруженный стадом «носорогов», находясь в условиях свободы, может творить невозможное.

17 октября 1978 года Анатолий Карпов выиграл 32-ю, последнюю партию и с нею, со счетом 6 : 5, и весь матч. За ходом этого важнейшего поединка из четвертого ряда наблюдал В. Зухар. Чемпионские лавры остались в Советском Союзе, а грудь гроссмейстера украсил орден Трудового Красного Знамени. Чествование национального героя превзошло все ожидания; однако, думаю, мне, знает Анатолий Карпов — сегодня он полубог, а завтра жертва, которую не спасет даже умение вести нешахматную борьбу за «выживание». Расставим знаки препинания: при счете в матче 5 : 5 гроссмейстер Суэтин по поручению высших инстанций вел подготовку общественного мнения, что Карпов — это разухабистый мальчишка и крайне опрометчиво подошел к вопросу формирования своего тренерского состава, не хватало ему выдержки и вообще подучиться не мешало бы. Победная партия Карпова автоматически свернула эту акцию.

Филиппинский матч на звание чемпиона мира по шахматам заметно обогатил теорию игры, однако он превзошел все известные рекорды по количеству ляпсусов, психологической фантазмагии. Бесспорно одно: поединок в Багио придал блеск российской словесности, пополнив ее эпистолярные сокровища. За две тысячи лет истории прекраснейшей из игр не было ни одной книги, которая начиналась бы телеграммой и краткой эпистолой бы заканчивалась. Книга «Девятая вертикаль», в которой вместо фамилий авторов? автора? стоит: «Ленинскому комсомолу — в год его 60-летия», на своей первой же странице знакомит читателя с обращением Л. Брежнева к А. Карпову. Венчает издание ответ чемпиона, из которого мы узнаем, что «матч на звание чемпиона мира по шахматам закончился *нашей* (курсив мой. — Э. Ш.) победой». Возможно, что «наша» и означает — не миновать Леониду Ильичу гроссмейстерских регалий. Читают маститые советские письменники «Девятую вертикаль», и ох, как же завидуют Карпову: книга была сдана в набор 7 августа 1978 года, а подписана к печати уже 4 октября — меньше двух месяцев! Рекорд из рекордов!

Благодаря матчу, самый что ни на есть рядовой советский читатель получил возможность ознакомиться с... «Новым Русским Словом», газетой, вот уже 69 лет издающейся в Нью-Йорке. Главный специалист по эмигрантским делам Л. Колосов в московской «Неделе» от 13 ноября прошлого года опубликовал статью «За кулисами Багио». Хотя и с ужасными передержками, он все же вмонтировал в свой опус 23 строчки из интервью Корчного, данного автору этой статьи для русской газеты в Америке. Такого ценного пропагандиста, как Л. Колосов, зарубежная русская журналистика еще не имела.

В проигрыше от филиппинских сражений остались, однако,... американцы. Сразу после матча пуб-

лицист Арт Бухвальд, некогда довольно известный в СССР, обратился в советское посольство в Вашингтоне за билетами на московские Олимпийские игры. Он был проинформирован, что места в *четвертом* ряду на все соревнования уже распроданы, хотя официально кассы лужниковского стадиона открывались через полгода. И понял тогда знаменитый публицист, что *четвертый* ряд может выиграть Олимпиаду, этот *ряд* может заставить американских легкоатлетов ползти по беговым дорожкам, пловцов погружаться на дно бассейнов, гимнастов травмировать, в Москве все возможно!

Сразу после финала в Багио соперники перелетели в Буэнос-Айрес, где в то время стартовала 23-я мужская всемирная шахматная олимпиада. Советская команда крайне нуждалась в помощи своего лидера и его тренера, экс-чемпиона мира Михаила Таля. Бои на Филиппинах их настолько измотали, что вновь сесть за доску было выше их сил. Корчной же возглавил швейцарцев и не только принес своей команде 9 очков из 11-ти возможных, но стал победителем на первой доске. Успех этот автоматически сделал его героем Олимпиады. Второй шахматист мира так объяснил свое аргентинское достижение: «Матч с Карповым — это были не шахматы, а чёрт знает что! Я истосковался по нормальной игре — без Зухара и агентов КГБ, держащих палец на курке, пока ты думаешь над ходом. И потому через 12 дней после матча я приступил к шахматной игре и убедил мир и убедился сам, что играю неплохо!»

Убедил мир Корчной и в беззаветной преданности своему искусству. Сборная СССР впервые проиграла всемирную Олимпиаду, пропустив вперед напористых венгров. Но, если бы не гроссмейстер-невозвращенец, быть бы советским спортсменам на третьем месте. В последнем туре Америка сыграла с Швейцарией вничью — 2 : 2, на первой доске Корчной победил Кава-

лека. Проиграй претендент эту партию (как минимум дележ первого места на доске лидеров ему в это время был обеспечен), команда СССР, при равенстве очков с американцами, откатывалась бы назад. Спортивная честность Корчного оказалась превыше всего, и советские шахматисты избежали худшего...

За Багио, Буэнос-Айресом наступает Барселона. 12 лет тому назад шахматы сроднились с кино, два вида искусства стали своеобразными побратимами. С 1967 года игра тысячелетий получила равные права с экраном — своего Оскара. Пять последних лет серебряная статуэтка девушки, символизирующая столицу Каталонии, находилась в руках победителя, чемпиона мира. 6-го февраля с. г. 64 журналиста из 22-х стран мира, входящих в Международную федерацию журналистов, пишущих на шахматные темы, присутствовали на церемонии вручения Виктору Корчному. Анатолий Карпов занял следующую ступеньку почета.

Разъяренный такими «вольностями дворянства», шахматный кентавр ринулся в бой. Его действия отличали целеустремленность и настойчивость. Кого нужно, советская шахматная федерация купила, кого можно было запугать — запугала, и Виктор Корчной оказался в почти полной изоляции, его не пригласили на крупнейшие турниры наших дней — в Вийкан-Зее, Мюнхене, Монреале. От таких «шахов» — ударов спастись крайне трудно, хотя их значительно легче перенести, чем те преследования и унижения, которым подвергаются в Ленинграде заложники — Белла Корчная и ее сын Игорь.

На шахматном небосводе заблистала новая яркая звезда: 15-летний бакинский школьник Гаррикс. Советский истеблишмент сразу же завладел им, предложив мальчику Вайнштейну более благозвучное имя — Каспаров. Первая сдача еще не окрепшего художника состоялась. Гениальный Борис Спасский куплен и раздавлен ежемесячными советскими подачками. Кто

следующая жертва? Неужели Корчиому воевать в одиночку? Неужели кентавр всемогущ?

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
69-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев
Воскресное издание — только 35 дол. в год
Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ИСКУССТВО

Вадим Нечаев

ИСТОРИЯ ОСКАРА РАБИНА

Картины уже были развешены по стенам. Выставка солидарности с венецианским Бьеннале-77 должна была открыться 15 ноября у нас дома. Накануне я вылетел из Ленинграда в Москву. Телефон у Оскара Рабина был отключен, и мое появление в час ночи было полной неожиданностью. А он как будто и не удивился, обнял за плечи и ввел в квартиру.

Я помнил молчаливого и сосредоточенного Рабина на похоронах его друга, ленинградского художника Жени Рухина. Вскоре после этого он написал свое «Чертовое колесо». Несколько кабинок взлетело над Преображенкой, где блочные дома соседствуют с деревянными домишками, где Рабина неоднократно таскали в «родное» 30-е отделение милиции. Кабинки неожиданно ассоциируются с иконными клеймами — по композиции равнозначных сюжетов и метафорических сцен. В одной из кабинок — вывеска «Закрыто на учет». В другой — тюремная камера. А рядом два пьянчужки: улыбающийся рабочий в кепочке и мрачный демобилизованный в ушанке со звездой... Еще в одной — советская «голая», бытовая эротика. В самой же верхней — Женя Рухин в гробу, а над ним икона Богородицы с Младенцем.

Впоследствии комиссия Министерства культуры не разрешила вывезти эту картину на Запад. Эту и еще

Глава из готовящейся книги «Вторая культура», сокращенный вариант.

четыре. На каждое рабинское «Почему?» лаконично отвечали: «Нет». И на «Помойку №8», за которую когда-то досталось художнику от «Комсомольской правды», была наложена эта резолюция — «Нет!». И на «Паспорт», и на перелетающие через границу избы, и на «Тупик имени Иисуса Христа»...

Но это будет месяцем позже, а в ту ночь Рабин был непривычно живой, веселый, ироничный. Я сказал ему, что в Ленинграде открывается выставка в поддержку Бьеннале, что через десять дней мы перевезем ее в Москву, что мы — в кольце, независимая культура в блокаде, а выставка — прорыв блокады...

— Я понимаю, — грустно сказал Рабин, — но я не могу, — и вместо ответа на мой вопросительный взгляд показал заграничный паспорт: — Я хочу наконец-то увидеть Париж...

С утра Оскар стал к мольберту, а после обеда показывал мне холсты, которые решил взять с собой. Они выстроились вдоль стен, словно роща. Бараки, зеленоглазые коты, рыбины, обведенные черным контуром, огромная, опрокинутая навзничь кукла, похожая на мертвого ребенка, фонарь на улице Пресвятой Богоматери, перелетающие и падающие за советскую границу избы, цветы в деревне Софронцево... И, глядя на мою любимую работу, где черный провал в ряду кособоких, заколоченных деревенских домов отражается в пруду церковью, невидимым градом Китежем, последней надеждой, — я подумал, что картины Оскара Рабина уже стали классикой.

У людей, как у народов, бывает история и пред- история. История Оскара Рабина, на мой взгляд, начинается 15 сентября 1974 г., хоть он и был уже отцом семейства и сложившимся, ценным художником. Что же привело его вместе с друзьями и единомышленниками на Беляевский пустырь?

Родился Рабин в 1928 г. в Москве. Отца потерял рано. Мать умерла в начале войны. Изредка помогали тетки, но, по существу, он остался один. Он болтался по пустым улицам, искал хоть каких заработков. Тогда и сложился его независимый характер, склонность к отшельничеству. От одиночества его спасла страсть к рисованию. Он попал в студию Е. Л. Кропивницкого, художника, поэта и музыканта. Евгений Леонидович учил своеобразно: не тому, как писать картину, но тому, какой она должна быть, тому, что картина живет иной жизнью, чем изображенные на ней предметы, и что линии и объемы имеют свой смысл и ждут раскрытия. Вместо поучений он предпочитал поехать с полуголодными мальчишками за город, в лес, печь картошку на костре, читать стихи, философствовать...

Уроки Кропивницкого сказались позднее, но сама встреча с ним была удачей Оскара. Чудо, что Кропивницкий выжил в сталинскую эпоху. Самобытный ум, крутой характер, злой язычок, постоянное экспериментаторство выделяли его из породы людей-селедок. Спасло его, наверно, то, что он не искал официального признания и жил уединенно. Вместе с женой, Ольгой Ананьевной Потаповой, тоже художницей, занимали они комнатку в разваливающемся деревенском доме, жили в нищете. В комнате помещалась печка, две кровати, два мольберта да малюсенький столик. Здесь-то позже, в 50-е годы, и создавалась Лианозовская школа. Ольга Ананьевна, необыкновенно терпимая и мягкая, всем все прощала, всех понимала и утешала. Сам Кропивницкий был резок в спорах и оценках. В молодости он учился в Витебске у Малевича и работы своих молодых учеников оценивал по меркам мировой культуры. Это не мешало дому их быть центром притяжения для молодых художников и поэтов.

Уехав в конце войны в Ригу и проучившись там три года в Академии художеств (учитель его, Лео

Свемп, был поклонником уже опальных импрессионистов), Рабин не выдержал тоски по Москве и вернулся. Без прописки, бездомный, полтора года он скитался, работал разномером, грузчиком. В 21 год он женился на дочери Кропивницкого Валентине, поселился в Лианозове и устроился десятником на строительство Северной водопроводной станции, начальствуя над зэками-бытовиками. И барак, где они получили комнату, был прежде лагерным. Много лет прожил Рабин в этом бараке, много раз за это время барак красили — то желтым, то розовым, то снова желтым. Таким он и появлялся на полотнах — желтым, розовым, грязным, бесцветным... Из окна — постоянный пейзаж железнодорожных путей, линий электропередач, черные дымы из труб котельных. В Лианозове и родился знаменитый черный контур Рабина. Его сын так истолковывает символику этого контура: «Пристрастие Оскара к черному контуру я теперь хорошо понимаю, потому что вся наша жизнь в Лианозове, вся окружающая действительность были обведены черными контурами. Они не были видны с первого взгляда, но сам этот поселок с котельными, из которых шел черный дым, жизнь в общих бараках, жизнь даже тех, кто был в Москве, — были обведены черными рамками».

Режим у лагерников был терпимый, бытовой лагерь был на хозрасчете, и в зарплату зэки просили купить не хлеба, а водки. Письма зэковские Рабин всегда брал, а с водкой было сложнее. Начальство смотрело сквозь пальцы, но могло и застукать. А не принесешь водку — люди откажутся работать. Платили же Оскару 79 нынешних рублей в месяц, и на эти деньги они перебивались впятером, с двумя детьми и больной бабушкой. Одно было хорошо: сутки он работал, двое отдыхал и мог заняться живописью. Иногда что-нибудь заказывал нарисовать парк культуры — за мешок картошки.

В 1957 г. Рабин выставил натюрморт на молодежной художественной выставке Всемирного фестиваля молодежи и студентов и получил диплом. Его взяли на работу в декоративно-оформительский комбинат. Но главное — он наконец-то нашел свой стиль, раскрылся как художник, отбросив натуру. Конечно, к себе новому надо было привыкнуть, освоить свое выражение, свои темы и приемы, и процесс этот был не быстрый, порой мучительный, но освещал жизнь смыслом.

Известность в среде знатоков живописи и коллекционеров приходит к Оскару Рабину довольно быстро. В Лианозово начинается паломничество. В 60-е годы в западных галереях, ставших площадкой для неофициальных художников, проходит ряд персональных выставок: Анатолия Зверева, Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина. В западных журналах появляются статьи о Рабине, репродукции его картин. Не смолчала и отечественная пресса: «Советская культура» печатает пасквиль под угрожающим названием «Цена чечевичной похлебки».

В эти тревожные дни он знакомится с Александром Глезером, который с ходу предлагает Рабину устроить его выставку в клубе «Дружба», где Глезер числился общественным директором. Рабин выдвинул встречный план: пока власти не разобрались, использовать шанс и устроить групповую выставку.

Выставка на шоссе Энтузиастов, на бывшей ка-торжной Владимирке, в окружении дымящихся заводских труб, была по сути первой экспозицией Лианозовской группы. На ней были представлены Е. Л. Кропивницкий, О. А. Потапова, их дети Валентина и Лев Кропивницкие, Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Дмитрий Плавинский, Валентин Воробьев, Эдуард Штейнберг, Анатолий Зверев. Выставка открылась в два часа дня 22 января 1967 г., а к четырем уже явилось партийное начальство и заперлось с директором в кабинете. Через несколько ми-

нут побелевший директор объявил: «Выставка закрывается, прошу публику уйти». Толпа не расходилась. Погасили свет в фойе, сказав: «Приходите завтра». А на завтра зрителей встретили дружинники: «Выставка? Никакой выставки не будет. И вчера не было. Вам показалось...»

После этого был выпущен строгий циркуляр: дворцы культуры и клубы могли выставлять произведения искусства только с разрешения Союза художников, и каждая выставка должна была утверждаться райкомом партии и местным управлением культуры. Глезера уволили из клуба, а Рабину пришлось уйти из комбината.

Рабин выставил в клубе «Дружба» четыре работы и никогда не испытывал такого удовлетворения от своих картин, как в этот раз, — словно отец, который впервые вывел детей из подвала на солнечную улицу.

Так вот все и началось. Что, впрочем, началось, если выставки повсеместно запретили? Но независимая живопись медленно и неуклонно проникала в разные слои общества, частные коллекции становились основой многочисленных домашних выставок, непризнанные художники попали в ранг туристских достопримечательностей: иностранцы посещают их мастерские или квартиры коллекционеров наравне с Суздалем и Третьяковской галереей. Сформировалась духовно и материально независимая от государства прослойка, со своей шкалой ценностей, своими вкусами и привычками. Прослойка неоднозначная: действовала игра самолюбий, создавались и рушились репутации, в конкурентной борьбе, бывало, шли в ход клевета и шантаж, распускало провокационные слухи КГБ, пристально следившее за этим кругом людей. Однако до поры до времени не вмешивалось. Ну, ходят люди друг к другу в гости, ну, на приемах в посольствах оттирают маститых академиков... Картины продают — так даже налог готовы платить. Рабин вон настаивает:

«Я вам — налог, а вы мне разрешение на вывеску — Оскар Рабин, изготовление портретов и пейзажей».

Но в 72-м году КГБ взялось за дело, начав с молодежи. Трех молодых художников, в том числе сына Рабина Александра, схватили на улице, приволокли в милицию, сняли допрос (ослепительная лампа в глаза):

— Где работаешь? На что живешь? Зачем шляешься к иностранцам? Художник? Кому картины продаешь?

Саша Рабин на следующий день ринулся к отцу в Софронцево на Вологодчине, где Оскар незадолго до того купил дом: два сруба, соединенные мостом, — сломал лишние перегородки, и вышло две комнаты и мастерская. Стоял дом на горке, внизу две реки: большая — Молога и маленькая — Кабожа. За Мологою высокий частый лес. Оскар полюбил Софронцево, и свой дом, и всю эту местность. Вероятно, пейзажи с цветами появились у него впервые только здесь.

Оскар спокойно выслушал сына: «Подождем, что будет дальше». А дальше началась систематическая травля всех подряд. Постоянная слежка, анонимные телефонные звонки, угрозы. Стала являться на квартиры милиция с проверкой документов. Стоило Рухину или Жарких объявиться в Москве, как тут же их хватали и в нос совали предписание, что больше трех суток они не могут находиться в столице. А вокруг Рабина к тому времени сколотилась группа самобытных художников. На его московской квартире часто устраивались просмотры картин Рухина, Жарких, а позже — Овчинникова.

Летом 74-го года выплыла забытая идея: выставка на открытом воздухе. Единственная возможность, которую ни разу не использовали, и реакция властей на нее неизвестна. Прикидывали, сколько человек пойдет на такое дело, — выходило, семь-восемь наверняка не обречут. Участвовало — двадцать четыре.

История «бульдозерной» выставки известна. Готовили ее на принципах абсолютной гласности: нашли пустырь, известили Моссовет, не отказались вести с чиновниками переговоры, но именно чиновники в этих переговорах заходили в тупик. Любые мероприятия должны быть запланированы? Две недели — достаточный срок. По инструкции, выставки согласовываются с Союзом художников и Министерством культуры? Но инструкция ничего не говорит о выставках на открытом воздухе. Вы готовы предложить нам ангар? (Т. е. дать помещение и иметь легальные основания для цензуры.) Но форма показа на открытом воздухе существует во многих странах, и мы хотим ввести ее в Москве. Наконец, чиновники изобрели последнюю зацепку: вы можете получить разрешение при условии, что не будете выставлять антисоветских картин. И посыпался град вопросов:

— А что такое антисоветская картина? Сформулируйте, пожалуйста. Абстракция, где только краски и пятна, — это антисоветская живопись? А отвлеченный сюжет, без конкретного времени и места?

Выставку не разрешили, но как бы и не запретили. Дата ее приближалась, приглашительные билеты, отпечатанные на машинке, были разосланы по всей Москве — даже Фурцевой.

Беляевский пустырь — огромное поле, за которым виднеется лес. Ни посадок, ни построек — совершенный пустырь. Начинается он на перекрестке двух шоссе, земля перерыта, лежат метровые трубы, а подальше уже открытое поле — чуть под гору, как в театре. Так что зрителям все будет видно издалека.

Перед 15 сентября художники разработали небольшой стратегический план. Съезжаться несколькими группами из разных мест. Где бы ни задержали — перед пустырем или на пустыре, — тут же разворачивать картины и демонстрировать их публике. Наси-

лию не сопротивляться. И всем надеть парадные костюмы — это наш праздник.

Накануне разделились: кое-кто остался у Оскара на Преображенке, кое-кто, в том числе его сын, — у математика Тупицына, который жил по соседству с пустырем. Еще несколько художников должны были подъехать из разных мест. Атмосфера в этот вечер была тревожная. Володя Немухин признался, что ему легче было бы сидеть дома и ждать ареста, чем завтра выйти на пустырь с картинами перед публикой — Бог знает, что из этого получится. Публики Немухин боялся больше, чем репрессий...

Оскар «задержался» по пути — взяли и продержали в милицейской комнате метро. Не видел, как встретили молодых художников молодчики в штатском, приказали поворачивать обратно, как ребята поднимали картины над собой, как на них пустили бульдозеры, разжигали костры и швыряли туда полотна. Как избивали всех подряд, не делая исключения для иностранных корреспондентов.

Выпущенные из милиции, Рабин и Глезер спокойно идут и разговаривают: дорога в гору, пустыря пока не видно. Из движущейся навстречу заграничной машины высовывается дипломат, в ужасе жестикулирует и, не останавливаясь, исчезает. Немного странно, но — раз милиция отпустила, значит, все в порядке. Шоссе перегорожено милицейскими машинами. А дальше, на пустыре, — словно битва развернулась. Грохочут бульдозеры, поливальные машины хлещут водой по собравшейся публике.

Первым подбежал к Оскару сын, потом и остальные: художники и просто друзья, — окружили кольцом. «В чем дело? — спрашивает Оскар. — Почему остановились?» — А дальше не пускают. — «В конце концов, публика пришла, так давайте разворачивать картины». Их специально паковали так, чтобы можно было моментально сорвать обертку. У Оскара было с

собой две картины: «Деревня» — коровник в Софронцево с ласковой выглядывающей головой буренки и «Осень» — три огненно-красных кленовых листа на земле.

Рабин поднял картины и жестким, металлическим голосом проскандировал: «Выставка продолжается! Продолжаем выставку!» Откуда у него такой голос взялся! Слова его покрывали вой бульдозеров. Сын удивленно посмотрел, не узнал Оскара: лицо без кровинки, уверенное, неумолимое:

— Продолжаем выставку!

Замешкавшиеся молодчики, наконец, бросились к Рабину. Вырвали картины, забросили на самосвал, тут и подвыпившая баба появилась со щитом: «Все — на субботник!» От костров несло горелой краской, возле самосвалов копошились люди с ломami и лопатами, кто-то скомандовал: «За работу! Равняй площадку бульдозерами».

На людей, на женщин с детьми погнали бульдозер с опущенным ножом, только комья глины в стороны летят.

— Езжай! Разойдутся!..

Зрители разбегаются, а Рабин остается на месте. Сын стоял чуть позади, предупредил: «Оскар, бульдозер едет!» — «Ну и пусть едет!» — Саша не выдержал, опять: «Оскар, гляди, на нас бульдозер едет!» И услышал тот же ответ. На пути бульдозера остались они вдвоем, Оскар чуть впереди. Когда бульдозер уже наезжал, он вскочил на нож и, скользя ногами по мокрой глине, каким-то чудом удержал равновесие. Саше не остается другого выхода, он тоже вскакивает на нож и вдруг видит, как бульдозерист то ли спьяну, то ли с перепугу изо всех сил выжимает газ. Машина взревела и помчалась по рытвинам и кочкам. Саша одной рукой ухватился за какую-то железку, другой вцепился в отца, чтобы тот, не дай Бог, не свалился под нож —

тогда конец. И еще запомнились смазанные бледные лица кругом.

Хладнокровнее и ловче всех оказался немолодой американский журналист — он кинулся к взбесившейся машине, через гусеницу перескочил в кабину, оттолкнул водителя и выключил зажигание. Бульдозер стал. Оскар хладнокровно сошел на землю, поднял картину, по которой только что проехали гусеницы, и опять сказал:

— Выставка продолжается.

Вот эта неукротимость — характерная черта Рабина. Если б его сейчас убивали, он бы все равно сказал: «Выставка продолжается». Команда: «Взять его!» Подскочили, заломили руки за спину, потащили к легковой машине.

Потом на закрытых собраниях объясняли: «ЦРУ заранее тренировало Рабина, как ездить на бульдозерах. Неправдоподобно? Вот вы, гражданин, на бульдозер не ползете? Я лично не полезу. Потому что мы не тренированы!..»

Привезли Рабина в отделение, втолкнули в отстойник, сел он на скамейку. Дежурный вызывает:

— Тяпушкин!

«Господи, — поглядел Оскар, — это же Алексей Тяпушкин, член Союза художников, Герой Советского Союза. Он-то тут как?..»

Во время войны служил Тяпушкин рядовым в противотанковой батарее, защищал своей пушечкой Москву. Случай с ним стал легендой в армии. Немецкие танки прорвали линию обороны, раздавили ее гусеницами и пошли дальше. А Тяпушкин в своем окопчике уцелел, встряхнулся, развернул пушку и давай бить танкам в спину. И довольно метко бил. — Злость меня взяла, — рассказывал он об этом Рабину.

— А вот когда бульдозер двинулся на женщин и детей, меня тоже злость взяла, — ответил Рабин. Тяпушкин только улыбнулся.

На «бульдозерной» выставке Тяпушкина схватили, потому что он не выдержал и вмешался в расправу над собратями. Дежурный вернул ему документы и сказал: «Можете идти». В этот момент Рабин окликнул его. Тяпушкин не тотчас признал Оскара, перемазанного глиной. Обнялись, расцеловались. Дежурный кричит: «Уходите, я вам приказываю!» Тяпушкин махнул в его сторону: «Да ладно, сиди... — повернулся к Рабину и сказал так, что тот надолго запомнил: — Можешь на меня рассчитывать. Во всем». Оскар на это: «Леша, погоди, еще никто не знает, кому на что рассчитывать». — «Все равно, я — за. Что я видел — мне этого достаточно. Не забуду никогда в жизни».

В этот день Оскар приобрел одного из самых надежных друзей: Алексей Тяпушкин будет участвовать во всех выставках независимых художников.

Впервые Оскар ночевал в камере. Хорошо хоть не один, а вместе с сыном, свезли их в одно КПЗ. Там-то и пришла Рабину простая мысль: когда выпустят на свободу, надо не только жаловаться и протестовать, а ответить на бульдозеры. Чем могут ответить художники? А чем же, как не выставкой! Взять, и через две недели выйти на тот же пустырь. Объявить властям: вы сорвали выставку, мы ее повторим. И когда на следующий день всех задержанных свезли в суд, то обсуждали они не приговор: штрафы, сутки, — а идею новой выставки.

Власти были растеряны. Эти люди не калялись, не просили о снисхождении, даже не протестовали, а просто-напросто извещали Кремль, что ровно через две недели, опять в воскресенье, осуществят свой замысел. Проблему пришлось решать на верхах. В Москве циркулировали слухи, что неофициальные художники стали яблоком раздора между двумя могущественными силами: МВД и КГБ. Не стоял в стороне и горком партии. В роли прекрасного Париса выступил ЦК. Общеизвестно, что сотрудники КГБ всю Бе-

ляевскую баталию засняли кино- и фотокамерами. Вероятно, чтобы показать начальству и убедить его: «Видите, что получается, когда действуют жесткими мерами. Поручите контроль над этой публикой нам, и мы все уладим, в лучшем виде». Во всяком случае, позже «опекать» культурное движение — т. е. одних приручать, других блокировать — стало КГБ.

Но пока пошла череда побед. Выставки в Измайловском парке и на ВДНХ, в ленинградских дворцах культуры им. Газа и «Невском». Толпы зрителей, многочасовые очереди. Вспыхивают имена художников, дотоле десятилетиями работавших в подвалах и на чердаках в полной безвестности. Появляются самиздатские журналы по искусству.

После Измайловской выставки Рабин тотчас уехал к себе в Софронцево, чтобы хладнокровно обдумать происшедшее и взглянуть на события немного со стороны. Было ясно, что период «бури и натиска» кончается.

Реальность оказалась еще более непростой, чем он предполагал. Через горком графиков Оскару сделали предложение: откажись защищать других, откажись от участия во всяких там инициативных группах и комитетах, и ты получишь всё — выставки, официальное признание, благополучие и спокойствие. Всю жизнь быть независимым и вдруг, под пятьдесят лет, стать ручным, обрести блага, в которых другим отказывают, — такое превращение было для Рабина и невозможным, и неприемлемым.

А в частную жизнь уйти поздно. Люди требовали от него участия, апеллировали к его опыту и разуму. Он стал признанным авторитетом в культурном движении. Все это вело к открытому конфликту с властями, которые убедились, что Рабин на уступки не идет и приручать его бесполезно. И тогда ему определили судьбу изгнанника...

Вечером 15 ноября 1977 года, в день открытия выставки в Ленинграде, Рабин созвал ближайших друзей. Накрыли столик в маленькой комнате. Первый тост Рабин произнес за ленинградских художников, второй — за выставку, за ее успех и, сделав небольшую паузу, отчетливо сказал:

— Я приветствую выставку солидарности с Бьеннале. Я участвую в ней.

Все пораженно посмотрели на него, и, вероятно, каждый подумал: «А как же Париж?» Оскар шел на явный риск и в очередной раз бросал вызов судьбе.

Мы объединились с Оскаром в трудный для культурного движения момент: был явный спад. Я считал, что одна из причин — оторванность его от правозащитного движения. То, что вначале было силой, теперь обернулось слабостью. Рабин разделял мою точку зрения. Поэтому открытие «московского Бьеннале» мы не случайно приурочили к началу Сахаровских слушаний в Риме. Андрей Дмитриевич Сахаров приветствовал открывающуюся выставку.

Но после успеха нашего Бьеннале в Ленинграде московские власти были начеку. Квартиру Людмилы Кузнецовой, где бы подготовлен показ картин, блокировали (теперь, полутора годами позже, ее просто подожгли). Согласно легендам, дом, где живет Кузнецова, — как раз тот, что описан в «Мастере и Маргарите», тот, где пытались когда-то арестовать Воланда и кота Бегемота.

Оскар Рабин успел еще войти в комитет защиты культурных ценностей, но отъезд надвигался. 3 января 1978 года он покинул Москву, а несколько месяцев спустя — лишен гражданства. В декабре в Париже я опять оказался его гостем. Но Рабин в Париже — это уже другая история.

В июле 1979 года в Мюнхене создан **КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ИГОРЯ ОГУРЦОВА**

Почетные возглавители Комитета:

*архиепископ Женевский и Западноевропейский Антоний,
епископ Штутгартский и Южногерманский Павел.*

Председатель и члены Комитета:

Виктория Семенова, Сергей Гамбурцев, Юлия Колужная.

Цель Комитета — настойчивый призыв к совести мировой общественности для мобилизации всех сил на спасение замечательного русского человека, борца за свободу своей родины, христианского демократа, гибнущего в советском концлагере, Игоря Огурцова.

Призыв о спасении направлен:

в Международный Красный Крест, Женева, Швейцария; организациям Красного Креста ФРГ, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Испании, Италии, Португалии, Греции, Канады, США и СССР.

Комитет обращается ко всем людям в индивидуальном порядке, людям доброй воли, любой национальности, ко всем церквям, политическим, общественным, научным организациям и объединениям с призывом возвысить свой голос, приложить максимум усилий к спасению умирающего в пытках человека!

Обращайтесь к вашему правительству, к вашему сенатору, в вашу прессу — требуйте освобождения Игоря ОГУРЦОВА!

Комитет спасения Игоря Огурцова
8000 München 81
Gumbinnenstrasse 8, BRD
Tel. (089) 93 42 29
(089) 76 37 54

Литература и время

Виолетта Иверии

ПО ТУ СТОРОНУ СМЕХА

Что можно подумать о писателе, который одному из своих рассказов дает название — «Чаепитие и любовь к морю»? Ну что, право, общего между чаепитием и любовью к морю? Если союз «и» имеет в данном случае значение противопоставления, то не достаточно ли сама по себе разность, чтобы так ее подчеркивать? И — с другой стороны — обязательно ли чаепитие исключает любовь к морю? И что это за странное соединение несоединимого: простого физического действия с внутренним ощущением, с чувством? Название это, кажется, годится для подписи под импрессионистической картинкой, слегка расплывчатой, слабых, солнцем и дальностью взгляда разбавленных красок; изображено на ней нечто неопределенное (и почему-то не надо, чтоб — определенное), какие-то неясных форм фигуры, неважные, неглавные, а главное — это ощущение прочно зафиксированного покоя (хотя как можно зафиксировать покой?), да, именно *зафиксированного* покоя — покоя-закона, изначально данного, опущенного и отпущенного *Сверху*, чтобы никогда не исчезать. Покой как некая сфера (атмосфера), колпак, которым накрыто все, что включается в понятие «жизнь». Покой — как материализация гармонии (хотя что материального в покое?), как знак ее присутствия и незыблемости, утверждаемой ничем иным, как зыбкостью очертаний.

Вот в этом и видится мне ткань прозы Искандера, фактура ее: при школьно-простой и легкой графике

фразы, лишенной какой бы то ни было цветистости (что в принципе было бы естественно — от восточных корней), целое — «единица прозы» — внезапно оказывается тонко-, бледно-, изысканно-акварельным. Получается нечто вроде воздушного замка, сложенного из настоящих, ни у кого не вызывающих сомнения в своей материальности камней. Разумеется, в этом нет ни грана логики. Разумеется, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда... и нигде, кроме искусства. Ибо человек алогичен — в самом зерне, из которого растет его душа; и мир, видимый и подвластный его глазу, постоянно смещается, колеблется, меняет пропорции и абрис, а остановка, неподвижность — это попросту смерть. И искусство становится искусством только в тот момент, когда доказывает свою способность поймать в силки этот алогизм, — стало быть, не вычислять мир, исходя из формулы прямой зависимости, а смещая его, вытягивая или сплющивая, сминая, распяливая и растопыривая, создавать модель этой вечной, верной, неизбежной непрочности. Надо ему, значит, уметь и соединять несоединимое или кажущееся несоединимым; вот мы и вернулись к тому, с чего начали: к рассказу-картинке «Чаепитие и любовь к морю». Легкий алогизм названия беззаботен, в нем уверенно живет тот самый покой, который все соединяет, охватывает, сглаживает и смягчает, оставаясь главным, оставаясь *над*, оставаясь основным героем и Высшим Существом.

Рассказ прост и безыскусствен по-восточному лениво, горячее солнце заливает его так ярко и явственно, что прочитанное вызывает зависть, как чужие каникулы. Тетушка на веранде — своим «командным пунктом» — гоняет долгие чаи с новой соседкой (стало быть, и обычные чаи приобретают для тетушки прелесть новизны), а мальчик по имени Чик сидит со взрослыми за столом и пытается выбрать момент, чтобы попросить у тетушки разрешения пойти к морю.

Дело это деликатное — тетушка не любит, чтобы ее прерывали, и если встрять не вовремя, то очень просто можно получить отказ. Невдалеке от дома томится вся команда Чика — ждет результатов: если Чика отпустят, то и остальных родители отпустят. Тетушка, однако, не подает никакой надежды на то, что ей удастся когда-нибудь остановиться — скажем, вдруг устать немножко и сделать паузу. Ситуация создается отчаянная, и от этого близкое и недостижимое море превращается для Чика в наваждение, в страсть и жажду, столь же огромную и неутолимую и неисчерпаемую, как сам предмет ее, — море, море, море... А во внешней, вещной жизни не происходит ничего особенного: знойный и благодухный день, чай, пирожки и персики (и еще одна — попутная — проблема: предложит ли тетушка Чикау съесть последний оставшийся в вазе персик, и если не догадается сама, то как подтолкнуть ее к этому гуманному решению?), длинные тетушкины воспоминания, проходящие по двору люди, милая соседка Евгения Александровна, несколько потерявшаяся от тетушкиного гостеприимства. Пронзительнее и поразительнее всего в рассказе три этих наваждения: огромный, стоячий, похожий на аквариум день; огромный недвижимый аквариум моря, только тем и отличающийся от первого, что отблескивает сильнее и мучительнее; а между ними — рвущаяся, мечущаяся, нетерпеливая мальчишеская страсть. У Искандера редкий дар: писать не событие, лицо, характер, чувство — писать и з л у ч е н и е события, лица, характера, чувства. Т. е. видеть их не в самоценности, не в самозначимости, а в неременной соотносительности с неким Целым, куда все явления входят только маленькими составными, даже в сумме не образующими этого Целого, ибо, помимо видимого и материального, в человеческом существовании, в глубине его, и над ним, и вокруг, существует еще Невидимое и Нематериальное — Тайна, проис-

ходит Незаметное и Невычислимое — Таинство. События, движения, поступки человеческие есть часть Таинства; законы человеческого существования, птичья хрупкость, птичья пугливость, птичий взмыв души — часть Тайны. Человек и все, что окружает его, все, что можно пощупать, к чему можно притронуться, есть только как бы эмбрион, желток, живущий внутри огромного яйца, называемого — ЖИЗНЬ, КОСМОС. Гармония, таким образом, является не случайным коротким замыканием неких космогонических контактов с человеческой, земной жизнью, способным разрушаться, едва человек нарушит Высший нравственный закон; а естественной, изначально данной питательной средой, в которой проходит человеческая жизнь. Как бы ни был слаб человек, каким бы полным ни было его падение — это не разрушит Высшей гармонии, ибо все это уже п р е д у с м о т р е н о, уже в рамки этой гармонии з а к л ю ч е н о и повлиять на них никак не может — не только потому, что является порядком ниже, но и потому, что существует в иной плоскости. Однако с этим невидимым «питательным бульоном» человек связан непосредственно, напрямую (совершенно так же, как с реальным питательным бульоном связаны выводимые на нем культуры бактерий); причем не только в «звездные» часы своей жизни, когда прикосновение Духа ощущается близко-явственным, явленным, воплощенным — дуновением ветра, освежающим горящее лицо; но в каждый знакомый, бросовый день, в каждом привычном, давно обесцененном движении. Таким образом, человек оказывается у Искандера существующим одновременно в двух плоскостях (или к другой, духовной, причастным), только он не всегда это понимает, ему не всегда это известно, ему не всегда есть до этого дело. И выбирает Искандер в своем писательском творчестве работу самую тяжелую и неблагодарную: сквозь невзрачные очертания бытовой мелочи увидеть напросвет

(и высветить) Великую Тайну, бессонно нас окружающую.

Слово «выбирает» в данном случае, по правде говоря, не очень годится. Не мы выбираем свое мироздание — оно выбирает нас. Не мы выбираем взгляд на мир — он приходит нивесть откуда. Не мы выбираем, о чем и как писать, — тема и манера письма приходят к нам подсказанными, подслушанными. Угол зрения и угол жизни, лежащие в основе произведения, кровно связаны с личностью и характером автора, плюс... н е ч т о, чему никто не знает имени. Легкость, с какой пишет Фазиль Искандер, с какой он находит и формулирует фразу столь же простую, сколь точную, свидетельствует о том, что тема (одна и та же во всех без исключения его произведениях: из маленьких, осколочных событий складывается сияющий солнцем великий замок Жизни) — «услышана» им безошибочно как именно ему, Фазилю Искандеру, свойственная и предназначенная.

И это нисколько не мешает прозе Искандера быть по преимуществу ностальгической. В разных его рассказах и повестях она может быть самого разного свойства: ностальгия по детству; ностальгия по безгреховности, по спонтанной чистоте душевного движения и поступка, которая автоматически всходила бы к общей гармонии мира; ностальгия по разумности, по мудрости, по априорному п о н и м а н и ю сути вещей вообще и результатов каждого человеческого движения в частности; и, наконец, ностальгия по Красоте, по Прекрасному как видимому, материальному воплощению мировой гармонии.

Искандер именно потому, быть может, так много пишет о детях и детстве, что бессознательно пытается найти точку отсчета, с которой в человеческой жизни открывается целый букет движений по кривой, целый фонтан ошибок и заблуждений. Этой точки нет, она никак и нигде не зафиксирована, писатель может толь-

ко констатировать факт: мы рано начинаем лгать себе и другим, мы рано обнаруживаем невинную поначалу тенденцию к предательству, ублажению собственного самолюбия, к изысканию пути полегче и попроще, причем проделываем это с животной естественностью, с пугающе-органической хитростью. В рассказе «Дедушка» мальчик, от лица которого ведется рассказ, следя за дедом, рубящим ореховые прутья, мечтает о том, чтобы тот промахнулся, чтобы у него что-либо не получилось, ибо всеумение, всезнание дед делает превосходство его непереносимым для внука — да и не для него одного, он это знает.

«Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось. Это потому, что мне скучно и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим не хватает примеров дедушкиного посрамления. Я чувствую, что будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, если бросить в копилочку такую находку, будет приятно. Это все равно, что я подымусь до их уровня, докарабкаюсь, да еще не с голыми руками, а с похвальным примерчиком дедушкиного посрамления, зажатым в старательном кулаке».

Та же тема — во множестве других рассказов Фазиля Искандера. В «Тринадцатом подвиге Геракла» мальчишка, не сделавший уроки по математике, в страхе быть высмеянным перед всем классом, уговаривает докторшу и медсестру именно с их класса начать делать уколы. При этом он убежден, что совершает подвиг братства — поскольку учитель никого не

успеет вызвать к доске. Однако его это не спасло, скорей утопило: его высмеяли и за нечленораздельное бормотанье у доски, и за «подвиг». Происшествие микроскопическое, и ничего в нем вроде нет ни оригинального, ни завораживающе-интересного, ни символического. И все же оно дает писателю возможность сделать следующее замечание: «Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или женщина. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого. Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны».

Легкая шутливость — и шутливая парадоксальность — нескольких приведенных выше фраз словно бы приглашает читателя не относиться всерьез ни к ним самим, ни к тому, что было рассказано выше. Но чем успокоительнее, чем легче улыбается Искандер (а он всегда улыбается, как бы извиняясь за то, что оторвал нас от насущных и важных дел ради копеечных побасенок), тем больше мы чувствуем глубину печали и серьезности, прорастающим зерном скрытых в его шутке. Отметим попутно стилистический прием, с помощью которого Искандер часто строит и подчеркивает эту тональность шутки: обратите внимание на то, сколько раз в только что прочитанном вами отрывке повторяются одни и те же слова и словосочетания: «боятся показаться смешными», «боятся... и ...выглядят смешными», «выглядеть смешным», само слово «смешной», стоящее в разных падежах, родах и числах. Не будь это приемом, т. е. не возьми писатель на себя смелость бесчисленно повторять в соседствующих фразах одни и те же слова, это было бы

грубым нарушением законов стилистики, сделало бы фразу вялой и графомански-невыразительной. Но Искандер позволяет себе повторять эти слова, как припев (что живо напоминает некоторые типичные формы восточного стиха), каждый раз добавляя какой-то новый оттенок, новую подкраску первоначально высказанной мысли, и тем самым достигает двойной цели: заставляет нас улыбаться забавности повтора — и в то же время заподозрить в его настойчивости попытку натолкнуть нас на некий скрытый и отнюдь не смешной смысл. При этом сам текст кажется нам невинно-прямолинейным, откровенно-однозначным — автор всем своим видом словно бы убеждает нас, что он не хотел сказать ничего, кроме того, что обрисовано черным по белому, буквами, простецкими предложениями, обозначено со всей честностью и открытостью человека, не имеющего намерения морочить вам голову.

Та самая ностальгическая печаль, которая пронизывает все творчество Искандера и без которой большинство его произведений превратилось бы либо в фельетоны, либо в незатейливые и весьма банальные рассказы для детей, — это тоска по недостижимо-му. Недостижимо детство — и Искандер кружит и кружит вокруг него, не в силах оторваться, используя всякую возможность вспомнить, приживить его к любому сюжету; недостижимо прошлое — не только его самого, Фазиля Искандера, но прошлое его народа, в котором, быть может, было меньше игрушек и забав современной цивилизации, зато больше здоровья и здравого смысла; недостижима идеальная любовь — вернее, идеал любви, и всегда у Искандера образ Прекрасной, образ Женщины ускользающе тонок, колеблем, акварельно-размыт («Письмо», «Боль и нежность»).

Искандер настолько остро ощущает прошлое (не обязательно и не только отдаленное: прошлое как упу-

щенное мгновение, одним уж тем саднящее, что невозвратно и что, упущено и что несомненно унесло с собой главную свою тайну), что и те немногие его вещи, действие которых происходит в настоящем и которые написаны от третьего лица, воспринимаются авторским монологом-воспоминанием о том, что ушло. Он не может скрыть собственного присутствия в любом герое — будь то Сергей («Боль и нежность»), или славная хворостинка Чик («День Чика», «Чаепитие и любовь к морю» и др.), или пронзительно светлый малыш Ремзик («Ремзик»), или старый, мудрый Хабуг («Сандро из Чегема»), или даже мул старого Хабуга, от лица которого ведется рассказ в одной из глав романа «Сандро из Чегема». Он не может скрыть своего присутствия потому прежде всего, что не может скрыть везде сквозящей собственной игольчатой боли — по потерянной возможности исправить ушедшее время с ушедшим неверным шагом, фальшивым звуком, не лучшим помыслом. То ли сам он ощущает себя по очереди всеми своими героями, то ли в них пишет себя самого, и оттого, быть может, всегда иронизирует над ними несколько смущенно, как иронизируют только над собой. Или ему кажется неловким и неправомерным говорить о чужих слабостях, не присовокупляя при этом намек на то, что их слабости — его слабости (как в восточном присловье-причитанье: «Да падут твои болезни на мою голову!»). Может быть, лучше всего об отношении к написанным им героям, к этому смешению «я» и «они» сказал сам Искандер в рассказе «Путь из варяг в греки»: «И я чувствую какое-то странное удовольствие оттого, что при мне говорят обо мне, думая, что я не слышу, не понимаю, как бы наполовину не существую. ...Не это ли божественное любопытство совести заставляет людей при жизни поступать так, словно потом из могилы им дано с улыбкой прислушиваться к тому, что о них говорят живые?» Но когда мы рассказываем

что-то, разве не то же самое получается, только зеркально-обратное: из живой, ныне проживаемой минуты мы смотрим в могилу прошлого, замороженные его покорной неподвижностью, позволяющей нам разглядывать и описывать его в подробностях, и именно «божественное любопытство совести» обращает туда наши глаза — за ядом и противоядием сразу, за горечью «не вернуть» и сладкой надеждой обрести лекарство на будущее. Смешивая себя со своими героями, писатель как бы действительно слышит, как они при нем — им придуманными, но уже живущими самостоятельной жизнью словами, и значит словно бы со стороны — говорят о нем, а он собой проверяет их (чистоту звука) и ими проверяет себя (чистоту помысла). И это родство между автором и созданиями его собственного воображения есть отражение другого родства: родства всех человеческих душ на свете, ощущаемого Искандером с той же ностальгической остротой (ибо оно часто и многими забывается), что и непоправимая, фотографическая неизменность прошлого.

«Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом. И если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными, сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ, — и вот, смотрите, как полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга! Не потому ли недоливший себе воспринимается как изменник? (...) ...Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой, или буду злословить, или важно суетиться перед своим начальником, ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче и

еще могу зазеленеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе» («Путь из варяг в греки»).

Это почти женственно-откровенное признание в любви к ближнему имеет источником не сентиментальное кокетство и не сусальное подобострастие по отношению к читателю, и не самодовольно-глупое желание непременно всем и каждому понравиться, а все ту же печаль: ибо нечасто решаемся мы на нежность к родичу по пространству и времени, уж больно нам страшно показаться слабыми или смешными. И чтобы вот так сказать о любви, надо незаживающей царапиной ощущать, как не хватает ее в тебе самом и в окружающих и в окружающем. В глубине этого кислородного голодания, в его настырности есть что-то непоправимо детское — детская жажда южного, стойкого тепла, исходящего из самого надежного источника: от матери. Вероятно, Искандер это в себе понимает и любит, потому и тянется все время к детству — чужому и собственному, и в чужом — собственному, и в своем — всеобщему. Оглянуться назад, поймать отражение своего лица в прошлом, как в лицемерно-льстивом зеркале, поймать и держать не отпуская; но приходит минута осторожности, расчета, разума, чистое отражение колеблется и бледнеет, и чтобы удержать его, надо доказать, что зерна этой самой разумной осторожности и лукавого расчета были уже и тогда, в детстве. Так все соединяется в единый сияющий и горький круг.

Совершенно так же, как пишет Искандер о детях и детстве, пишет он о своем народе, о маленькой стране Абхазии. «Краем детства я застал патриархальную деревенскую жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее. Может быть, я идеализирую уходящую жизнь? Может быть. Человек не может не возвышать то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами того не сознавая, предьявляем счет будущему. Мы ему как бы говорим: — Вот что мы те-

ряем, а что ты нам даешь взамен? Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще способно думать». Так пишет Искандер в предисловии к американскому изданию романа «Сандро из Чегема». Тут все сказано. О соединившемся в его сознании детстве народа («патриархальная деревенская жизнь») с собственным детством; о нежности к прошлому и вере в его значительность; о недоверии к будущему. Будущее для Искандера — это очередное созвездие очередного Козлотура, неважно, из какой области применения человеческой глупости он появится: главное в том, что он всегда готов появиться. Писатель и человек, безмерно почитающий древнюю шкалу нравственных ценностей, Фазиль Искандер с горечью констатирует, что пришли времена, когда восторженное невежество с ненасытимой жадью рабского подвига в глазах котируется выше старой, доброй и простой мудрости, росшей на земле, парном молоке и хлебе. Мир куда-то бежит, скачет, торопится, тщится утоптать время и прожить множество жизней в одной, изобретает для этого умные машины, усовершенствует их — опять-таки все с той же безумной и навязчивой целью разделить Время на коммуналки, а что в результате? Никто добром не проживает и одной-единственной жизни, не успевает увидеть, что под ногами, наклониться и рассмотреть цветок, утро, женщину, землю; наклониться и увидеть голод по любви и теплу в человеческих глазах.

И началось это тогда, когда «чесучевые умники» решили, что все может быть общим — и прежде всего земля. «...Главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучевые писари, кто же захочет работать, а может и жить на земле, если осквернится сама Тайна любви тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола? Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим

виноградным гроздьям, раздавленным своими ногами в своей давилльне» («Сандро из Чегема»).

В больших произведениях Искандера (повесть «Созвездие Козлотура», роман «Сандро из Чегема») сцены прошлого — патриархального детства Абхазии — чередуются со сценами, происходящими в настоящем, в которых явственно мелькает все: люди, обычаи, заботы, события. В «Созвездии Козлотура» герой, от лица которого ведется рассказ, молодой журналист, принимающий активное участие в районной суеде вокруг нового социалистического чуда: помеси горного тура с козой, по дороге в колхоз, где козлотура выращивают, проезжает невдалеке от деревни, где прошло его детство и где стоял когда-то дом деда. И внезапно его охватывает щемящая тоска, и он понимает, что, потеряв все это — дедовский дом, запах земли, сухой травы и навоза, — он потерял себя самого. «Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и

Потеря Тайны — потеря корней — потеря вечных ценностей — суеда сует и погоня за бесформенным призраком счастья — душевная и духовная нищета — торжество глупости — будущее без тени улыбки: такую эволюцию видит в жизни и истории народа Фазиль Искандер, сам никогда не перестающий улыбаться, никогда не теряющий чувства юмора, ибо это последнее убежище и утешение обобранного.

Если «Созвездие Козлотура» вполне можно назвать поэмой стыда, то «Сандро из Чегема» — это поэма любви и раскаянья за преданную любовь.

О «Сандро из Чегема» сам Искандер говорит (в уже упоминавшемся предисловии к американскому изданию), что собирался он написать шуточную вещь — нечто вроде плутовского романа, да... не вышло. «Просто» шутить — вообще на сегодняшний день не выходит. Нет и анекдота теперь, который был бы *только* смешон. Но ведь и плутовской роман, и еще раньше его существовавшая в арабской литературе плутовская повесть тоже не были (или не всегда были) литературным зубоскальством. В них содержались элементы социально-этической критики, поданной не дидактически-прямолинейно, а опосредованно, с изворотливым лукавством, поскольку повествование часто велось от имени героя-плута, с наивной откровенностью поучавшего слушателей и читателей, как выходить сухим из воды. С этой старинной формой сказания — полулитературной-полуфольклорной, что касается арабской или персидской плутовской повести, — роман Искандера роднит расположение цепочкой отдельных новелл-глав, не связанных друг с другом напрямую, т. е. единой сюжетной линией. Правда, тут нельзя игнорировать замечание Искандера, что роман не закончен, что между несколькими из уже опубликованных глав должны быть вставлены другие, пока им не завершенные, которые, по всей видимости, должны играть роль связок или, во всяком случае, служить мостиками для более органического перехода от одной главы к другой. Но как бы там ни было, а сам характер повествования сохранится: роман останется матрешкой, состоящей из множества вставных новелл. Строго говоря, «Сандро из Чегема» назвать романом нельзя — и по отсутствию единой сюжетной линии, и по отсутствию единого развитого действия. Каждая глава его — не дальнейшая ступенька в системе действия или сюжета, а констатация того или иного факта или положения, которая служит поддержкой и иллюстрацией нравственно-эти-

ческой формуле. Вероятно, Искандер назвал свое произведение романом потому, что хотел подчеркнуть значительность замысла. «История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот, — вот канва замысла», — пишет он в предисловии к американскому изданию. Это — много, огромно. «Сандро из Чегема» — несомненно, главное произведение Искандера, дело жизни, фокус всего его творчества. Роман как магнитом стянул в себя множество героев других вещей писателя, и так часто кочевавших из рассказа в рассказ или хотя бы упоминавшихся: старого Хабуга — деда, Колчерукого, а главное — самого автора-героя, неизменно появляющегося на сцене среди любимых им людей. Кажется, что Искандер долго набирал дыхание, прежде чем приняться за эту эпопею. Так что многие из более ранних его рассказов были как бы только эскизами, подмалевками к «Сандро».

В романе существуют три пласта: патриархальная абхазская деревня, испокон веку жившая по своему старинному закону и разуму; город — носитель и средоточие современной цивилизации, т. е. для Искандера — суеты сует и всяческой суеты; и еще некий средний пласт, представленный не территориально, а с помощью образа заглавного героя — Сандро. Сандро имеет отношение и к деревне, и к городу. Деревня — его корни, город — его соблазн и слабость. Он — знак ее начинающегося вырождения: единственный шалопай в семье честных трудяг, обожающий выпить и погулять, умеющий безошибочно найти самую легкую работу, что называется «не бей лежачего», — и при этом глядеть орлом-начальником, из «присматривающих». Личность он живописная: красив, изящен, обаятелен, первый на селе тамада — да что на селе! — по всей Абхазии гремит о нем слава, нет без него ни поминок, ни праздников, да и байки он рассказывать мастак: если где и приврет малость, так до того кра-

сиво, что аж дух захватывает, и никакой правдолюбец не решится ему перечить. Сам автор-герой любит его, хотя подчас чувствует некоторую неловкость от сандровой наступательной убежденности в том, что справедливо и нравственно все, что ему, Сандро, идет на пользу; и наоборот — что ему неприятно, или не нужно, или невыгодно, то безнравственно. Сандро, несомненно, плут (вот мы и снова пришли к причастности романа Искандера к старинной восточной повести и плутовскому роману), но плутовство его, являющееся чертой всеобщей, которая может быть присуща любому человеку в любом народе, в данном случае падает на благодатную почву: время настало такое — лафа для ловкачей. Не приди это время — быть бы Сандро просто веселым пустоцветом, вызывающим снисходительные усмешки стариков вроде отца его, старого Хабуга; но Сандро ушел в город и стал «присматривающим» — а к городу у крестьян что-то вроде суеверного страха, смешанного с уважением и приправленного изрядной долей тайного презрения. Город для них — железо, камень и власть, которая тоже род железа или камня, только поселившегося в людях. Законы города пугают деревенских своей сложностью, хитроумностью и нездоровьем. Не зная, на чем эти законы стоят, привыкшие к естественному жизненному ритуалу, который диктуется круговоротом зацветающей, плодоносящей и умирающей ради нового воскресения земли, люди деревни не могут не уважать и не побаиваться тех, кто сумел усвоить иные правила — правила, состоящие из лабиринта красиво прилегающих друг другу слов, похожих на волшебные заклинания по таинственной темноте смысла. Но здравый смысл говорит крестьянину, что если такая тьма городского люда этим словам верит и подчиняется, по этим законам живет, то, стало быть, есть смысл в словесных пируэтках, только ему, крестьянину, по невежеству и заскоружлости он

невнятен. Так ушедший от черной земляной работы Сандро (скучна она ему, и грязна, и однообразна, и — «где бы ни работать, лишь бы не работать») становится для своих односельчан предметом гордости и почтительного удивления. Оттого и играет он для Чегема роль разрушающего грибка, дрожжей разложения.

Байки, которые рассказывает Сандро о собственных подвигах, возникают в двойственной окраске: с одной стороны, это сказки плута и хвастуна, к которому автор-слушатель не может не относиться иронически (отсюда и постоянный читательский смех над ним); с другой стороны, в любой из этих сказок явно сквозит доля правды — или правдоподобия, так что ни слушатель, ни читатель не могут решиться полностью отнести их на счет слишком богатого воображения рассказчика. С одной стороны, автор, мягко говоря, не может согласиться на нравственный кодекс, предлагаемый Сандро, — и мы ощущаем ноту осуждения в авторской интонации; с другой стороны, он не может не любоваться красотой этого великолепно-го человеческого экземпляра, как не может не любоваться бурной и храброй многокрасочностью любых его движений и проявлений. Вот эта двойственность, это расслаивающееся видение и воплощение образа — наиболее чистый и типичный прием классического плутовского романа.

Искандер мастерски пользуется этим методом — не только в прямом его качестве: чисто литературного, но, что гораздо забавнее и многозначительнее, — в качестве метода исторического повествования. Ибо все исторические события, происходившие в Абхазии за последние несколько десятилетий, о которых упоминает Искандер, даются нам либо в прямых рассказах Сандро, либо в авторском пересказе того, что Сандро говорил. Борьба большевиков с меньшевиками, новая советская бюрократия в трудах и развлече-

ниях, соперничество между великими мира сего (Лакоба, бывший председатель Совнаркома Абхазии, и Берия), купецкий пир товарища Сталина с присными после конференции парработников Западной Грузии, весьма многозначительная и весьма похожая на правду легенда о «Большеусом», аресты и репрессии тридцатых годов — все это преподносится нам не в реалистически утвердительной интонации, а как пересказ сплетен, рассказней и побасенок. Так что все это может быть правдой или вымыслом, отражением действительности — или правдоподобным сочинением ее, автор за это не в ответе: за что купил, за то и продает. И если он вызывает у читателей смех, то над чем: над смехотворностью вранья или над смехотворностью действительности? Или над смехотворностью вранья, соответствующего действительности? Или над смехотворностью действительности, легко вписывающейся в любое вранье? Действительности, в которой кумир, господин и самодержавный правитель огромной страны очень просто может хранить сентиментальные воспоминания о том, как в молодости был бандитом, вором, убийцей; в которой мул умнее «чесучевого писаря»; в которой ноги важнее головы: успеть вовремя притопнуть, вовремя разлететься — и вовремя смыться; в которой рубят под корень род — и разводят козлотуров; в которой, как козлотуров, разводят диковинных людей — без роду-племени, без Тайны, без «божественного любопытства совести».

А может, все это неправда. А может, автор пошутил. Вот потеха — а вы и поверили! А мы и поверили. В правде — самая главная, самая потешная потеха и заключается. За животики схватитесь (особенно, когда есть хочется, как говаривал старый Хабуг, «железа-то у нас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать»)!

Искандер обо всем говорит со смехом: и о заско-рузлом упрямстве своих земляков, и о твердой их

убежденности в том, что все грехи и глупость и вся вина за них лежит на мифических «эндурцах» (просто чужих, к другому народу принадлежащих людям), а все добро, и справедливость, и правильность жизни, и мудрость — монопольно принадлежит им одним. О незадачливости одних, о самодовольности других, о скучной скупости третьих, о пугливой слабости четвертых — он обо всем и обо всех говорит со смехом, чтобы успеть сглотнуть слезу нежности и сентиментальной пошлостью серьеза не уронить чести настоящего горца... горца, горца как-никак, хоть и он сам теперь — ветка, отрубленная от основного дерева, а дерево сохнет, сохнет, подсыхает... Он сам, Искандер, автор-пересказчик, свидетель, слушатель, а иногда — редко — и прямой участник событий, представляет собой деградирующий пласт города: достаточно оторвавшийся от истоков, чтобы перерастить детскую болезнь национальной ограниченности; достаточно оторвавшийся от истоков, чтобы оценить несоизмеримость потери в сравнении с приобретенным; достаточно оторвавшийся от истоков, чтобы увидеть свой отрыв как предательство, и затосковать по национальной колыбели, и признать изначальную кровную и земляную правоту древних законов и традиций. Но для того, чтобы осознать это, — надо было переступить и оторваться. Для того, чтобы затосковать, — надо было развязать руки времени и расстоянию, так что прошлое, колыбель превратились в микроскопические точки на горизонте; для того, чтобы саккумулировать в себе все сожаление, любовь, горечь и раскаянье, — надо было предать. И надо было болтаться по маленьким и побольше редакциям газет, с их неизменно мелочными и неизменно космическими проблемами и суетой. И надо было служить под началом самодовольных бездарностей, норовящих в знак особой близости и доверия спосылать тебя в ларек за папиросами. И надо было заниматься глубочайшим на-

учным вопросом, правомерно ли козлотура называть турокозом и приходить к выводу, что неправомерно, ибо «турокоз» — это по злобе и зависти к славе нашего первооткрытия придумали соседи: себе кусок урвать (не турокоза, а славы, конечно). И надо было почувствовать себя жалким конформистом, недостойным деда Хабуга, и пастуха Махаза, и дедова мула Арапки, и зловредного лошадирика Колчерукого, так красиво сумевшего умереть. (Колчерукий гордился тем, что никто лучше его не знает лошадей, и в последний раз доказал это после своей смерти: умирая, он позвал к себе вечного своего соперника Мустафу и высказал последнее желание — чтобы гроб с его телом поставили на дворе, и Мустафа перескочил бы через него верхом на лошади, потому что он, Колчерукий, уже уйдя от людей, хотел бы в последний раз почувствовать запах конского пота; желание умирающего — закон, и Мустафа все сделал, как просил Колчерукий. Когда он умер, гроб с телом поставили на козлы во дворе, и многочисленная толпа приехавших на поминки затаив дыхание следила за этим удивительным зрелищем. Но Мустафе не удалось перескочить на лошади через гроб, потому что лошадь через покойника не прыгает, — и Колчерукий это знал, а Мустафа нет, и на поминках Колчерукого люди смеялись, как на празднике, потому что он — в последний раз — победил и потому что о человеке, сумевшем так умереть, нельзя плакать.)

Сопоставляя себя с такими людьми, завидуя их мощной цельности и завершенной красоте, Искандер и грустит, что ему с ними силами не померяться — неравны, и гордится текущей в его жилах кровью этих чудесных трудяг, щедрых друзей и веселых собутыльников, знающих цену вину и жизни. Есть у него и надежда: тонкая девчушка Тали, с «лунной линией подбородка», напряженная как струна в готовности зазвенеть от первого прикосновения любви. «Кто не

видел Тали, тот много потерял в жизни, а кто видел ее и сумел разглядеть, тот потерял все, потому что в его душе навсегда застревала влажная тень ее образа...». Кажется, что еще можно написать сегодня о любви, что не было бы уже кем-то сказано или пропето, что не напоминало бы о тысячах строк и слов? Фазиль Искандер — смог. Он написал женщину-ребенка, такого, казалось, далекого от взрослой жизни и взрослых желаний, что ей еще наливать и наливать соком до настоящей зрелости. Но именно к ней любовь приходит задолго до того, как она успевает осознать весь смысл этого понятия, узнать ему имя и жаркую цену. Именно эта малышка-соломинка удирает в пятнадцать лет к любимому (не забыв прихватить выигранный в серевновании патефон), и пустившиеся в погоню родственники и односельчане, дойдя до поляны со следами копыт двух привязанных к дереву лошадей, вдруг обнаруживают рядом и следы любовного урагана такой силы, что смущенно возвращаются восвояси: ясно, что не умыкнул Тали злой соблазнитель, — сама она бежала к нему, и теперь ее уже не остановить и не вернуть. И хоть живописные причитанья и женский вой продолжают оплакивать «голубку, унесенную ястребом», но в них нет уже особой уверенности, зато слышится почтительное изумление: ого-го, ну и Тали, ну и легонькая певунья Тали! Тали для Искандера — не только праздник Любви и Красоты, но и залог того, что не все еще, быть может, потеряно, что есть кому нести в будущее певучую и жаркую кровь дедов.

В единственном советском книжном издании «Сандро из Чегема» (М., «Сов. писатель», 1977) опубликована только четверть романа. Достаточно сказать, что в издании американского издательства «Ардис» — 604 страницы мелкого шрифта, а в московском — 240 обычного. Если учесть, что и американский вариант — неполный, то можно считать, что советский — это пя-

тая часть всего романа. Помимо того, что в нем купированы целые главы (что очень легко сделать из-за самого новеллистического приема, в котором написан роман), в нем купированы отдельные страницы или части их; оборваны фразы, иногда заменены отдельные слова. Направление, в котором проводилась цензурно-издательская правка, понятно и так, в особых комментариях не нуждается: резалось все, что напоминает или представляется антисоветчиной; не заслужившие реабилитации имена — а также имена, тайно реабилитированные (Сталин, прежде всего); места, где речь идет об арестах и репрессиях; тщательно вычищены сцены крестьянской сходки, устроенной меньшевиками во время гражданской войны, — да всего не перечислишь: нет почти ни одной нетронутой страницы. Но одно поразило меня больше всего: одна выразительная мелочь. В сцене сходки оратор-меньшевик говорит: «Чтобы окончательно Ленина победить, нужно три вещи...» А голос из толпы отвечает: «Ленина сами русские победить не смогли, а ты что, сможешь?» Так вот в обеих этих фразах имя Ленина убирается (несмотря на вполне позитивный контекст второй), во втором случае оно заменяется словами «советская власть»: «советскую власть сами русские...» и т. д., хотя не мог абхазский крестьянин употребить тогда это выражение — он его просто не знал. Однако редактору-цензору кажется более приемлемым поставить под сомнение «триумфальное шествие советской власти», чем позволить употребление в таком контексте имени идола. Воистину прав Искандер, когда утверждает в финале романа, что все беды наши происходят от того, что уже много десятилетий страной правят люди без чувства юмора. И единственное, что всем нам осталось, — это не потерять его, как не потерял его Фазиль Искандер — человек, влюбленный в Любовь.

ЗАКАТ ИЛИ ВОСХОД ЕВРОПЫ

(После выборов в Европейский парламент)

В свое время великий Достоевский уже отмечал, как дороги сердцу всякого мыслящего русского «священные камни Европы». Именно здесь в муках и крови рождались благотворные принципы демократии. Именно здесь в огне величайших испытаний двух мировых войн она — эта демократия, — хоть и с огромными политическими и территориальными издержками, но все же отстояла свое право на существование перед натиском коричневого, а затем и красного тоталитаризма. Именно здесь, на крохотном клочке европейской суши, решается сейчас самый роковой вопрос современного мира: быть или не быть демократической цивилизации?

Но роль Европы в истории христианских времен не ограничивается лишь собственной территорией. Если ретроспективно взглянуть сейчас в прошлое, то нетрудно убедиться, какое огромное влияние оказала европейская культура на современный ей мир в целом и на Россию в частности. Это влияние в течение веков сказывалось на всем укладе русской жизни: в политике, государственном строительстве, культуре, религиозной и философской мысли. Наши музыка, литература, искусство являются продуктом европейского духа и целиком опираются на европейские традиции. Этого очевидного феномена истории не может отрицать ни один самый придиричивый русофоб или западный изоляционист.

Таким образом, находясь большей своей частью в Азии, Россия в то же время духовно принадлежит

Европе, и в этом, на мой взгляд, ее роль и значение для нашего континента в целом. Символически соединив в своем лице ипостаси двух противостоящих цивилизаций, русский народ волею судеб сделался объектом борьбы между ними, и от того, какая из них — этих ипостасей — победит в нем, зависит будущее современной Европы.

Нам понятен поворот многих западных политиков к сближению с Азией, которая, по их мнению, может служить сегодня единственным противовесом той смертельной угрозе, которая нависла над западной демократией со стороны восточного тоталитаризма. Но если они действительно считают себя реалистами, то им необходимо отдавать себе отчет в том, что рано или поздно, может быть, даже в самой отдаленной перспективе, столкновение двух цивилизаций неминуемо, и в том судьбоносном противоборстве, к сожалеению или к счастью, но лишь от воли и мощи стоящей между ними России будет зависеть склонить чашу весов в ту или другую сторону.

Как это ни парадоксально, но политически и психологически отбросив современную Россию на азиатский континент, европейцы тем самым приближают границы Азии к берегам Эльбы, то есть непосредственно к собственному своему порогу, и наоборот: признав ее частью европейского материка, они раздвигают пространство Европы до ворот Тихого океана.

Разумеется, процесс этот будет носить обоюдный характер. Прежде чем стать Европой, современная Россия должна обновиться, как политически, так и духовно. Русскому народу, в свою очередь, пока не поздно, необходимо осознать, что только в тесном единстве со своими западными соседями — залог его национального и государственного существования в будущем, гарантия подлинной политической независимости, основа культурного и экономического развития.

В эволюции к такому общественному состоянию мне и представляется смысл и значение нашего демократического движения. Усилия его лучших людей — от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до Владимира Буковского и Петра Григоренко — направлены на то, чтобы прежде всего создать в нашей стране посылки для ее освобождения от идеологического гнета, ибо, только сбросив с себя оковы тоталитарной психологии, Россия сможет на равных войти в семью европейских народов.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Трудно, если вообще возможно, предсказать, как, в каком направлении будут разворачиваться события ближайшего времени, но можно с уверенностью утверждать: только от степени объединения всех сил свободы нашего материка зависит сейчас, что нас ждет впереди — закат или новый восход Европы — Европы от Марселя до Владивостока.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРОНИКА»

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, выпуск 50, 1979 г., цена — 5.00; выпуск 51, 1979 г., цена — 5.00.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР, выпуск 5, 1979 г., цена — 5.00.

ХРОНИКА ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 1979 г., 245 стр., цена — 8.00.

Александр Подрабинек. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 1979 г., 192 стр., цена — 7.00.

Также в продаже

Владимир Буковский. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕРАН... 1978 г., 384 стр., цена — 12.00.

Александр Некрич. НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ. 1978 г., 170 стр., цена — 7.00.

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Выпуск 1. 1978 г., 600 стр., цена — 15.00.

СССР — РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? Составитель В. Чалидзе. 1978 г., 166 стр., цена — 7.00.

Валентин Турчин. ИНЕРЦИЯ СТРАХА. СОЦИАЛИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ. 1978 г., 296 стр., цена — 10.00.

Заказы направлять по адресу:

**KHRONIKA PRESS
505 EIGHTH AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10018**

Цены указаны в долларах.

Критика и библиография

ПАМЯТИ ХОДАСЕВИЧА

К сорокалетию со дня смерти

Когда речь идет о литературе, создаваемой в эмиграции, постоянно приходится сталкиваться с навязшей в зубах концепцией советского литературоведения: талант любого поэта, писателя, художника за рубежом чахнет и пропадает. О Владиславе Ходасевиче в КЛЭ написано: «...он все чаще выступал как критик и мемуарист, в том числе и со статьями антисоветского характера. *Соответственно* убывает его поэтическая продукция» (подчеркнуто мной.— В. Б.). Так «научная концепция» оказывается школярским подгоном литературной реальности «под ответ».

Обратимся лучше к самому поэту. В авторском предисловии к «Собранию стихов» он писал: «Сборник составлен из книг «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», к которым под общим заглавием «Европейская ночь» прибавлены стихи, написанные в эмиграции. Юношеские мои книги «Молодость» и «Счастливый домик» не включены сюда вовсе». Это высказывание очень важно — необычайно строго относившийся к своей работе, Ходасевич вообще исключает из своего творчества две ранние книги, в которых он представлял как подражатель символистов. Что касается книг, которые поэт числит в своем активе, то — хочет того «Краткая литературная энциклопедия» или не хочет — они входят в золотой фонд русской поэзии, и самая зрелая и сильная из них, безусловно, «Европейская ночь» — последняя книга Ходасевича.

Между тем, у Ходасевича значение книги как единого целого настолько велико, что говорить об отдельных стихах, а не о книге в целом вообще невозможно. Первая из признанных самим Ходасевичем книг — «Путем зерна». Вся книга, состоящая всего лишь из 35 стихотворений, не только связана единым стержнем лирического настроения, но составляет и редкостное тематическое единство. Сверх-

идея книги, как в зерне, содержится в первом же стихотворении ее:

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойди во мрак — умрет и оживет она,
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

В этих обнаженных, строгих, классицистически точных строках — вся мысль книги. Та мысль, которая в Евангелии сформулирована в трех неисчерпаемых словах: «смертию смерть поправ»; та мысль, которая держала на себе философию античных орфиков; мысль, которая, как это ни парадоксально, находит себе подтверждение даже в таких вполне материально-конкретных областях науки, как, допустим, иммунология: организм становится толерантен к приживляемому чужому органу, лишь будучи предельно ослабленным, на грани клинической смерти. То же — с пересадкой костного мозга при облучении: если доза не смертельна — пересадка не спасает...

Не случайно я остановился на примерах из философии и науки — все творчество Ходасевича философично, и поэтому наиболее отвечающей его таланту, самому строю его личности оказывается классицистическая поэтика, лишенная всего, что не является в стихе жизненно необходимым. Отсюда же порой архаическая лексика, обнаженность поэтической речи, чеканность звучания и выходящие в конечном счете в высокий стиль, поначалу вполне бытовые картинки его поэм, написанных белым стихом, максимально приближенным к прозе.

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку —

писал Ходасевич в 1926 году.

«Тяжелая лира» — следующая книга Ходасевича — вышла в 1922 году. Эта книга отличается от предыдущей прежде

всего не просто ощущением своей человеческой роли, а ощущением трагической роли поэта, в котором вечная битва между духовным, божественным началом и тварным, земным особенно остра. В этом смысле у Ходасевича поэт — это человек в его самом типическом — точнее, в самом классицистически чистом виде.

Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый,
Психея падает под ним...

Вот почему книга названа «Тяжелая лира». Груз на душе поэта — это весь человеческий груз, во много раз более тяжелый... К этой теме поэт подходит опять-таки с разных сторон, но любое из стихотворений книги затрагивает ее и только ее, хотя всякий раз под другим углом зрения. И, говоря чуть иронически, что «всем равный жребий, вдоволь хлеба отмерит справедливый век», поэт замечает, что вот тут-то человек и поймет нечто совсем иное: «И одиночество разыграет, и душу гордость окрылит, он неравенство оценит и дерзновенья пожелает». Отсюда тяга поэта к тем крайним выражениям, которые могут, как кажется, избавить человека вообще, а уж поэта — тем более, от мучительной двойственности его человеческой сути:

Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон,
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

Такая позиция неминуемо ведет к скепсису, скепсис же, поднимая сознание над обыденностью, ведет к ироническому восприятию действительности, когда иные страсти, для многих людей составляющие суть жизни, поэту кажутся лишь оперно-балетными условностями:

Да, да, в слепой и нежной страсти
Переболею, перегори,
Рви сердце, как письмо, на части,
Сойди с ума, потом умри,

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.

(«Жизель»)

Если это и звучит с цинизмом застарелого скептика, то цинизм этот — от пессимистического всезнания, всеведения, когда, и верно, кажутся мелкими и недостойными названия трагедии оперные страсти, когда обывательский мир, мир «теплохладных» вызывает и жалость, и презрение. И вместе с тем живучесть этого мира всесветного мещанства, который отрастает, как хвост у ящерицы, после любых катастроф, не может не повергнуть в ужас. Не может не вызвать желания призывать апокалипсические миги, чтобы все сущее прошло путем зерна — и, погибнув, возродилось уже очищенным от пошлости.

Смотрю в окно — и презираю,
Смотрю в себя — презрен я сам,
На землю грома призываю,
Не доверяя небесам.

Мир безнадежной обывательщины и серости, изображаемый Ходасевичем (хотя бы в его «бытовых» поэмах), в чем-то перекликается со «страшным миром» Александра Блока. Но у Блока контрастом миру «пыли переулочной» возникает неземной образ, из безнадежности его поэзию выводит Прекрасное как высшая истина духовности — Ходасевич же лишен этой альтернативы: «Все, что так нежно ненавижу и так язвительно люблю», — говорит он о мире. Он — поэт безнадежности, которую выразил, как никто иной, с такой точностью холодного математика, что порой звучит в этом нечто нечеловечески жестокое. И прежде всего — по отношению к самому себе. Его «Цветы зла» не смягчены красотой — пусть антиэстетической, но все же красотой, какая спасала от отчаяния Бодлера. Эти «Цветы зла» носят у Ходасевича название «Европейская ночь».

За эти стихи последней и лучшей из его книг — заплачено кровью. «Амортизация сердца и души» (выражение Маяковского) тут заметна более, чем у кого-либо из современ-

ных ему поэтов. Самоотрицание, логический финал поэзии Ходасевича, — результат последовательного поэтического развития всех его философских концепций. Самоотрицание — высшее и наиболее обнаженное выражение отрицания мира, где тварная природа человека, воплощаясь в самые обывательские формы, заглушает душу, как бурьян... И, выдирающаяся из этого бурьяна, душа обречена снова упасть:

Все бьется человеческий гений,
То вверх, то вниз, и то сказать:
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

И выход — опять падение в быт:

Нет, полно, тяжелеют веки
Пред вереницею Мадонн,
И так отратно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

Потрясающая стилистическая точность в этом контрасте высокого стиля с двумя последними строками: и сама лексика предельно снижена — даже упомянутый тут пирамидон, и тот не просто кислый, а кисленький, да и синтаксис этих строк подчеркнуто прозаический.

«Европейская ночь» — книга отрицания старого мира, но не во имя того нового миропорядка, который для поэта означает повальное безумие и, на его пророческий взгляд, страшнее гибнущего. Самоотрицание, квинтэссенция этого отрицания, заставляет поэта торопить апокалипсис, в этом-то и просвечивает луч надежды: погибнув и пройдя «путем зерна», мир, может быть, и возродится... Моментами Ходасевич взлетает в область чистых пророчеств: в излучении радиостанций, которое он физически чувствует как что-то, что пронзает тело, поэт видит один из сигналов апокалипсических событий...

О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!

И мелко, и неверно было бы вообще упоминать какие-то политические мотивы в поэзии Ходасевича — до таких ли мелочей ему с высот апокалипсического видения мира? Всякого мира, без особого различия на Европу и Советскую Россию, не в них дело — всё это детали, разные формы того предгибельного мира, который, не погибнув, не возродится. В самоотрицании воплотилось все его мировидение, а уж после этого, после «Европейской ночи», по логике Ходасевича писать было не о чем, и его поэтический путь, и верно, окончился. Он и тут остался последователен в самом буквальном и предельном смысле.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

(«Перед зеркалом»)

После такого, по логике вещей, писать стихи уже было невозможно. И Ходасевич перестал их писать. Перестал на высшем взлете таланта и мастерства.

В. Бетаки

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА БУДУЩЕЕ

«Дисциплина в Красной Армии основана на жестоких наказаниях, в особенности на расстрелах... Наша дисциплина в Красной Армии может быть названа, в полном смысле этого слова, кровавой дисциплиной... Мы должны будем от подавленности и от жестоких наказаний, т. е. от террора, перейти к данным морального порядка... Нам необходимо иметь прежде всего в виду красноармейскую массу. Мы должны создать для нее хоть какой-нибудь просвет, мы должны

Память. Исторический сборник. Выпуск 2. Москва 1977 - Париж 1979. ИМКА-Пресс, 1979.

найти какой-нибудь импульс, придающий ей устойчивость в опасные минуты...»

Ежегодно отмечая день рождения Советской Армии, имеет ли возможность страна вспомнить и задуматься над этими мыслями Первого Главнокомандующего Вооруженными Силами, изложенными им в секретном докладе Ленину в январе «незабываемого» 1919-го? К несчастью, будущее в стране создается на основе целеустремленного забвения прошлого. Замалчиванием документов. Физическим изъятием носителей памяти. Сын курляндского батрака, выпускник Академии Генштаба, полковник царской армии Иоаким Иоахимович Вацетис в 1917-м выбрал советскую власть, спас ее, подавив 6 июля 1918 г. восстание левых социал-революционеров, остался верен выбору до конца, до смертной казни в 1938-м. В силу авторской честности, добросовестности и нелицеприятности и упомянутый выше доклад, и мемуары Первого Главкома, законченные еще в 1933-м, по сей день остаются за границами дозволенной свыше исторической памяти. Этим докладом и двумя фрагментами из мемуаров открывается 2-й выпуск «Памяти».

В дни 150-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого уместно вспомнить о трагической судьбе толстовства — как организованного движения — на территории СССР. Раздел «Воспоминания» исторического сборника содержит записки В. В. Янова (1897—1971), крестьянина, всю свою жизнь трудившегося на земле, убежденного толстовца, оставившего по себе свидетельство об истории человеческого духа, выстоявшего и на допросах в ЧК, и в «малых», и в «больших» зонах российской реальности сего века.

Автобиографическое произведение Р. И. Пименова, первой частью которого завершается раздел «Воспоминания», рассказывает о становлении гражданских чувств в эпоху XX съезда и подавления венгерского восстания, о политической деятельности автора и его единомышленников в контексте неофициальной общественной жизни Ленинграда середины 1950-х гг. Исповедальность тона, юмор, способность к самоиронии, интеллектуализм, насыщенность живыми подробностями — все это с лихвой искупает некоторую композиционную громоздкость записок о мятежной юности середины века.

В разделе «Статьи и очерки» опубликованы заключительные главы из книги Марка Поповского «Дело Вавилова»; публикации предпослано интервью, данное автором редакции «Памяти» еще в стране (в конце 1977 г. писатель эмигрировал) и описывающее подвижническую работу над книгой о выдающемся русском ученом, приговоренном 9 июля 1941 года к смертной казни. Впоследствии казнь заменена была 20 годами заключения, на второй год которого академик Вавилов умер от дистрофии в Саратовской тюрьме и был закопан в одной из безымянных массовых могил. Обнаженный нерв письма сообщает беспощадную взрывчатость этой фактографической эксгумации одной русской судьбы. Мастер по извлечению исторической правды, Марк Поповский своим емким, динамичным, напряженнейшим дознанием по делу о крупном злодеянии сталинской эпохи способен спровоцировать катарсис гражданственности, пожалуй, даже в бетонном надолбе...

Раздел «Из истории культуры» открывается выдержками из дневников 1917—1921 гг., письмами и интервью русского писателя Владимира Галактионовича Короленко, последние годы жизни которого пришлось на гражданскую войну. Традиционная позиция русского гуманизма — всегда быть на стороне жертв — в случае с В. Г. Короленко с честью выдержала натиск кровавой античеловечности. До последних дней жизни русский писатель исполнял долг ходатая за невинно осужденных, и это на его слова: «Ведь вы знаете старое правило: лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невинного» — губернский комиссар юстиции Соломон Донович Сметанич (спустя полвека ставший «почетным гражданином г. Полтавы») судьбоносно отрубил, все в том же «незабываемом» 1919-м: «При классовой борьбе мы этого не признаём. Мы считаем, что наоборот».

Публикация последних прижизненных записей В. Г. Короленко является еще одним свидетельством, что русская литература этой формулы нового человеколюбия не признала; те же, кто признал, от подлинной литературы отпал в соцреализм, в этот особый род фарисейской словесности применившихся к подлости. Ряд публикаций «К биографии О. Э. Мандельштама» содержит характеристику иных из применившихся. Алексей Толстой получил пощечину от Осипа Эмильевича, и вот группа соцреалистов, торопливо заяв-

ляя свою политическую лояльность, направляет коллективный адрес на имя «красного графа»: «Мы с большим удовлетворением отмечаем ту исключительную выдержку и твердость, которую Вы проявили в этом инциденте. *Только* так и мог реагировать подлинный советский писатель на истерическую выходку человека, в котором до сих пор живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды»... К 1934 году облик «писателя нового типа» сформировался окончательно. Осип Эмильевич, сброшенный в яму ГУЛага с биркой, навязанной поверх лодыжки, в смысле помпезности проводов «в последний путь» не превзошел одного из «подписантов» — недавно почившего депутата Верховного Совета Н. Тихонова, литератора, всю жизнь состоявшего на выслуге у власть имущих. Любопытна переписка Осипа Эмильевича с создателем и первым директором Государственного Литературного музея Бонч-Бруевичем: то ли чутко распознав нимб гибельности над челом поэта, то ли будучи в курсе намеченного «изъятия», этот чиновный ворон спешит закупить личный архив поэта...

«Еще одна версия звонка Сталина Пастернаку» в сообщении Н. Селюцкого подтверждает порядочность поведения коллеги Мандельштама после ареста последнего, а «Несколько штрихов к портрету Б. Л. Пастернака», вступавшему в переписку с эзками ГУЛага, еще раз свидетельствуют о незаурядном для той эпохи гражданском мужестве второго нобелиата России.

В этот же раздел «Памяти» входит сообщение очевидца доклада Жданова (знакомое читателям «Континента») и «Записки читателя» А. Булатова, скрупулезно выявляющие извращения творчества Анны Ахматовой в ее посмертных госиздатовских сборниках.

Раздел «Из истории религии» содержит реферат записок В. Я. Василевской «Катакомбы XX века». Сообщение В. Глазова, предваряющее публикацию, посвящено истории так называемой катакомбной Церкви — островков «чистого» православия, не смирившихся с декларацией лояльности Патриаршей Церкви по отношению к советской власти и на протяжении 1927—1945 гг. служивших в подполье. В. Я. Василевская запечатлела светлые образы своих духовных наставников — отцов Серафима и Петра. К сообщению приложены два письма — из полученных ею от «катакомбных»

отцов. В 1937 г. отец Серафим призывает свою послушницу к «непрестанной памяти Божьего присутствия»... Второе, присланное отцом Петром из ссылки, проникнуто твердой и покойной радостью. Из недр ГУЛага священник продолжает свой духовный труд: «Старайтесь только сделать в своем положении в настоящее время максимум добра людям...»

В этот же раздел входит ряд материалов к биографии В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки), видного церковного деятеля и замечательного русского ученого (1877—1961), двенадцать лет проведенного в ГУЛаге*.

В разделе *Varia* прежде всего должно отметить потрясающий отрывок из автобиографических записок Д. Гринкевичюте «Литовские ссыльные в Якутии», приводящий трагические факты умерщвления литовских детей и женщин, посланных за Полярный круг.

Рассказ о чекисте А. Новикове, в 1922 году по велению совести порвавшем с ГПУ и партией и в спокойствии духа принявшим за это казнь; сообщение о побеге из ГУЛага в поздний период его существования, с конца 30-х до начала 50-х гг.; очерк о доносительской деятельности некоей Зинаиды Немцовой во время Кашкетинских расстрелов 1937 года (опубликованный ранее в «Континенте»); заметка о судьбе немецкого парнишки, героя пионерского бестселлера 30-х гг., Губерта Лосте, привезенного в СССР М. Е. Кольцовым и попавшего вслед за своим опекуном в ГУЛаг; отрывки из воспоминаний С. С. Маргулиса, большевика образца 20-х годов, типа гулаговских «ортодоксов», описанных А. И. Солженицыным; рассказ крупного ученого-лингвиста И. А. Мельчука, ныне профессора Монреальского университета, о попытках КГБ завязать контакт с ученым в бытность последнего гражданином СССР — этими фактическими материалами завершается раздел *Varia*, исчерпывающий содержание 2-го выпуска «Памяти».

Зарубежная критика отметила выход в свет «Памяти» — и риск, связанный с добыванием материалов, и добросовест-

* В сборнике, воспроизводящем полученный самиздатский экземпляр, не раскрыты инициалы публикатора этих материалов — М. П. Это Марк Поповский, книга которого «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» также недавно выпущена издательством ИМКА (Париж, 1979). — Прим. ред.

ность, так сказать, академизм в подготовке их, организации и комментировании (см., например, статью Ю. Вишневской в «Синтаксисе» №3). Дело по изданию исторического сборника, объединившее свободомыслящие силы страны, общепризнанно. Важность «Памяти» несомненна — и именно сейчас, когда род воспоминательной литературы становится основным полем битвы живой реальности с официозным мифотворчеством. Что же на самом деле было? Что довело до жизни такой эту страну мрачного величия, способную в любой последующий исторический момент поставить эсхатологическую точку над «i» человеческой истории? И «Архипелаг ГУЛаг», впервые вскрывший кровавый архетип нашего коллективного подсознания, и сборники «Памяти», по сути, являются борьбой за возвращение страны к реальности. Страна с историей ирреальной, замолчанной, с прошлым, угодливо видоизменяющимся в «свете решений» данного преходящего политического момента, способна оказаться бессильной перед Будущим своим — и кто поручится, что правящие руки, покрытые пигментационными пятнами дряхлости, не нащарят однажды кнопку всеобщей и полной аннигиляции, снимая с повестки дня неразрешимый вопрос?.. Появление исторических сборников «Память», связующих воедино времена реальностью живых человеческих судеб, отражает глубинную озабоченность страны своим будущим, в конечном счете — волю к непрерывности биологического бытия и страны, и мира.

Сергей Юрьенен

УДАВ И НОЖНИЦЫ

Хотя мы и раньше сознавали, что всякая на совесть сделанная литературная «штука» становится в нашей стране апокрифом и диссидентом, «Метрополь» поражает очевидностью подобного заключения, к которому каждый год приходит несколько хороших и разных писателей, относя заявление в ОВИР.

Парадокс в том, что авторы «Метрополя» как раз и восстают против этой фатальной логики. Это их страна от

Метрополь. Ардис, Анн Арбор, 1979.

Балтики до Камчатки, и они не собираются покидать ее добровольно. Они хотят жить в ней, пользоваться всеми правами и получать такое же удовлетворение от работы, как и создатели синхрофазотронов, парков, ракет и танцев в защиту мира.

Осуществлению этого справедливого требования препятствует цензура, и альманах объясняет ее произвол «неприятно к непохожести», «мещанской ненавистью ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям», то есть к самому феномену искусства.

Но нам думается, что составители оптимистически заблуждаются, ограничивая конфликт психологической и стилистической областью. Среди них, пожалуй, лишь Сапгир и Вознесенский могут эпатировать вкусы идеологии звуковыми и семантическими кощунственными эффектами, безоглядной игрой слов. Скажем, прочтет начальство у Вознесенского, как «заасфальтировали (...) первое свиданье за помойкой» и побагровеет за нашу романтическую, умытую комсомольской росой *мблodeжь*. И вспомнит начальство, как хороши, как свежи были розы прежней литературы...

Вникая в «бездомный пласт» отечественной словесности, мы убеждаемся, что у начальства были более серьезные основания отправить рукописи в корзинку. Его недреманное око мигало красным светом всякий раз, когда нарушалась *запретная зона*. И таких зон в альманахе насчитывается, по крайней мере, три. Это, конечно, горняя любовь, любовь земная и нелюбезное изображение тех, кто в этой юдоли мешает нам предаваться и той, и другой. Короче говоря, Бог, эротика и начальство.

Бог расположился в «Метрополе», как дома. Стал крестиком на ткани стиха и прозы. Конечной остановкой лирического и философского маршрута. Когда поэтесса И. Лиснянская сообщает: «Я случайно зашла в эту церковь», — мы не очень верим ей. В своей подборке она не пропускает ни одной церкви. Но, припадая к Его стопам, писатели, бывает, теряют дар речи или говорят «чужим» (по признанию Лиснянской), велеречивым слогом: «Любовь есть Бог, а разве можно Бога в последний раз иль в первый раз любить?» (С. Липкин).

То-то и оно, что Бог воспринимается ими порою завершением пути, а не бескрайностью открывшегося откровения

и поиска. Не освобождением, а утешением. И тогда Его отцовская рука ложится на седые головы пятидесятилетних мальчиков и девочек с русского Парнаса...

Самая длинная повесть сборника («Ступени» Ф. Горенштейна) — о «подлинном атеисте». Он полагает, что «Евангелие есть история болезни древнего иудея из Назарета». Его облик, проповедь и отношения с окружением суть сублимированные симптомы каменно-желчного заболевания и полового воздержания.

Клиническому анализу Святого Писания посвящена диссертация героя, но поле его интересов — шире. Из размышлений о прогрессе, о власти, о слезе ребенка — этой меновой стоимости будущей гармонии, Юрий Дмитриевич создает без божества, но с вдохновением свой собственный макромир, религией которого провозглашено Познание. И чем выше он взбирается по «ступеням» Познания, задевая руками звезды, тем безнадежней и глубже погружается в безумие...

То, что научный, ядерный и политический позитивизм обретает в наши дни черты паранойи, в этом мы легко согласимся с писателем. Но нас не покидает ощущение, что автор валит на больную голову слишком глобальные и слишком клочковатые свои же онтологические представления. Герой раздавлен непосильной задачей. Но, спрашивается, посильна ли она для литературы? И может ли эпос сформулировать то, что перерастает его опытную делянку, его экзистенциальный микрорайон?

Вдаваясь в позитивные доказательства существования души в форме научно-популярной статьи В. Тростникова или же в доказательства от противного в форме «записок сумасшедшего», мы невольно соотносим оба текста с иной попыткой теологического размышления, принадлежащей А. Битову. На вопрос, верит ли он в Творца, автор (или лирический герой?) восклицает:

— Как же в него не верить, когда вот... — сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас...

Бог Битова довольствуется мирской жилплощадью. И трансцендентное в ней не равносильно спущенному сверху. Промысел — там, где сходятся связи самого писателя с

историей, с природой, с животными и людьми, населяющими Россию, потому что «народ — и уж не песенки, не березки». Народ — «Божья судьба, которая с кем-то еще на Земле происходит». Религиозная мысль Битова начинается не с нуля, не с неопитского усердия и церковного романса, а прямо с того места, где она была оборвана идеологическими вандалами на самом высоком витке своего духовно-культурного взлета.

Земная любовь — вторая сквозная тема «Метрополя». Особенно много ее в «Четырех темпераментах» В. Аксенова. Действие пьесы совершается в далеком будущем, когда ученые научились обращать человека в кибернетическое устройство и работают уже над трансформацией покойников. Но как довести эксперимент до победной цели, если у Кибера при встрече с женщиной произрастает на глазах у зрителей «живой чудеснейший орган» и Кибер деградирует в человеческое состояние!

Наивный и феерический балаган Аксенова по своему жутковатому любопытству к запретному плоду напоминает средневековую мистерию с происками змия, подробностями грехопадения и языками адского пламени, зализывающими грех сладострастия. Только у Аксенова любовь не порочна, а благодатна. Она разрушает расчеты лукавого, вызволяя человека из уготованной ему технократической и идеологической роботизации. Любовь писателя исходит то плотским неистовством, то тоской по нездешнему идеалу, по прекрасной незнакомке, шелками схваченной, и эта тоска называется культурой. Больше антифилософу Аксенову нечего предложить для нашего с вами спасения. Но разве этого мало?

«Метрополь» переживает эротический бум. Здесь и грубая народная любовь, чьи стоны оскорбляют молодого поэта, сочиняющего в соседней комнате стихи про розу и соловья (Е. Попов). Здесь и пособие по половому воспитанию молодежи с подробными иллюстрациями, отснятыми непросветленной оптикой П. Кожевникова. Здесь и рассказ того же Попова о молодоженах, ударниках коммунистического труда...

Читатель, на которого альманах произведет впечатление сексуальной озабоченности, не должен упускать из виду, что главным редактором этого свободного издания можно по праву и по грустной иронии судьбы считать Главлит.

«Метрополь» — всесоюзная редакционная корзинка, чье содержимое настрижено ножницами цензуры.

Итак, счастливая ударница рада готовить мужу вкусные обеды и покупать ему носки. Но она избегает близости с ним. Как будто упасть в объятия мужа означало бы выпасть из объятий идеологии, как будто верность супружескому долгу была бы непременно изменой идеологическому! Драма юной ударницы вскрывает противоестественный характер отношений между идеологией и гражданином, что, между прочим, прекрасно уловил Ф. Горенштейн:

«У кролика и удава общая идеология, и это ведет к телесному слиянию... Кролику даже лестно иметь общую идеологию с удавом. Кролик перестает быть кроликом и превращается в удава. За исключением, разумеется, физиологических отходов».

Добравшись, таким образом, до «сексуально-метафизических корней фашистского нарыва» (цитирую француза Ф. Соллерса), мы лучше понимаем, почему свирепствуют ножницы цензуры. Дело, конечно, не в ее чопорных вкусах, а в самой настоящей ревности. Идеология страшится измены и не допускает утечки энергии. Она оскопляет отечественную литературу и насаждает бумажные розы бесплотной любви. А с удавом, этим символом идеологии, мы еще встретимся в рассказе Ф. Искандера «Маленький гигант большого секса».

Вышеозначенный персонаж стал ухаживать за женщиной, имевшей, как она его предупредила, «высокого покровителя». И вот, в тот самый момент, когда пора было от застольного пиршества перейти к постельному, к дому подкатила машина. Спасаясь через сад, герой признал в человеке, сидящем в *зисе*, своего земляка, «первого чекиста страны».

С тех пор у него было немало знакомств. Но всякий раз, когда наступал кульминационный момент свидания, — героя посещал зловещий образ Берия, и наш «Наполеон в любви» терпел очередное «Ватерлоо».

Избавиться от наваждения ему помог роман с укротительницей удава. Удав жил с ней в гостинице и, стало быть, присутствовал при разжигании любовного костра хозяйки с гостем. И когда злобная головка удава, накрытая по-старушечьи персидским платком, шипяще и ревниво устремля-

лась в их сторону, к герою возвращалось самообладание, и ему снова сияло солнце Аустерлица.

Так реальный образ всемогущего начальника сделался парализующим символом, а униженный и оскорбленный, снедаемый ревностью символ вернул героя к реальности, хотя и реальность, как выяснилось позже, не думала отказываться от реванша. История завершается смертельной схваткой персонажа с окрутившим его удавом.

Начальство — третья недозволенная тема альманаха. Вход в его душу охраняется так же строго, как и в закрытый распределитель или в сектор правительственных дач. Начальство эволюционировало в особый вид, оказавшийся за чертой человеческого рода, и в поисках адекватного этому итогу изображения проза пытается выбраться за пределы традиционного социологического психологизма.

Молодой преподаватель МГУ («Трехглавое детище» Виктора Ерофеева) устал от материального прозябания, квартирной скученности, магазинных забот-очередей. Он мечтает примкнуть к советской знати, за что согласен платить любую цену. Игорь женится на студентке, которую каждое утро подвозит к факультету на Моховой отцовская машина. Перед ним поднимается шлагбаум, и Игорь проникает в заветную зону, где пьет коньяк и играет в бильярд с правительственным тестем.

Беда лишь в том, что на стороне у него имеется интрига и он к ней излишне привязан. Эта интрига задерживает омертвление тканей его души, необходимое для взлета карьеры, и Игорь опасается быть выбитым из удачно взятой траектории...

Повесть Ерофеева представляет, в сущности, реалистический вариант галичевских песен. С другим *бродячим сюжетом* мы столкнемся в прозе Б. Вахтина, в его рассказе, вышедшем прямо из гоголевской шинели.

Шинелью нашего времени является дубленка, и о ней грезит инструктор обкома. Филармон Иванович (так зовут современного партийного Акакия Акакиевича) — лицо, ответственное за театры. Инструктор по многу раз приходит на один и тот же спектакль, угнетая режиссера и актеров своего непроницаемой постной миной.

Авантюра с дубленкой совершенно преобразила (как и водится в данном сюжете) героя. Он обнаруживает изобре-

тательность ума, известное обаяние и житейскую мудрость. Выясняется, что театр — его тайная страсть, а полицейская дотошность — не более, чем служебная маска, под которой бурлят эмоции сопереживания. В конечном счете человеческое в нем возобладало над чиновным, нарушив равновесие между художественным театром и идеологическим.

Инструктора с позором выставляют из обкома, конфискуя при этом новую дубленку. Но, в отличие от Акакия Акакиевича, Филармон Иванович не бесчинствует на Невском проспекте и в промозглую петербургскую ночь не снимает дубленок с партийных сановников. Вечера он проводит в театре, где «смеется, плачет, шепчет реплики, подсказывает их актерам, хлопает изо всех сил».

Ленинградской манере Вахтина, так же как и московской — Аксенова, — противопоставлена иллюзия жизнеподобия. Реминисценции, швы и крепления конструкций у них беззастенчиво выставлены напоказ. Но такой «конструктивизм» не только не убивает, но, кажется, усиливает подлинность «сверхзадачи». И пресловутой «правды-матки» у Вахтина и Аксенова ничуть не меньше, чем в нарисованных с натуры жанровых сценках Попова.

Я не задерживаюсь на стихах, потому что они неотделимы от прозы. И если проза в альманахе то и дело тянется к абсолюту, стихи, будучи добротными сами по себе, выглядят в нем болтливymi, как проза. С нею не смешиваются Сапгир, Вознесенский, Алешковский, но это уже повод для самостоятельного разговора.

Настроение сборника далеко не бодрое. Порознь среди авторов различаются все «четыре темперамента», а вместе получается сплошная меланхолия. Оттого ли, что все публикации отравлены предчувствием ампутации, оттого ли, что «Метрополь» — слишком верное отражение нашей расправой действительности...

Как бы то ни было, «заграничная» русская литература куда как раскованней и мажорнее. Мы не найдем в ней застарелой и неискоренимой печали апатрида, окрасившей эмигрантскую литературу первой волны. Зато она почему-то дает себя знать в прозаическом дебюте Б. Ахмадулиной.

Элегический буффон и мученик Арк. Арканов терзается вопросом: «То ли меня ведут на казнь, потому что я все просмеял. То ли я все просмеял, потому что меня ведут на казнь?»

Авторы «Метрополя» надсмелись над цензурой, и самых великодушных и беззащитных из них, не заручившихся ни задней мыслью, ни «высоким покровительством», ведут нынче на казнь молчания или изгнания.

Какая же участь завиднее для профессионального «смехача»? Кому лучше пишется, молчальнику или изгнаннику?

В «Метрополе» нам нередко приходилось быть свидетелями, как в самое чудесное мгновение распаленной игры с музами писателя пригвождало к месту зловещее виденье в пенсне. Окончательно излечиться от такой напасти удастся, очевидно, только на Западе.

Но слишком велики утери изгнания. И не за всяким из нас, увы, готова муза увязаться в дальнюю дорогу...

Читая альманах, понимаешь, что русскому писателю ни в коем случае нельзя уезжать из страны. И еще понимаешь, что ему невозможно в ней оставаться. Какой вид казни ни выбирай, в выигрыше будут палачи. И нам вовсе не легче оттого, что победа их, по всей видимости, пиррова.

Эмиль Коган

СОХРАНИТЬ ДЛЯ РОССИИ...

Живет в Нью-Йорке писатель, которого в 20-е годы весь русский Париж попросту и ласково звал Яшей. Русский Париж того времени — понятие не совсем обычное: это особый Париж, особые русские и особые годы. Революция в России выплеснула на Запад огромную эмигрантскую массу, давшую свой культурный отслой — выдающихся писателей, художников, музыкантов. Над ними при всей разности судеб тяготело единое проклятие: жизнь без Родины. Это определило неповторимый, с налетом тоски и горечи настрой их творчества.

Андрей Седых, в ту пору молодой журналист, словно почувствовал свою миссию — собрать, сохранить для России, для потомков по штриху, по крупиночке облик этих людей на

Андрей Седых. Далекие, близкие. Третье издание. Изд. «Нового Русского Слова», Нью-Йорк, 1979.

последнем горьком отрезке их пути. Всех, о ком пишет, он знал лично, пытливо в них всматривался, впитывал жадной памятью, приметливым глазом. Книга эта создавалась не в год и не в два. Она складывалась десятилетиями, постепенно обретая завершенность и полноту.

Без особых рассуждений, в, казалось бы, случайной встрече Седых умеет раскрыть главное в натуре, биографии, судьбе. М. Волошин в Феодосии, приведя в семью гимназиста Яши своего знакомого, представляет его: «Поэт Осип Мандельштам. Его ограбили по дороге, у него нет ни денег, ни вещей. Ему нужен ночлег». Мандельштам читает стихи феодосийской публике. Толпа смеется над поэтом. Он гневно топает ногой, он готов расплакаться, и «маленькая его верхняя губа натянута, как у детей». Вот Волошин — «златокудрый Зевс» мчит в пыли на велосипеде, «ловко перебирая короткими мускулистыми ногами». Зевс на велосипеде — символ идиллической жизни в башне над морем. Автор вновь увидит Волошина, похожего на Бога, на этот раз библейского, с узловатым пастушеским посохом. Тяжело ступая, уйдет он из разрушенного городка и из своей идиллии навсегда.

Советский режим за редким исключением (Шаяпин, Бунин, Рахманинов) вытравил память о выдающихся русских деятелях Зарубежья из сознания новых поколений. Уже моему почти ничего не говорили имена Алданова, Ремизова, Тэффи, Дон Аминадо, Бурцева... Знали разве что Милюкова, да и то, спасибо Владимиру Ильичу, читали в собрании сочинений про «отъявленного негодяя и кадетскую сволочь». Седых раскрыл настоящего Милюкова, личность исключительную — блестящего журналиста, историка с мировым именем, выдающегося политического деятеля. Тут же выясняется, кстати, что Павел Николаевич обладал безошибочным историческим чутьем и что его прогнозы, в отличие от ленинских, почти всегда подтверждались дальнейшим ходом событий. Так, он предсказывал, что революция в обстановке войны приведет Россию к катастрофе, так он (парадоксально!), лидер думской оппозиции, стал последним защитником монархии, так уже в эмиграции он воспротивился кампании за вооруженную борьбу с большевизмом, справедливо полагая, что эта отравка может сгнить, лишь сама себя изжив. Прекрасен и высок патриотизм Милюкова во

время германо-советской войны. Для него, опять-таки в отличие от Ленина, интересы нации стояли выше партийных интересов. И, наконец, этот деятель, столь ненавистный пролетарскому вождю, обладал (чего не скажешь о последнем) энциклопедическими познаниями в области культуры — мог сочинить превосходную статью о греческой ли архитектуре, итальянской ли живописи, русской ли музыке.

Марка Алданова в Советском Союзе замолчали «крепче всего»: для властей не просто опасен, но страшен был этот ненавистник коммунизма, обличитель революции как тяжелейшего состояния общества, к тому же, вопреки марксизму, вовсе для него не обязательного. Алданов написал роман «Самоубийство», где показал Ленина не в привычной роли премудрого и превеликого, а как оно и было — опасным маньяком, который привел к гибели огромную страну. Капризны законы «воспоминательного» жанра! Живописный портрет самого Марка Александровича получился несколько суховат, а ведь Седых дружил с ним и работал в «Последних Новостях» без малого тридцать лет. Зато увиденный в жизни три раза батяня Махно, что называется, «ухватился»: «Лицо бритое, простоватое... сельский учитель с Украины, которому пошла бы вышитая рубашка». И впрямь «лицом к лицу лица не увидать», да и сам автор сетует, что «чем ближе человек, тем труднее о нем писать». Но, конечно, важнее другое — богато развернутая в книге личность писателя, переведенного почти на все языки мира, а на свой родной как бы не переведенного... Он ждет своего часа. Долго ли ждать?

Имя выдающегося деятеля партии эсеров Владимира Бурцева у нас на Родине знают, пожалуй, одни специалисты. В СССР не любят афишировать ярых врагов коммунизма. Бурцев же в этом смысле был врагом выдающимся. Именно он, чистейший идеалист, по определению Седых, «Дон Кихот эмиграции», — не уставал твердить: «Не вижу никого, кто бы занимался борьбой с большевизмом. Об этом хочу кричать...» Этот невзрачный старичок в порыжевшем котелке был настоящей грозой предателей. Он жизнь свою посвятил разоблачению провокаторов, ставших в ту пору поистине знаменем времени. История раскрытия Бурцевым печально знаменитого Азефа, услышанная Седых из первых уст, читается, как потрясающий детектив, где отслеживает-

ся не тривиальный, к тому ж придуманный убийца, а многолетний зловещий политический преступник — «мясник, повесивший на виселицу сотни людей». Любопытно, что товарищи по партии до последнего момента не верили Бурцеву, проклинали «фанатика» за подозрительность и сторонились, как зачумленного.

В воспоминаниях о Бунине и Ремизове особенно четко прослеживается сквозная тема книги — жалость и любовь к человеку. Любовь реальная, действенная, именно к ближнему в черный его день — деньгами ли, посылками, организацией ли сборов. В иных случаях поддержка Седых буквально спасала от голода писателей в тяжкие послевоенные годы. В аспекте же чисто литературном доброта порой вредила объективности отображаемого. Так получилось с портретом Бунина. Автор любит своего героя и не может его не щадить, скрывая теневые стороны, острые углы повседневной его жизни. Бунин четко прорисован в безысходности изгнания и нищеты, но за бортом остается горечь личной ситуации, о которой, думается, Седых, близкий друг семьи, не мог не знать.

Важна последовательно проводимая в воспоминаниях мысль о несгибаемости духа лучших русских творцов-эмигрантов и разоблачение советских фальшивок о том, что Бунин, Шаляпин, Куприн, Ремизов собирались вернуться на Родину. Да, они рвались вернуться — но в Россию без большевиков. Ремизов просто сбежал из советского посольства, Бунин мучительно переживал брошенную кем-то сплетню, что якобы он превратился в «перелета». Шаляпин же выразился хлестко и исчерпывающе: «В Россию я не вернусь. Довольно... Не люблю кланяться ни царям, ни псарям!» Куприн же не уехал — его увезли в Россию смертельно больного, потому что хорошо знали его заклинание: «Умирать нужно в России, дома... Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу».

У Черного моря Седых нашел Мандельштама и Волошина. У Атлантического океана — Бальмонта. Не поленился — поехал в заброшенную рыбацью деревушку и увидел на берегу человека, который шел по песку, «припадая на одну ногу, как раненая птица». То были дни мучительного заката поэта, чья слава прежде гремела на всю Россию. В эмигрантских холодных буднях немногие вспоминали о заносчивом

гордеце, к тому же тяжело психически заболевшем. Лишь душа действительно чуткая могла угадать, как «борется со смертью непокорный этот дух, как страшна его десятилетняя агония». Именно Бальмонт сказал о Седых: «Вы — многозоркий». То есть наблюдательный, ищущий. Вместе с отзывчивостью и добротой эти качества и позволили создать книгу, которую можно без преувеличений назвать одной из наиболее человеческих книг последнего времени.

Майя Муравник

Les Cahiers du Samizdat

(Тетради Самиздата)

Ежемесячное издание

В «Тетрадах Самиздата» печатаются выдержки из «Хроники текущих событий», «Хроники литовской католической церкви» и других самиздатских журналов. Приводятся воззвания, заявления для прессы, различная информация о жизни и положении демократических кругов в Советском Союзе, о религии и т. д.

Адрес редакции: Les «Cahiers du Samizdat» asbl, 105 drève du Duc, 1170 — Bruxelles, Belgique. Abonnement annuel 350 bfr. (Avion hors d'Europe 550 Fr.) CCP Bruxelles
n° 000-09718.85-42

Коротко о книгах

СВЯЩ. ДМИТРИЙ ДУДКО

ВО ВРЕМЯ И НЕ ВО ВРЕМЯ

«Жизнь с Богом», Брюссель, 1978

«'А Мария стояла у гроба и плакала:

Унесли Господа моего и не знаю, где положили Его'...

А мы разве не те же Марии, стоящие у пустого гроба? Унесли Господа. Да, об этом надо плакать и плакать. Унесли Господа, и мы у пустого гроба. Пустой гроб везде: на улице... Нет братских лиц, люди не радуются друг другу, а ужасаются...»

Так начинается одна из проповедей отца Дмитрия, одна из множества его вдохновенных и поэтических проповедей, которые собраны в книгу, изданную недавно в Брюсселе. Унесли Господа из России... Нынешняя Россия, со всеми ее болями и бедами, присутствует в каждой проповеди, о ней говорит каждая строка, каждое слово отца Дмитрия. О ней, о ее судьбе — о нашей судьбе — говорит каждая строка Евангелия... Универсальность, всеобщность Книги Книг становится явственно видимой каждому, кто прочтет эти проповеди. И русская история сливается с историей евангельских времен.

Вот проповедь в день памяти св. Филиппа — митрополита Московского: священник напоминает о том, как митрополит боролся с опричниной. Напоминает, что в христианстве один в поле — всегда воин, ибо собственная совесть — после Бога высший нам судия, ибо она — часть Бога. И сказанные при всем народе слова св. Филиппа «Не могу благословить того царя, за спиной которого льется кровь неповинная» — единение подвига духовного и гражданского.

Вот эта мысль о единстве духовного и гражданского, это своего рода разъяснение всем нам, что же значит христианское мировоззрение, как оно проявляется в наши дни, в каких делах («ибо вера без дел мертва есть») — это и видится главным в книге, это пронизывает каждую проповедь

отца Дмитрия. И не книжным духом веет от этих проповедей — живым словом священника и гражданина. И упрек тем иерархам, которые не идут по стопам митрополита Филиппа, и тем мирянам, которые жертвуют истиной, в кою верят, ради сиюминутного спокойствия...

Вспоминая в рождественской проповеди об избииении младенцев Иродом, отец Дмитрий, говоря о мотивах иродова злодеяния, напоминает, что мучился Ирод страхом, как бы не отняли у него царства, не понимая, что земные царства — не нужны Младенцу, что «Царство Божие внутри нас». Современным же Иродам мало того, что их земное царство у них никто не отнимает, они не находят себе покоя, пока не вытащат из каждой души Царство Божие, а то, что вытащить его невозможно — это за пределами их понимания, которое строится на одной лишь грубой «очевидности» внешнего, формального, материального. «Современные Ироды думают, — пишет о. Дмитрий, — что христианство отвращает людей от построения светлого будущего». И свирепствуют Ироды, от бессилия своего еще более входя в безумие.

Потому-то «Голгофская жертва в России теперь на всяком месте». И долг священника, а тем более иерарха Церкви — быть там, где совершается это ежедневное, ежечасное распятие. Не только распятие Тела, но — распятие Духа. Такой Голгофы еще не знала история. «Когда-то было время для священников, теперь — для мирян. Вот и вспомнятся невольно слова Иоанна Златоуста: 'Если епископ не находится с народом, чтоб его спасти, дело народа взять спасение в свои руки'».

Поэтому отец Дмитрий, обращаясь к христианам *всех* конфессий, призывает их к проявлению истинного экуменизма — не того, что на конференциях, а того, который протягивает руку помощи всем, стонущим под игом атеизма. Напоминая о словах Достоевского «если Бога нет, то все дозволено», проповедник рисует живую, правдивую и ужасающую картину духовного состояния народа. Но в этом падении он видит зерно Воскресения. Его голос — не голос «вопиющего в пустыне», его голос — вот каков: «Глас вопиющего: *в пустыне приготовьте пути Господу!*»

И пустыня перестанет быть пустыней. И тысячелетие Христианства в России должно быть встречено пробужде-

нием христианского духа первых веков, с его открытой бескомпромиссностью, с его всепобеждающей нравственной силой.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ

YMCA-PRESS, Париж, 1979

«Да, конечно, если бы я не пошел на фронт и вовремя кончил институт, и активничал на собраниях, и вступил в партию, и ни за кого не заступлся, и был равнодушен к собственному делу, и кидался со всех ног выполнять распоряжение любого вышестоящего идиота, и лез наверх, распиная локтями других... Но тогда я был бы не я. Так стоят ли любые блага того, чтобы ради них уничтожить в себе себя? Я всегда знал, что не стоят», — размышляет в больничной палате герой рассказа «Кем я мог бы стать» («Хочу быть честным») прораб Самохин. Владимир Войнович, автор рассказа, тоже давно знает, что — «не стоит», лгать не стоит, если ты — русский писатель. И читая его сборник «Путем взаимной переписки», читатель убеждается, что решение это было принято Войновичем задолго до «Ивана Чонкина», принесшего прозаику мировую славу, и реализовывалась эта жизненная позиция писателя в его произведениях с завидной последовательностью. В сборнике органично соседствуют вещи, опубликованные Войновичем в советской прессе, произведения, доселе не публиковавшиеся, хотя и давно написанные, и то, что печаталось на страницах таких зарубежных изданий, как «Грани». Заключают же сборник самиздатские открытые письма Владимира Войновича, написанные рукой страстного гражданина и несравненного сатирика.

Прежде чем стать писателем с мировым именем, Владимир Войнович много пожил: «Одиннадцать лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Совет-

ской армии», — пишет прозаик секретариату Союза советских писателей. Знание жизни, приобретенное своим горбом, своим потом, прочитывается в каждой строчке Войновича; собственно говоря, он и не пишет ничего, что бы как-то не имело корней в биографии писателя (даже и «Чонкин» не из пальца высосан, не в тиши кабинета смоделирован). Среди персонажей рассказов и повестей Войновича мы находим людей всех социальных уровней, многих профессий и родов занятий: и горожан, и крестьян, и, конечно, военных. Не находим лишь людей счастливых, и это понятно, ибо все без исключения в нашей стране поставлены в противоестественные условия, лжи нагромождено столько, что уже стоит громадных моральных усилий, граничащих с подвигом, припомнить о том, что где-то ведь еще жива правда.

Евгений Самохин едва было не отказался от попыток найти правду («Кем я мог бы стать»). Русский крестьянин Афанасий Очкин в сорок лет был свезен на кладбище, — такова цена, которую он заплатил, лишь бы не участвовать в их войнах, в их битвах за урожай, в их жизни (проникновеннейший, на толстовской думе настоящий рассказ «Расстояние в полкилометра», один из лучших в сборнике). Людмила с Кирзавода, остервенело борясь за свое бабье счастье, всеми правдами и неправдами женит на себе мальчишку-солдата («Путем взаимной переписки»). Особняком стоит гротескный рассказ «В кругу друзей», о ночной попойке соратников в кабинете товарища Кобы, рассказ в ключе «Похождений солдата Чонкина», когда всем известная правда под пером сатирика принимает чудовищно неправдоподобные, абсурдные формы, оставаясь в то же время — правдой...

В коротких рассказах из цикла «Как я был...» с беспристрастностью очерка с натуры читатель вникает в будничную жизнь молодого человека, старающегося изо всех сил остаться честным в насквозь лживом мире. Ему это удастся, как удастся и русскому писателю Владимиру Войновичу.

ВИКТОР СОСНОРА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Лениздат, 1977

Книга Виктора Сосноры — это, по сути, избранное. Это стихи из всех четырех предыдущих книг поэта. И — что бывает нечасто — в это избранное вошли действительно лучшие, наиболее глубокие и совершенные стихи почти за двадцать лет творчества.

Я — всадник, я — воин, я в поле один.
Последний — династии вольной орды.
Я всадник. Я воин. Встречаю восход
С повернутым к солнцу веселым виском.

Еще во второй книге Сосноры «Триптих» в полной мере проявился поэт, сочетававший в себе традицию XIX века (ту национальную линию варяжских корней Руси, что связана прежде всего с именем А. К. Толстого) и дробленную картину мира, ставшую знаком двух последних десятилетий.

Может быть, Соснора единственный из всего поколения поэтов «медного века», ничем не обязанный веку «серебряному». То чувство России, которое внесли в наше сознание Хомяков, Аксаков и в особенности К. Леонтьев, то открытие корней, которое от Державина до А. К. Толстого было воистину народным, вопреки сладковатым образам умиленно-злого Н. А. Некрасова, вдруг зазвучало в стихах Сосноры. И сочеталось в них с диссонансной музыкой наших дней.

Поэзия Сосноры — сопротивление национальной обезличке. А для такого сопротивления нужны крепкие корни. Как писал акад. Лихачев, стихи Сосноры «рождаются из преодоления обыденной речи, из находок в самых недрах русского языка, идеи рождаются у самых корней слов».

«И обращаюсь я к самодержцу: — Ты в самом деле / Сам держишься, и сам все держишь? / — Все держит стража! / И сам немножечко держусь. Народ, навроде / меня поддерживает сам... как скажет стража...»

Из одного только слова «самодержец» вытягивает поэт картину, имеющую к временам татарского нашествия такое же отношение, как и к нашим дням. Так поиски корней сло-

весных ведут к открытию корней исторических, еще раз подтверждая, что «в начале было Слово».

Когда в легендарном Городе, где до самодержца и его стражников «верность почиталась вровень с богами хлеба», все почти становятся в той или иной степени предателями, герою поэмы остается только положить на площадь двенадцать головок лука. Луковки церквей? боевой ли лук? или — «...лук последнее растение живой природы, и в эту эру торгашущее слезы». Символ многозначен. Это и совесть, и верность, и сопротивление... И люди, заплавав, снова становятся людьми. «Но не забыли / меня казнить, и не забыли / зарыть двенадцать головок лука / в ближайший омут». Но когда взойдут луковые перья, живое опять объявится, и самодержцу — конец, ибо историческая память, выйдя из омута, не даст терпеть Зло. «И голова моя взойдет предупреждением: / я не последний из казненных, не последний». Историческая память — то, что дает людям силы не принимать никакой навязанной им «действительности». И хотя в последнее время тактику сменили — вместо того, чтобы глушить историческую память, ее просто фальсифицируют, но необходимость восстанавливать связи с корнями не миновала, это делать стало еще труднее... И в том значение поэзии Виктора Сосноры, что он эту связь восстанавливает каждой строкой, пишет ли он о Гомере или о скоморохах времен Киевской Руси:

И грустить не надо, / даже — в самый крайний,
Даже на канатах — / играйте, играйте.

На пепелищах, говорит он, люди плачут, поэты юродствуют. А юродивые на Руси отвеку почитались пророками...

А кругом все больше пустыни, все меньше скоморохов... чуть ли не половина тех поэтов, которые так ярко и искренне взвились на волне конца пятидесятых, перестала быть. «Одни — в никуда, а другие — в князья», как поет Галич. Но дорожка эта не для Бояна, главного героя многих стихов и поэм Сосноры. Стихотворение о смерти Бояна кончается так: «В ночь казни смутилось шестнадцать полков Ярослава / Они посмущались, но смуты не произошло». В такой обстановке всеобщего предательства собой остается только тот, для кого сопротивление, желание остаться собой — не фронда, а просто единственный способ существования.

Меч мой чист. И призвание дано мне.
В одиночку — с разгульной ордой.
Я один. Над одним надо мною
Дождь идет, дождь идет, дождь идет.

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

СМЕШНЕЕ ЧЕМ ПРЕЖДЕ

«Третья Волна», Париж, 1979

В книге В. Марамзина собраны рассказы и повести, написанные в течение последних шестнадцати лет. Рассказ «Я, с пощечиной в руках» написан еще в 1964 году и вскоре был опубликован в альманахе «Молодой Ленинград». Номер альманаха, в котором, кроме рассказа Марамзина, были напечатаны такие вещи, как «Пенелопа» Андрея Битова, рассказы Рида Грачева и еще многое, вызвавшее немалую тревогу властей, стал своего рода первым «массированным» наступлением ленинградских авторов. В той или иной степени все прозаики этого поколения (в особенности группа «Горожане», к которой принадлежал Марамзин) тяготеют к гротеску.

Порой приходится слышать о некоем «сдвиге» этих новых прозаиков, но дело, по-видимому, обстоит сложнее: если точкой отсчета взять то, что именуется реализмом (в любом его виде), то мы увидим, что сдвинулась и продолжает сдвигаться в сторону абсурда и гротеска сама советская действительность, в силу чего расстояние между нею и «нормальной» прозой все увеличивается, а наиболее адекватной этой действительности оказывается сейчас именно проза гротеска и абсурда.

И если считать, что литература, отражающая жизнь, есть литература реалистическая, то именно литература гротеска и есть сегодня *реализм в социалистическом государстве*, что полярно противоположно так наз. социалистическому реализму.

В гротесковой прозе Марамзина смешное есть способ выражения трагического. Этот гротеск отличается, как ни странно, буквальным отражением объективно существую-

щих деформаций действительности, то есть он и есть реализм по определению.

Вот один абзац из рассказа «Позор на всю Европу»: «Основной закон капитализма: кто не работает, все равно тоже ест, хотя бы мало. С голоду здесь никому не пропасть, да как же это так? Мы поголовно боролись за вредность, часть населения гуманно умерла своей естественной смертью от насильственного голода нашей страны, и это верно: победил закон социализма во взятой стране».

Тут сжат весь смысл советского периода нашей истории — и подтекст этот внятен только советскому человеку, хорошо знающему и пропагандные штампы и сущностную их пустоту. Никто давно не ищет в них смысла. Но вот писатель слегка деформировал эти штампы — причем по вполне реалистическому закону: речевая характеристика персонажа говорит нам о нем как о человеке не очень грамотном, путающемся во всяких сложных фразах. Но он ведь обязан их знать! И он, честно исполняя гражданский долг, накладывает предписанный трафарет на открывшуюся ему заграницу, и видит: явления не совпадают с формулой. И, пропуская какие-то слова, а какие-то соединяя случайно, он, сам не понимая того, говорит страшную правду. Фразеологический штамп в устах этого очень простого и очень советского героя рассказа начинает отражать действительность. Вместо гладкого выражения «в отдельно взятой стране» появляется уже не банально переносное, а буквальное — «взятая страна»...

Материализация метафоры (например, превращение понятия «пощечина» в предмет) дает возможность буквализировать описание действительности, обнаружить эту действительность, изобразить ее, наконец, — причем в тех терминах выражаясь, какие для нее стали не только что неотъемлемым признаком, а сутью.

Ту же роль в рассказе «Тянитолкай» играет и пиджак-оборотень, вернее «пиджак-выворотень»: то вроде бы пиджак, а вывернет его человек наизнанку — сразу видно, что и не просто себе человек это, а полковник. Изнанка пиджака и не изнанка совсем, а лицо мундира. Да еще с погонами...

Трагедия неестественно искривленной действительности оказывается выраженной остро и с почти математической точностью.

ВИКТОР РОБСМАН

ЖИВЫЕ ВИДЕНИЯ

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1979

«Исколесив почти всю Россию и ее окраины в качестве разъездного корреспондента «Известий», я имел возможность близко соприкоснуться с человеческими страданиями, которые принесла нашей стране советская власть, и записать увиденное по живым следам. (...) Страшные видения прошлого все еще не оставляют меня».

Виктор Робсман — журналист. Он много путешествовал по России. Был в Туркмении, Таджикистане, в Тегеране. «Живые видения» — не выдуманные истории. Но стиль их особый. Автор — в прошлом и составитель книги персидских сказок. Его дар мышления — дар именно сказителя, сказочника, а отнюдь не газетного очеркиста. Все его рассказы — в действительности легенды, сказы, «видения». О чем бы он ни писал — «семейная» ли это хроника: воспоминания о дяде, сестре, — или описание жизни военного журналиста, или же рассказ о путешествии в душном поезде через степи на Восток — всюду реальность, реальные герои становятся сказочными, легендарными.

Свой стиль В. Робсман унаследовал в какой-то мере от литературы начала века. Такую прозу условно принято называть «декадентской». Это цветистый, торжественный рассказ о действительности. Автор и не пытается заставить говорить своих героев обыденным языком. Это язык баллад, стихотворений в прозе. «Помни и не забывай, — говорит, например, один из его героев, — что новая незаконная власть, сеющая в сердцах людей семена ненависти, раздора и нечестия, призрачна и недолговечна, потому что власть неба сильнее власти земли...»

Каждый рассказ, «видение» — попытка обобщения: из частного автор пытается извлечь общее, иначе говоря, вывести мораль, что характерно вообще для притчевого жанра.

Большинство рассказов сборника — об Азии, пустыне, странствованиях по первобытным азиатским кочевьям. Автор влюблен в пустыню, в ее ад, бедность и красоту. Он

видит себя не корреспондентом столичной газеты, а «странником». Этот европеец остался пленником пустыни навсегда. Известно ведь, с Востока, из армии и тюрьмы не возвращаются... «Какие-то чары привлекали меня к разрушенным стенам крепостных валов (...). Какая-то прелесть приманки скрывалась для меня в кишаших паразитами лохмотьях нищих, которые читали нараспев мудрые четверостишия Саади. (...) И мне казалось тогда, что весь сотворенный Богом мир представляет собой не что иное, как произведение Искусства!» («Странствующая душа»). Эстетизация событий, мистицизм, самоотстранение от реальности, но при этом большое знание быта в описываемом экзотическом мире — все это похоже на романы начала XX века, так называемые «колониальные».

Вот автор из Хорога, «с края земли», возвращается в Россию. Но и тут он не становится бытописателем. В рассказе «Весна в колхозе» мы видим не реальный колхоз, а просто апокалипсис. Земля — могила; беременная женщина прямо на пашню рождает мертвого младенца...

Чаше всего это жестокие видения. От зла и жестокости, от гнета герои спасаются бегством. Превращением в ничто. Ссылный востоковед с мировым именем стал учителем нищих на задворках Самарканда. Военный журналист, «не помнящий родства», бежит, рассасывается, растворяется в песках пустыни, куда увлекло его ненасытное воображение. По-видимому, этот рассказ автобиографичен.

Фантазия автора сделала его рассказы совсем особенными. Реальность здесь дана под особым углом. Они вне времени, и поэтому свежи. Ведь давно уже никто не пишет притч. А сказка, притча, легенда — отличный способ сказать правду.

По страницам журналов

НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕССА В ПОЛЬШЕ

В настоящее время в Польше выходит около тридцати независимых периодических изданий, и нет никакой возможности сделать достаточно полный обзор их содержания. Ограничимся рассказом о тех, что имеют наибольший тираж и социальный охват, остальные же придется лишь кратко охарактеризовать.

В 15-м номере «Континента» уже говорилось о небывалом расцвете независимой прессы в Польше за последние годы — явление это необычайно не только для послевоенной Польши, но и для всей эпохи существования коммунизма у власти. Еще несколько лет тому назад в Польше, а в других социалистических странах и до сего дня — выносились и выносятся приговоры на долгие годы лагерей и тюрем за распространение правдивой информации и за высказывание убеждений, не установленных свыше, реальным или символическим указом. Пример тому — постоянные преследования «Хроники текущих событий», процессы молодых ленинградцев, издававших журнал «левой оппозиции» «Перспективы», или обыски и изъятие материалов журнала «Поиски» в Москве.

Однако в Польше вот уже больше двух лет печатаются и распространяются журналы, возникающие вне всякой достижимости цензуры, общим тиражом около 40 тысяч экземпляров: еженедельные (у этих обычно самая недолгая жизнь), двухнедельные, ежемесячные, ежеквартальные, даже библиофильские издания. До сих пор (эти строки пишутся в июне 1979 г.) вмешательство властей ограничивалось обысками, многократными задержаниями на срок до 48 часов, изъятием печатного оборудования, бумаги или уже готового тиража, а также административными преследованиями по отношению к авторам, печатающимся в самиздатской периодике.

Прежде чем говорить о содержании журналов, следует остановиться на практической и технической стороне этой издательской деятельности.

Большинство редакторов указывает свои имена, чаще всего вместе с адресами, техническая же сторона печати и распространения остается скрытой. Журналы печатаются с помощью разнообразных технических средств: восковок или шелковых матриц, спиртовых или электрических гектографов, ксерокопированием или офсетом. Качество их, четкость шрифта и внешнее оформление с течением времени все более совершенствуется. Печать осуществляют, в основном, «типографии», обычно обслуживающие несколько журналов разом. Чаще всего встречаешься с маркой «Свободной вальково-прокатной (она же вальково-барабанная) типографии имени J. P.» — читатели обычно расшифровывают таинственные инициалы как Юзефа Пилсудского, но некоторые утверждают, что речь идет о Яне Палахе. По словам же посвященных, это не имеет никакого значения, и гораздо важнее не злоупотреблять знаменитыми именами, как это свойственно коммунистической пропаганде. Те же посвященные утверждают, что самая большая трудность — на которую, впрочем, еще в 1907 г. жаловался Пилсудский — не печать, а перевозка: главное, не хватает сумок, чтобы переносить большие количества экземпляров, — нагруженные самиздатом сумки часто пропадают в конце своего маршрута, а раздобыть новые в польских магазинах почти невозможно.

Ветераном польской периодики, несомненно, является «Информационный бюллетень» (первый его номер был полностью опубликован в «Континенте» № 10), издаваемый вместе с «Сообщениями Комитета общественной самозащиты КОР». Кроме информации об акциях общественной самозащиты и о репрессиях против отдельных лиц, против независимых крестьянских, рабочих, студенческих ассоциаций или же против Церкви, «Бюллетень» помещает репортажи, эссе, дискуссионные статьи, а также рецензии — в частности, на наихудшие, издаваемые массовыми тиражами детективы. Постоянные рубрики посвящены международной политике, а также нарушению прав человека и борьбе за эти права в других коммунистических странах («В нашем лагере»). «Бюллетень» выходит примерно 5-тысячным тиражом.

«Запис», литературный ежеквартальник, накануне приезда Иоанна-Павла II в Польшу выпустил свой одиннадцатый номер, открывающийся статьей Тадеуша Мазовецкого (главный редактор католического — не самиздатского — журнала

«Вензь»), посвященной этому историческому событию. «Запис» начинал свою жизнь, печатая отброшенное цензурой, то есть произведения нередко значительные, но, тем не менее, несущие на себе клеймо «внутренней цензуры». Однако не позднее, как с пятого номера, где, кстати, состоялся один из самых интересных литературных дебютов последнего десятилетия (повесть Тадеуша Коженевского «В Польше»), можно говорить о том, что журнал обрел независимость от самого факта существования цензуры. Теперь большинство текстов заведомо пишется с мыслью о публикации в свободной печати. Самый значительный тому пример — новый роман Тадеуша Конвицкого «Малый Апокалипсис», изданный как 10-й номер «Записа». Путешествие рассказчика по до словно гниющей Варшаве — в неопределенном будущем (календари отменены, времена года спутаны), в день, когда слегка одряхлевшие в вечном сборе подписей оппозиционеры уговаривают его для пользы дела совершить публичное самосожжение, — становится путешествием вдоль уничтоженного общества и оподлеленных личностей, путешествием по стране, где ничто уже не имеет смысла, ибо все безнадежно. Это, несомненно, важнейший политический роман в современной польской литературе, своеобразный «1984», только низведенный на уровень мелкого, жалкого, ничтожно повседневного.

Можно было бы сказать, что напечатанный в 9-м номере «Записа» «Трактат о гнидах» Петра Вежбицкого как бы дополняет или иллюстрирует роман Конвицкого. Это блестящий памфлет о поведении и психологии современных польских «попутчиков», язвительный анализ механизмов, позволяющих «гнидам» не только соучаствовать в системе, которую они презирают, но еще и сохранять самочувствие людей, творящих нечто важное и полезное (трактат этот местами напоминает страницы о «самооправдании» в книге Буковского «И возвращается ветер...»). В том же номере с радикализмом Вежбицкого полемизирует Адам Михник, противопоставляя дихотомическим оценкам многозначность и сложность, сопутствующие тому или иному политическому выбору.

Кроме тех, что живут в Польше, «Запис» публикует и зарубежных авторов, в том числе Лешека Колаковского, Вацлава Гавела, Наталью Горбаневскую.

Очень интересен, особенно для читателей «Континента», издаваемый в Люблине журнал молодых католиков «Спотканя» («Встречи»). Начиная с первого номера, этот ежеквартальный журнал обнаруживает необыкновенно глубокий интерес и озабоченность по отношению к соседним народам и к польским национальным меньшинствам. Постоянный раздел журнала — «Хроника Литовской Католической Церкви». Много места занимают польско-украинские отношения: от статьи «Украинцы и польская государственность» до информации о прогрессирующей ликвидации украинских школ в Польше «Спотканя» стараются заполнить историко-политические пробелы в этой области. Впрочем, не только в этой. Мы находим в журнале статью о польско-еврейских отношениях и листовку НТС, раздававшуюся в Варшаве и озаглавленную «Братья-поляки»; «Дневник мыслей» Льва Шестова и знаменитое ленинское письмо о церковных ценностях, послужившее сигналом к физическому уничтожению духовенства; информацию о подслушивающих устройствах, установленных полицией в исповедальнях и в епископской курии; стихи; социально-политические статьи; проповеди. Среди последних — глубоко художественная «Омилия на XIV заурядное воскресенье» о. Станислава Малковского. Ее двухстраничный текст начинается истолкованием картины Питера Брейгеля «Большие рыбы пожирают малых», продолжается осуждением — на основе евангельских текстов — насилия и силы и цитированием Вацлава Гавела, и заканчивается словами: «Господь, однако, позволяет нам, проглоченным, — спастись, так делает, что хоть нас и поглотили, да не пожрали и не переварили».

Ежемесячный журнал «Глос» распределяет тексты по четким тематическим разделам: программы и идеи (в том числе статьи Яцека Куроня о самоуправлении, Богдана Цивинского и Яна Юзефа Липского о «правых» и «левых», «Функция молчания и не-молчания интеллигенции в системе централизованной власти» Ирены Новаковой, «Независимость» Марека Турбача, «Независимость, солидарность, взаимное согласие граждан» и «Независимость изнутри» Марека Тарневского); экономика (в том числе статьи об экономических реформах, о потребителе, о будущем польского хозяйства); право и гражданин (этот раздел включает информационные материалы и тексты на злобу дня — например,

о переименовании украинских, лемковских сел в Бещадах, откуда лемки после войны были выселены, в основном, на западные земли; а также комментарии к законам, кодексам и судебной практике); культура — цензура — школа (где особенно выделяются статьи Яна Новицкого). Отдельные разделы посвящены Церкви, интеллигенции, обзорам прессы, истории, международным делам. Как и «Спотkania», «Глос» уделяет важное место соседним народам. Статья Куроня, Михника и Антония Мацеревича «Польское дело — русское дело» из первого номера даже вызвала ироническую отповедь журнала «У прогу» — нерегулярного периодического издания, одного из самых ранних по дате возникновения. Упрек состоял в том, что, говоря о свободе Украины, Литвы и других угнетенных стран, авторы забывают потребовать независимости для Польши. 10-й номер «Глоса» был почти целиком посвящен оппозиции в Чехословакии, а в 13-м публикуется статья Казимежа Платер-Зиберка о поляках в СССР.

Заметим, что все чаще на страницах независимой прессы можно встретить полемику между авторами, печатающимися в разных оппозиционных журналах. Впрочем, не только полемику. «Опинья» и «Дрога», журналы совсем иного политического профиля, положительно оценили серию статей «Глоса» о «правых» и «левых», увидев в этом начало очень важной дискуссии. Политическую программу «Глоса» можно найти в № 11/12, в четырех статьях под общим заглавием «К Одиннадцатому ноября» (дата окончания первой мировой войны и День независимости Польши), а характер журнала определяется хотя бы тем, что первый номер открывался «Декларацией Демократического Движения».

Самый большой тираж (около 14 тыс.) у двухнедельной четырехстраничной газеты «Роботник», которую совместно редактируют несколько интеллигентов, студентов и рабочих. Газета приводит подробную информацию о забастовках (и, кстати, не только в Польше); о деятельности оппозиционного движения в Польше и других странах советского блока; об эксплуатации, антигигиенических условиях труда и административном произволе на заводах и фабриках. Газета постоянно получает и печатает корреспонденции от рабочих со всей Польши: одни пишут под псевдонимами, другие подписываются своей фамилией. «Роботник» помещает также

проблемные статьи, связанные с политическим, экономическим и социальным положением, профсоюзным движением и историей Польши. В рубрике «Нарушенная статья» публикуются юридические советы, предназначенные помочь рабочим в их защите от произвола. Распространяется газета во многих промышленных городах, поэтому печатается одновременно в нескольких «типографиях».

В мае 1979 г. вышел 3-й номер ежеквартального журнала «Критика». В его редакцию, кроме шести поляков (Ян Вальц, Роман Войцеховский, Яцек Куронь, Ян Литинский, Адам Михник, Стефан Старчевский), входят также Вацлав Гавел (арестованный в конце мая) и венгр Миклош Харасти. Второй номер был посвящен, главным образом, Чехословакии: наряду с документами Хартии-77, мы находим статьи самых блестящих писателей чехословацкой оппозиции. Третий номер открывается статьей Юзефа Кузьмерека, экономиста и члена партии, «О чем я знал». До глубины души потрясает произведенный специалистом анализ состояния, до которого дошла польская экономика. Тест, который обнаружил все ее структурные недостатки и пороки, — тяжкая зима 1978/79 гг.; тем не менее, она не вывела на поверхность ничего такого, что не было бы и прежде очевидно для специалистов и проницательных наблюдателей.

В том же номере напечатаны большой кусок из «Зияющих высот» Александра Зиновьева, статья Станислава Баранчака «О массовой культуре в ПНР», ряд статей и документов из истории ППС (Польской социалистической партии) и статья Лукаша Сохи «Внешняя политика СССР в 1941-44 гг.».

«Пульс», о котором мы упоминали в нашем прошлом обзоре, выпустил свой № 4/5. К традициям этого журнала принадлежит двойной тираж: обычный и библиофильский, красиво переплетенный, на хорошей бумаге и с отличными фотографиями. Другая традиция этого молодежного журнала — бунт, художественная провокация, а вместе с тем — высокий уровень литературы и полемики. Рядом с переводом давней поэмы Аллана Гинзберга «Скулеж» напечатаны еще не опубликованные по-русски стихи Н. Горбаневской в переводах Михала Линевского (а во втором номере, вместе с некрологом Александра Галича, были помещены переводы нескольких его песен), стихи поэтов младшего поколения

(Антоний Павляк, Лешек Шаруга) и ветеранов (живущий с 1969 г. в эмиграции Витольд Вирпша). Наряду с дискуссионной статьей Адама Михника о польской интеллигенции и коммунистическом соблазне в первые послевоенные годы, помещена пародийная «Автобиография» Лешака Колаковского, написанная специально для «Пульса». Отличная идея — публикуемая из номера в номер подборка заголовков из официальной прессы, складывающихся в строчки своеобразной поэмы о лжи и похвальбе.

Остальные журналы приходится лишь перечислить: не то чтобы они заслуживали меньшего внимания, но многие из них не так регулярно достигают читателя, а проблематика некоторых слишком усложнена для краткого резюме. К этим последним принадлежат «Зэшиты [Тетради] ППН» (Польского согласия независимости), возникшие еще в мае 1976 (!) года. Вышло уже больше 30 номеров, включающих программные заявления этой анонимной организации, коллективные исследования важнейших проблем и работы отдельных авторов. Каждый выпуск заслуживал бы особого разбора, особенно те, что касаются независимости и взаимоотношений с соседними народами. Как еще один пример постоянного интереса дословно всей независимой прессы к российским авторам и проблемам (далеко не все материалы подобного рода вошли в рамки обзора), можно назвать публикацию в одном из номеров журнала отрывка из «Светлого будущего» А. Зиновьева.

В результате ряда расколов, происшедших в Движении защиты прав человека и гражданина, трудно сейчас быть уверенным, какой именно журнал представляет Движение. На это претендует и первый орган Движения, «Опинья» (последний дошедший до нас номер вышел в декабре 1978 г. и включает материал, в основном, исторический), и «Дрога», издаваемая Лешекком Мочульским, и «Речь Посполита» под редакцией Войцеха Зембинского. Все эти журналы определяют свое направление как борьбу за независимость Польши и много, с пользой, занимаются демистификацией лжи о польской истории. С Движением связаны также «Братняк» — интересный и дерзкий студенческий журнал, «Господаж» — журнал крестьянский и «Рух Звёнzkовы» — орган независимых профсоюзов. Мочульский издает также «Газету Поль-

скую», которая, вопреки названию, является информационным ежемесячным журналом.

Из недавно возникших журналов отметим «Плацувку» — орган Независимого крестьянского движения, восстанавливающего традиции ПСЛ (Польске Стронництво Людове — народническая крестьянская партия), «Роботника Выбжежа» — трудолюбивое дитя «Роботника» на Балтийском побережье, и «Пшеглэнд» — ежемесячник переводов из западной прессы. Вышел также первый номер журнала «Республика», редакторы которого определили себя как «неоконсерваторы», но до нас он пока не дошел.

Если польский читатель не устанет от такого разнообразия, он может почитать еще «Постемп» — информационно-общественный ежеквартальник; «Индекс» — журнал студентов Кракова, Лодзи и Варшавы; «Згжит» — издание вроцлавских студентов; «Орган» — сатирический журнал; «Лодзинскую хронику» («Кроника Лудзка»); журнал «Польска Вальчонца», выдвигающий на первый план подпольную деятельность; «Меркуриуш Краковски и Святовы».

Словно и этого всего мало (а названо-таки еще не всё), госбезопасность тоже принялась выпускать свой самиздат — журнал «Анкора», который, однако, в уникальной польской ситуации свободного рынка был вынужден умереть своей смертью.

И. Л.

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕ ГЛЮКСМАНОМ

Вопрос. Андре, перед нами твоя последняя книга — «Язык войны». В эту книгу, кроме переиздания «Языка войны» как такового, вошел новый текст — «Европа, год 2004». В надписи на экземпляре, подаренном Максимову, ты подчеркнул, что эволюцией, которую ты прошел между двумя этими текстами, ты обязан диссидентству. Что конкретно ты имел в виду? Для нас и для наших друзей на родине этот вопрос важен вдвойне: наши действия ожидают практического отклика — прежде всего, в области защиты наших политзаключенных; но не менее важно нам знать — и именно на это мы хотим получить от тебя ответ, — понят ли здесь, на Западе, пусть еще немногими людьми, сам смысл борьбы за права человека, которую ведут диссиденты?

Ответ. Я думаю, что важно говорить именно об эволюции. Нередко на Западе говорят об интеллигентах, испытавших влияние диссидентства — в первую очередь, советского, но также польского и чешского, — как о людях, совершивших разворот на 180°. Я сказал бы, что это не так: не то что бы мы вместо «революционного» взгляда на мир приобрели «контрреволюционный»...

Вопрос. А тебе не кажется, что такой переход был бы скорее поворотом на 360°?

Ответ. Вот именно, это был бы переход от прежнего к тому же самому, и эволюция такого рода тоже существует и тоже характерна — и возникла гораздо раньше марксизма. Со времен Французской революции развитие европейского буржуа таким и было: в 20 лет он сражался на баррикадах, в 30 — дожидался

приема в министерствах, в 40 — становился министром. Ближе к нашему времени аналогичный вираж на 180° , который на самом деле является виражом на 360° , поворотом вокруг собственной оси, описали многие идеологи холодной войны, которые были ультрареволюционерами, ультрабольшевиками между 20 и 25-ю годами — пусть даже большевиками-оппозиционерами, т. е. троцкистами, — а годам к 30-ти, «поумнев», стали ультраапостолами холодной войны. На мой взгляд, в Западной Европе, под прямым влиянием диссидентов из России и восточноевропейских стран, эволюция была иной. Это и была эволюция в истинном смысле слова: диссидентство принесло нам расширение горизонта.



Моя последняя книга — это, во-первых, переиздание книги, написанной в 1967 г., задуманной как антиколониалистская и исследующей американскую стратегию во вьетнамской войне.

Разумеется, я больше не пишу подобных вещей, и в этом смысле можно говорить о виражах и градусах, но суть в том, что диссидентство заставило нас генерализовать наш односторонний угол зрения. Это не значит, что мы отвергли свой антиколониализм, — говоря «мы», я говорю прежде всего за себя, но, пожалуй, и за многих своих товарищей, друзей, приятелей, — наоборот, мы пришли к тому, что «антизападный антиколониализм» близорук, недостаточен, потому что колониализм — как сказать? русский? нет, я не могу сказать «русский» — советский куда сильнее за-

падного, следовательно, наш антиколониальный бунт должен стать генеральным, нацеленным и в этот, почти никем не затрагиваемый советский колониализм или с тем же успехом в китайский колониализм, ибо не его ли мы видим в Тибете? Не приходится выбирать, какой колониализм лучше: марксистско-китайский или марксистско-советский. Прокитайская Камбоджа достигла рекордов в геноциде. Значит, марксистский колониализм должен был стать мишенью для нашего антиколониализма, а это означало, что и мы сами должны были перемениться, ибо «ветхий» антиколониализм, «первый» антиколониализм был окрашен в цвета марксизма и направлен принципиально против Запада.

Пример Камбоджи дает реальное обоснование генерализации моей критики. Взглянем на историю Камбоджи. Это была сравнительно мирная и сравнительно счастливая страна еще в 1970 году, даже несмотря на то, что часть ее территории была захвачена вьетнамскими коммунистами и использовалась ими как военная база. Население Камбоджи спокойно жило под властью короля, которого оно более или менее почитало; еще больше оно, кажется, почитало Сианука; существовала, конечно, некоторая коррупция, уже вошедшая в нравы, но несравнимо более приемлемая, чем все, что потом последовало. Королевский режим был свергнут американцами и их людьми и заменен демократической республикой, которая первым делом принялась преследовать сторонников Сианука, а поскольку они составляли большинство населения, дела обернулись плохо: довольно фашистского толка режим вынужден был опираться опять-таки на бомбардировки, причем как на американскую, так и на вьетнамскую авиацию. Неизвестна точная цифра погибших, но она где-то в пределах между 500 тысячами и миллионом. Затем установился режим «красных кхмеров», прокитайских коммунистов, приведенных, впро-

чем, к власти просоветскими коммунистическими армиями Северного Вьетнама. Сами красные кхмеры, крохотная группировка, были бы ничто без этой военной силы. И вот, став у власти, они организовали, вероятно, самый огромный геноцид со времен еврейского геноцида, уничтожили два или три миллиона человек. Лицом к лицу с прокитайским режимом вьетнамские коммунисты, сама компартия Вьетнама праздновали победу красных кхмеров, праздновали начавшееся обезлюдение Камбоджи, праздновали выселение 2-3-х миллионов жителей Пномпеня: в трехдневный срок были выселены все, даже больные, даже те, кого только что оперировали, даже дети, даже инвалиды. И все это одобрялось коммунистами, в том числе просоветскими, но не только ими. Целый мир либо одобрял эти действия, либо обошел их молчанием. Например, во французской прессе, в таких изданиях, которые никак не заподозришь в получении приказов из Москвы, были комментарии вполне сочувственные: ах, мол, эти камбоджийцы нашли решение важнейшей проблеме — проблеме городов в странах третьего мира. Некоторые весьма милые французы рассуждали так: что же, камбоджийцы снесли голову одной из этих огромных столиц, этих раковых опухолей третьего мира, точно так же, как мы когда-то снесли голову Людовику XVI. И до самого конца атмосфера благоприятствовала красным кхмерам: не было серьезных протестов, ООН не вмешивалась, и они могли без особых затруднений уничтожить два или три миллиона людей.

Вьетнамская интервенция способна только продолжить массовое уничтожение, ибо вызвала национальную войну: камбоджийцы не переносят иностранной власти, тем более власти их исконных врагов — вьетнамцев. Значит, еще, еще и еще кровь будет пролита страной, без того уже обескровленной. И выходит, что Камбоджа оказывается жутким примером

правомерности обобщения «Языка войны», генерализации правительственных стратегий террора. Американцы начали свержением прежнего режима, новый фашиствующий режим повел массовое уничтожение, затем прокитайские кхмеры, затем вьетнамские коммунисты; наконец, когда беженцы вырываются из этой мясорубки и достигают соседнего антикоммунистического Таиланда — тайландский военный антикоммунистический режим, опирающийся на поддержку американцев, изгоняет десятки тысяч беженцев обратно. Круг замыкается: мы видим, что даже страны, которые, возможно, рискнут воевать друг с другом, — Таиланд и Вьетнам, — даже эти страны, готовые насмерть стоять друг против друга, по отношению к населению ведут себя совершенно одинаково.

Вопрос. Сейчас было бы естественно прямо перейти к проблеме индокитайских беженцев, которая превратилась едва ли не в основную мировую проблему и в практическом решении которой ты активно участвуешь. Но позволь сначала задать тебе один как бы побочный вопрос. Это вопрос о твоём, о вашем французском маоизме конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Ты знаешь, что среди наших французских друзей экс-маоисты — не редкость, и, насколько мы знаем, наши соотечественники бывают этим удивлены. Для них — включая наших близких друзей и единомышленников — это выглядит смешным: видите ли, бывшие маоисты покаялись или совершили тот самый «вираж» на сколько-то градусов... Личные контакты, дружба, кажется, позволяют нам видеть суть вашей эволюции. Но не можешь ли ты объяснить, каковы были корни вашего маоизма?

Ответ. Прежде всего — удивляясь, люди совершенно правы. Конечно, воображать, что никто не должен менять своих взглядов, — это, сказал бы я, удивление не лучшего рода. Тем не менее, изменяя взгляды, исходишь всегда из какого-то накопившегося чис-

ла удивлений, так что если кто-то удивлен, то мы сами удивились первыми. Первые страницы моей книги «Кухарка и людоед» — ее, если хотите, можно назвать виражом — говорят как раз о том, что на взгляд диссидентов мы выглядим смешными и что мы смешны и на самом деле. Верно ведь? Я это в свое время и говорил, и писал. Я думаю, что, набираясь жизненного опыта, если он достаточно глубок, всегда переживаешь удивление и, следовательно, если этот опыт воистину удивителен, если это удивление по-настоящему возбуждает нашу заинтересованность, мы и сами не можем помешать себе чувствовать себя прежних смешными. Зато еще смешнее было бы думать, что мы сегодняшние никогда не покажемся смешными себе в будущем. Недостаточно попросту выучиться находить смешным свое прошлое — следует уметь ощущать свою ежедневную потенциальную смехотворность. Так что по-настоящему признать и принять удивление — это одновременно и философия, и смехотворность того, кто философствует, поскольку он меняет взгляды и поскольку, если бы он их не менял, он был бы совершенно неспособен философствовать, да и попросту мыслить. Может быть, это в какой-то степени объясняет, что среди друзей диссидентов во Франции нередко бывшие маоисты и гошисты.

Надо еще, наверное, объяснить вашим русским друзьям, что французский маоизм — нечто совершенно особое. Он, к тому же, имеет много разновидностей, но тот, о котором мы говорим, маоизм 60-х годов, специфичен, потому что оба его корня типично французские. Первый корень — антиколониальный: у Франции были свои колониальные проблемы, после 1945 г. у нее их было больше, чем у любой другой западной страны. Это мы, Франция, начали индокитайскую войну, не имея никаких разумных причин, мы ухитрились проводить самую дурную колониализацию — по сравнению с Англией, Франция делала одну глу-

пость за другой, и если сегодня происходит массовое уничтожение в Индокитае, то это, в частности, и потому, что в свое время Франция действовала так глупо, так скудоумно, как только можно вообразить. Когда Солженицын в Гарвардской речи напоминает, что европейская авантюра колониализма была недостойной, можно прибавить, что с 45-го года Франция была героем, печальным героем, Дон Кихотом этой авантюры и что, действуй она более умно, Индокитай не оказался бы в его нынешнем положении. И малопомалу во Франции складывалась сильная антиколониальная направленность. Среди самых радикальных антиколониалистов нашлось немало заинтересованных различными методами ведения колониальных войн, и Мао Цзе-дун был для них, в первую очередь, великим стратегом антиколониальной войны.

Второй корень французского маоизма ближе к нашему времени — это май 68-го года, бунтарское движение во Франции. Французский бунт — это опять-таки нечто особое: единственный антикоммунистический бунт среди многочисленных студенческих волнений на Западе. С первых дней мая 68-го Даниэль Кон-Бендит называл главу коммунистических профсоюзов, т. е. крупнейшего профсоюзного объединения Франции, главу компартии, т. е. в то время крупнейшей левой партии Франции, не иначе, как сталинскими подонками. Перед огромной толпой студентов у Сорбонны он резко оборвал «величайшего французского поэта» — Арагона, заявив ему: «Слушай, в тебе не нуждаются. На твоих седых волосах кровь, ты кричал «Ура, Урал!» — ура лагерям. Или ты принесешь объяснения, как ты мог такое делать, и тогда мы готовы с тобою спорить, или ты промолчишь, и тогда нам не нужна твоя поддержка». И Арагон ушел. Так студенческий бунт во Франции был с самого начала антикоммунистическим, и это еще усилилось у тех студентов, что захотели пойти на заводы: оказалось, что

коммунистические профсоюзы хорошо стерегут свои угодья и делают все, чтобы не допустить дискуссии между студентами и рабочими. Так что было решительное противостояние между студентами и молодыми рабочими, с одной стороны, и с другой — профсоюзами и партиями, которые хоть и не стоят во Франции у власти, но на заводах и в муниципалитетах обладают реальной властью. Конечно, они осуществляют эту власть более демократически, чем в СССР, потому что у них нет ни армии, ни центральной полиции, но голова у них при этом работает в ту же сторону. Так что, если мы, разумеется, никогда не имели опыта ГУЛага, мы имели опыт сталинской ментальности, совсем рядом, рукой подать: мы имели самую сталинскую из всех легальных компартий Западной Европы (испанская и португальская были тогда в подполье). Напомню, что Мориса Тореза, который долго был ее генеральным секретарем, восхваляли, говоря: «Это лучший сталинец Франции».

Этот-то опыт и был второй, слегка идиотской причиной нашего маоизма: это была причина стать прокитайски настроенными, поскольку, пока марксизм в целом не подвергался сомнению, подвергали сомнению советский марксизм и, выбирая линию наименьшего сопротивления, говорили: раз советский марксизм плох — должно быть, китайский марксизм, подвергающий его самой жестокой критике, лучше. И после мая 68-го мы воображали себе Китай как гигантский майский Париж, а наши представления о культурной революции, в общем, складывались из идей мая 68-го, перенесенных в Китай. Мы никогда не слушались ничьих приказов, не были членами «марксистско-ленинских» партий*, сохраняли свой бунтар-

* Большинство маоистских партий (по несколько крохотных в каждой стране), чтобы отличить себя от просоветских, традиционных компартий, принимает этикетку «марксистско-ленинских». — Прим. ред.

ский дух, и Мао был для нас своего рода символом, значком, как и Че Гевара, то есть больше образом, чем центром, откуда идут приказы. Мы были слишком недисциплинированными, чтобы получать приказы, и серьезные марксисты прозвали нас анархо-маоистами. Этот анархизм и защитил нас от полного маоистского догматизма. Тем не менее, после мая 68-го мы проделали короткий, но полный опыт того, что такое партия и что такое дух марксистской партии. Поскольку мы не зависели ни от Китая, ни от Москвы, ни от кого, кроме себя самих, мы, руководимые своими собственными побуждениями, прошли тот маршрут, на который компартии положили по 30, 40, 50 лет, ибо, подчиняясь приказам из-за границы, они не так быстро наживали собственный опыт. наших Троцких, Сталиных, Мао, наши бардаки и нашу бюрократию — все это мы принесли себе сами, будучи маленькими группами и, следовательно, вырабатывая все это со страшной скоростью, как в лаборатории. Весь тот опыт, который другим народам пришлось пережить куда более трагическим и жестоким образом.

Я не думаю, что наш молекулярный опыт чересчур оригинален, но в нем была позитивность. Подобный опыт описан Солженицыным в «Круге», только там этот опыт непомернее, яснее, подробнее и длительнее, — это путь интеллигента, который начинается с восхищения перед гигантами мысли, перед Марксом, Гегелем и компанией. На этом пути интеллигент отдает себя идее, затем обнаруживает, что гиганты мысли хрупки при серьезном испытании, вновь принимается мечтать о Рабочем (который служит мишенью для его промахов), потом замечает, что рабочий — такой же человек, как и все, и что он сам так же, как все, способен на наихудшие подлости, и мало-помалу глаза его раскрываются на то, что все зависит от отдельных людей, а не от Мыслителя, не от Рабочего. Вот он, щелчок переведенной стрелки, положитель-

ный выход из тупика, к которому приходит Нержин. В каком-то роде — скромнее, конечно, — некоторые из нас узнали себя в этом великом примере Нержина. В других странах: в Италии, в Японии — это прошло хуже, стрелка щелкнула в направлении, противоположном нержинскому, и этот опыт тоже описан русским писателем. Но это описано задолго до нас и называется «Бесы». Перечитав «Бесы», я понял, чего мы избежали. И тут опять мы чувствуем огромную близость с диссидентами. По существу, у всех проблем одни и те же истоки, о них писал Достоевский, писал Солженицын, пишет в своей последней книге Буковский. Он рассказывает как раз о той дискуссии, которая волнует сейчас гошистов, дискуссии о терроризме, о том, как между 1960 и 1965 гг. диссиденты сделали выбор в пользу тактики прав человека, а не террористской тактики. Этот вопрос стоит и у нас.

Вопрос. Прости, что касается терминологии — ты употребил слово «тактика». У нас иногда идут споры: защита прав человека — тактика это или стратегия? Нам, видящим в этом принципиальную позицию, случалось слышать возражения, что это всего лишь удобная временная тактика, но никак не стратегия. Что ты думаешь об этом?

Ответ. Говоря «тактика», обычно имеют в виду: «это только тактика», то есть только маскировка чего-то другого. Вы, мол, сейчас за права человека, потому что вы слабее всех, а дай вам власть в руки — и вы поведете себя не лучше любого правительства. Вот что обычно стоит за словом «тактика». Я употребил его, желая некоторой сдержанности в отношении прав человека, ибо чем они, по-моему, никогда не являются, так это методом правления.

У западных левых есть идея «марксистской критики прав человека». Эту критику легко найти в «Еврейском вопросе» Маркса, откуда она перекечевала в «Капитал». Она состоит в том, что права человека —

это права формальные, а не реальные, абстрактные, а не конкретные. Противопоставление это вытекает из одного Марксова упрека, и я думаю, что в противопоставлении он прав, а в упреке неправ. Он говорит, что права человека не определяют общественного состояния. Он говорит, что сказать «свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого», — это не значит сказать, кто собственник, кто не собственник, каковы права хозяина и каковы — рабочего. Это верно. Тут Маркс прав по сравнению с либералами, для которых свобода в рамках прав человека — это и свобода предпринимательства и т. п., словом — вся организация общества. Но в чем ошибается Маркс — это в своем упреке правам человека, в упреке их чистой формальности. Упрек этот доказывает одну простую вещь: когда идеал либералов XIX века не исполняется, Маркс считает, что ошибка была в способе исполнения, т. е. идеал у Маркса тот же, что у либералов. Это идеал жесткого планирования всей жизни общества либо с помощью рыночных механизмов — для либерала; либо с помощью механизмов организации производства — для марксиста, для фашиста, для фихтеанца, ибо этот метод также вписывается в долгую традицию и Маркс не единственный, кто считал государство организатором общества. Но в обоих случаях исходят из того, что общество — чистая страница, как говорил Мао Цзе-дун, или *tabula rasa*, как поется в «Интернационале»: «...разрушим до основания, а затем...», или же Америка в представлении Локка, т. е. пустынная страна — Локк теоретически очистил ее от индейцев еще до того, как она была очищена от них физически. Но во всех случаях: марксист ли, либерал, любой государствовопоклонник — все они имеют дело с чистой страницей, на которой они, эксперты, будут организовывать производство, потребление, распределение власти. Тут естественно спросить: хорош ли принцип прав человека для этого планирова-

ния, для строительства нового мира начиная с нуля? Я думаю, что Маркс прав: для созидания нового мира на пустом месте права человека непригодны. Но он неправ в самом желании построить новый мир начиная с нуля, ибо это значит убить прошлое.

Прошлое убивают на уровне идей, религий. Это убийство называют, например, очищением русской земли от вредных насекомых, как говорил Ленин, это называют уничтожением носителей «пережитков» прошлого, а носители прошлого — едва ли не все люди. Поэтому начинают с помещика и капиталиста, а кончают тем, кому просто больше 15 лет, как в Камбодже, как во Вьетнаме. Основная политическая линия вьетнамских коммунистов состоит в том, что все население Юга прогнило, за исключением детей младше 15 лет, поскольку их сознательная жизнь началась примерно в момент взятия власти коммунистами. Так что критике следует подвергнуть не права человека, а вот эту идею строительства нового мира начиная с нуля. Потому-то я и говорю: я не очень-то знаю, что такое права человека — стратегия или тактика, это вопрос чисто словарный, но это принцип самозащиты населения против властей, которые всегда рискуют совершать злоупотребления и часто их совершают. И лучшего принципа самозащиты не найдено. Конечно, он формален, но это ничто в сравнении с формальностью созидания нового мира.

Вопрос. Сейчас в защите прав человека и, в особенности, в защите индокитайских беженцев мы видим эволюцию бывших маоистов в некоей кульминационной точке. Например, в первом номере норвежского «Континента» («Континент-Скандинавия») напечатан разговор на эту тему между тобой и Даниэлем Кон-Бендитом после твоей поездки на остров Пуло-Бидонг. Бывшая маоистка Клоди Бруайель — председатель комитета «Корабль для Вьетнама». Правильно ли будет понять, что экс-маоисты приняли

дело защиты индокитайских беженцев, беженцев из этого района, с которым прошлое маоистов так тесно связано... (Глюксман: ...беженцев от коммунистов...) ... как *свою* проблему?

Ответ. Тут можно многое ответить — и многое следует уточнить. Во-первых, когда говоришь о бывших маоистах, надо ставить целый ряд разнообразных кавычек. Маоисты никогда не были единой партией. Например, я не был в той организации, где были Бруайели, мы никогда не были знакомы, и первый раз, что я встретил Клоди, — это когда она пришла меня поддержать в то время, как на меня нападали из-за Солженицына. Эволюцию люди тоже проходят по-разному, и если взять опять-таки Бруайелей, Кон-Бендита, меня, мы и сейчас далеко не во всем согласны, но мы согласны в том, что представляется исключительно важным.

Однако мы видим вокруг проблемы беженцев нечто гораздо более важное: взаимодействие людей не только нашего поколения, с нашим прошлым. Поворот произошел на уровне всей французской интеллигенции, всего, что в ней есть значительного. Под призывом комитета «Корабль для Вьетнама» поставили подписи Жан-Поль Сартр и Раймон Арон. Они вместе участвовали в пресс-конференции комитета, и это была их первая встреча с 1945 года. Оба они были в делегации комитета, отправившейся на прием к Президенту с требованием, чтобы Франция дала 45 тысяч виз для беженцев, гибнущих в Южнокитайском море. Так что, я думаю, здесь не просто эволюция нашего поколения, но некое новое положение в мире.

С тех пор, как формально кончилась холодная война и наступило «мирное сосуществование», велось никогда ранее не виданное количество войн, уничтожалось невероятное число людей, Камбоджа и Экваториальная Гвинея приблизились к гитлеровским ре-

кордам*. И что же можно заметить? Что противники не так далеки друг от друга, как это казалось. Как раз ситуация беженцев дает особенно поразительный пример. Сравните: во время холодной войны, когда миллионы жителей Восточной Германии ногами голосовали за свободу и переходили на Запад, Берлинская стена была воздвигнута с одной стороны, с восточно-германской, чтобы помешать побегам. То, что происходит в настоящее время с Индокитаем, куда страшнее: воздвигается стена из трупов, и частично она по-прежнему воздвигается вьетнамцами, ибо нет никакого резона людям бежать в таких условиях, когда заведомо известно, что каждый второй рискует погибнуть, нет никакого резона пускаться в такой побег, кроме одного: нет иного способа отъезда, а внутри страны — ничего, кроме жуткого угнетения. Да, в каком-то смысле стена воздвигается самими вьетнамцами, которые рискуют точно так же, как сегодняшние немцы идут на риск быть подстреленными ГДРовской «народной полицией» при попытке прыжка через стену. Но сейчас стена воздвигается и с другой стороны, поскольку антикоммунистические державы, расположенные вокруг Вьетнама: Таиланд, Малазия, Индонезия, Филиппины, даже Гонконг, — отказываются принимать беженцев. Так что нынешнее положение гораздо хуже, чем во времена холодной войны: вообразим себе, что ФРГ выталкивает обратно беженцев из ГДР и принимается сооружать вторую стену, параллельную первой, не менее страшную, расстреливая всех, кто приблизится к этой стене. Вот какова индокитайская ситуация. Более того, не только страны Юго-Восточной Азии, будь они коммунисти-

* В то время, как этот номер находился в печати, «марксистско-ленинский» режим Масиаса в Экваториальной Гвинее был свергнут. По предварительным данным, за время его существования было уничтожено не менее 50 тыс. человек — в стране с населением в 350 тысяч. — Прим. ред.

ческие или антикоммунистические, участвуют в воздвижении этой стены, но и Запад, богатые страны Европы и Америки, потому что если беженские лагеря в Малазии и Таиланде переполняются и эти страны отталкивают новых беженцев, то это потому, что США, Франция и другие страны не принимают достаточно беженцев.

Вопрос. Быть может, особенно другие страны? Ведь США и Франция все-таки принимают больше беженцев, чем остальные...

Ответ. Да, если сравнить. Конечно, если вспомнить, что Западная Германия приняла 4000 индокитайских беженцев с 1975 года, — это смехотворно и постыдно. Тем не менее, даже если Франция, США и, конечно, Австралия принимают пропорционально к населению гораздо больше беженцев, чем остальные, усилие, которое они в это вкладывают, явно недостаточно. И это я считаю принципиальной характеристикой новой ситуации, ситуации «после холодной войны», но и «после мирного сосуществования», ситуации, в которой против беженцев, против людей, рискующих своей жизнью ради того, чтобы жить согласно своим убеждениям, своим идеям, да просто чтобы *жить*, — против них вступают в коалицию — более или менее тесную, но в коалицию — государства всего мира...

Вопрос. Мы говорим, в общем, о двух вещах: о влиянии диссидентства на Запад и о сегодняшней помощи беженцам, притом с парадоксальным ощущением связанности этих двух тем. Что ты сказал бы об этом?

Ответ. Прежде всего надо сказать — и в этом нет ничего парадоксального, — что первым, кто говорил о вьетнамском ГУЛаге, был Солженицын — он говорил об этом еще до падения Сайгона. В то время к этому не отнеслись всерьез, большинство левых не хотело этого слышать, я считал, что это вполне возможно, но все-таки надеялся, что они до этого не до-

шли и что Солженицын ошибается. Следующим, кто обратил мое внимание на эту проблему, был Буковский — он предложил мне отправиться в тогда еще первые беженские лагеря в Таиланде и встретиться с беженцами. Так что именно советские диссиденты обратили внимание европейцев на индокитайских беженцев. В конце концов, советские диссиденты были и у самых истоков создания комитета «Корабль для Вьетнама». Так что это не случайность, что вторыми в дело защиты беженцев вступили именно друзья диссидентов, но вторыми, а не первыми, потому что диссиденты уже говорили об этом.

Вопрос. В связи с этим припоминается такой вопрос, заданный нам нашими кубинскими друзьями. Этой весной мы встречались с кубинцами, с недавними политзаключенными, и они спросили: почему такая разница между Францией и США, почему Франция так сильно пережила то, что здесь называют «солженицынский шок», переживает влияние диссидентства, а в США все это имело гораздо меньше отклика? Кто-то из нас ответил примерно то, что ты говорил об опыте сталинизма во Франции, о том, что французы хорошо знакомы с реальной властью коммунистической партии в муниципалитетах, в системе образования и т. п. Но вот и сейчас мы видим, что во Франции деятельность в пользу индокитайских беженцев находит огромную поддержку среди населения, в то время как — ты, наверное, знаешь — такие люди, как Джоан Базз, Аллен Гинзберг и другие, выступавшие в свое время против вьетнамской войны, выступив сейчас за дело беженцев, оказались в изоляции от своих прежних друзей, не нашли этой поддержки. Как ты объясняешь это?

Ответ. Я воздержусь от более широкого объяснения, потому что я плохо знаю США. Все, что я могу отметить, — это то, что США не имели прямого опыта марксизма, опыта на уровне организации, пусть хотя бы социал-демократической, поэтому, я думаю,

они стоят на пути к тому, чтобы проделать весь тот опыт, на который французы затратили столетие, все ступени этого опыта одновременно. Кроме того, всего лишь 15-20 лет, как американцы начали приобретать опыт угрозы национальному существованию — этого опыта они прежде тоже не имели.

Джейн Фонда, поддерживавшая антиколониальную борьбу вьетнамцев, в которой коммунисты сыграли роль зодчих нового колониализма (разрушив старый), не хочет подвергнуть сомнению свое собственное прошлое. Напротив, Джоан Базз подвергает его сомнению, но ей это сделать легче, потому что она еще во время борьбы против вьетнамской войны стояла на позициях ненасилия. В конце концов, то же самое и в Европе: те, кто мыслит более свободно, свободнее подвергают себя пересмотру и понимают, что происходит, чем те, кто исполнен духа ветеранов, т. е. те, кто в прошлом был сильнее «ангажирован».

Если мы хотим продолжать наше гуманитарное движение, мы должны сделать выбор между воинственностью и человечностью. Конечно, до 75-го года нам было проще, мы говорили: мы за человечность, мы против бомбежки детей, а значит — за Хо Ши Мина. Эта путаница не была еще тогда настолько опровергнута фактами, хотя и те факты, что были известны, могли бы заставить нас раскрыть глаза. Но больше такая путаница невозможна, надо выбирать между правами человека и духом воинственности. Поэтому речь идет не столько о том, чтобы подвергнуть сомнению или отвергнуть свое прошлое, отвергнуть *все* свое прошлое, поставить *все* под вопрос, но о том, чтобы раздробить это прошлое, увидеть, что в нем было хорошего, что плохого, отделить дух прав человека от воинствующего духа, отвергнуть этот последний и сохранить дух прав человека, извлечь его из дурного, нередко марксистского соуса тех времен. И эта работа — раздробить свое прошлое, как скульп-

тор, раскалывающий свое старье, как дробильщик камней, — эта работа всегда мучительна, и даже такие мыслители, как Хомский, отшатываются перед ее трудностями.

Вопрос. Последний вопрос у нас традиционный: что ты хотел бы сказать читателям «Континента»? Мы хотели бы подчеркнуть, что речь идет, прежде всего, о возможности обратиться к тем, кто живет «там», в Советском Союзе, в Восточной Европе.

Ответ. Мне хотелось бы сказать, что не надо на нас рассчитывать и что беженец на своей утлой лодке посреди океана — это истина сегодняшнего положения. Действительно, вся интеллигенция расшевелилась, взволновалось огромное количество простых людей, большинство французского населения, — всех беспокоит судьба беженцев. Никогда не было собрано столько денег, никогда не было такого волнения в населении, несмотря даже на летние отпуска. И что же? Все достижения — это один частный корабль в Южно-китайском море, к которому по прошествии полугода присоединился еще норвежский корабль, способный спасти примерно полторы тысячи человек, и итальянский корабль с двумя катерами, способный спасти еще около тысячи человек. Нельзя сказать, что нет вовсе результата от западного движения протеста, но результат этот наступает медленно, он хрупок и, в конце концов, вызывает отчаяние в сравнении с тем, что происходит: на глазах у всего мира, снятые телевизионными камерами, на телеэкранах в каждом доме, — мы видим всё, нет никакой цензуры, все видят, и все знают, — тонут люди. Поэтому не надо слушать Запад, например, когда главы государств или религий склоняются в Освенциме, чтобы сказать: это никогда не повторится. Потому что когда Освенцим действовал, тогдашние главы государств прекрасно знали, что там творится, тогдашний Папа знал, что там творится, и они молчали. Так и сейчас: даже население знает,

что творится в Южнокитайском море или в джунглях на границе Камбоджи и Таиланда, люди жаждут что-то сделать, посылают деньги, но у государств эгоистические заботы, их проблема № 1 — не спасать тонущих в океане, а найти бензин, сделать все возможное, чтобы найти бензин. Так что таково состояние современного мира, и не надо строить иллюзий. В конце концов, желая стать свободным, не стоит рассчитывать на других.

Немецкое Общество Защиты Прав Человека

Общество

- поддерживает людей, борющихся в тоталитарных странах за осуществление принципов Всеобщей декларации прав человека.
- оказывает материальную и правовую помощь людям, лишенным свободы за их религиозные, общественные или политические убеждения.
- посредством различных публикаций информирует общественность Федеративной Республики Германии, Австрии и Швейцарии о борьбе за гражданские права в тоталитарных странах. Периодически публикует материалы САМИЗДАТА.

Председатель Общества защиты прав человека
Проф. Хельмут Ницше
зам. пред. И. Агзузов

*Наш адрес: Gesellschaft für Menschenrechte e. V.
Kaiser Str. 40
Postfach 2965
6000 Frankfurt/M 1
Telefon: (0611) 23 69 71
Bundesrepublik Deutschland*

ВЕСТНИК РХД № 128

От редакции: К преодолению кризиса (Письмо членам Движения) — прот. А. Шмеман.

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Из духовных бесед — Преп. Макарий Египетский.

Софиология смерти (окончание) — о. Сергей Булгаков.

Размышления о Ниле Сорском — А. П. Первушин.

Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви — Николай Герасимов.

• Православие на Западе

Радость — прот. А. Шмеман.

О создании духовного и культурного центра в Монжероне — Н. Струве.

Памяти архимандрита Иустина Поповича — Иоанн Бесс.

• Христианство на Западе

Новые семена созерцания — Томас Мертон.

Письмо москвичам (В защиту христианского гуманизма) — Ю. Иваск.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Стихи — Ю. Кублановский.

Стихи — Ю. Вознесенская.

Глава из узла 2. «Октябрь шестнадцатого» — А. Солженицын.

Из неизданных писем Марины Цветаевой.

Память и «Память» — М. Геллер.

«История либерализма в России» В. Леоновича — И. Иловайская.

СУДЬБЫ РОССИИ

• Пути духовного возрождения

Защита канонов православия. 1922 — 1925 — К. Криптон.

Единственная встреча — Н. Шеметов.

• Вопросы общественности

Стороны в гражданской войне 1917 — 1922 гг. — М. Бернштам.

О Гарвардской речи А. Солженицына — В. Тростников.

Отклики на Гарвардскую речь А. Солженицына в США.

• «Вестник» читают в России

Письмо из Москвы — А. Н.

*Подписка и заказы на отдельные номера принимаются по адресу:
A.C.E.R., 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, France и в магазине
«Les Éditeurs Réunis», 11 rue de la Montagne-Ste-Généviève, 75005 Paris,
France.*

Цена отдельного номера — 35 фр.

Стоимость подписки на год (4 номера) — 120 фр.;

с целью поддержки — 200 фр.

Специальное приложение

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГАРМОНИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

1

Думаю, что для многих моих соотечественников «Письмо вождям» Александра Солженицына послужило толчком к размышлениям о будущем нашей страны, о ее общественном и политическом устройстве, о ее роли и судьбе среди других народов. Не будучи ни философом, ни политологом, я, тем не менее, не избежал общей тенденции сделать собственные выводы из проблемы, поставленной перед нами большим русским прозаиком и мыслителем.

В самом деле, занятые борьбой за Права Человека, критикой коммунистической системы как таковой, распространением идей и информации, многие из нас не отдают себе отчета (или откладывают это на неясное «потом») в том, какой же видится нам предстоящая Россия во всех конкретных областях своей жизни: в государственной, экономической и духовной? Чаще всего в ответ на этот вопрос мы отделиваемся весьма расплывчатыми декларациями в духе западной демократии.

Но большинство из нас (я имею в виду прежде всего эмиграцию) сумело убедиться, что демократия в ее традиционном понимании начинает медленно, но верно изживать самое себя. Лучший пример тому — итальянская ситуация, когда в результате крайней поляризации сил ни одна партия не в состоянии создать сколько-нибудь устойчивое правительство. В итоге в стране царит атмосфера холодной (иногда переходящей в горячую) гражданской войны, а экономика держится на иностранных займах.

В других странах Запада дело обстоит не многим лучше. Особенности сложившейся избирательной практики позволяют ловким и беспринципным демагогам с помощью промышленной и финансовой олигархии выплывать на самую поверхность общественного бытия и безраздельно контролировать все сферы его жизнедеятельности. Взять хотя бы, к примеру, США, где даже для кампании за выдвижение какой-нибудь кандидатуры в конгресс или сенат требуются весьма и весьма солидные средства, а на кампании президентские тратятся суммы буквально астрономические.

При таких условиях трудно ожидать, чтобы в руководство страной попадали если и не лучшие из лучших, то хотя бы достойные из достойных. В результате, у кормила правления западным миром (за редчайшими исключениями) оказались сегодня в лучшем случае партийные посредственности, а в худшем — политические оппортунисты или беспринципные торгаши, не только охотно идущие на сговор с тоталитарным молохом, но и зачастую готовые в любую минуту присоединить свои страны к «великому восточному соседу» в качестве какой-нибудь «надцатой» республики.

Возьмем ли мы на себя ответственность (даже мысленно!) обресть будущую Россию на ту же судьбу и, после стольких лет безвинной крови, беспримерных страданий, удушающей лжи вновь оказаться в атмосфере духовного распада, у порога пустующих храмов, перед новым и уже необратимым вырождением?

Но есть ли выход из тупиковой дилеммы: западная демократия или восточный тоталитаризм?

Я попробую пойти наощупь, почти вслепую...

2

Со времен отмены крепостного права крестьянская община становится фундаментальной единицей нашего бытия. На ней — этой общине, — словно опро-

кинутая острием вниз пирамида, держалась послереформенная Россия вместе с ее институтами, экономикой, традициями и верованиями. Именно в ней — в этой общине — исподволь, из года в год, и вырабатывался прообраз подлинной русской демократии. Но, к сожалению, государственная структура, законодательным порядком изменив положение народа, сама по себе оказалась не в состоянии соответствовать этим изменениям и вошла в вопиющее противоречие с собственной быстротекущей действительностью, чему в немалой степени способствовала разрушительная деятельность так называемой прогрессивно мыслящей части российского общества, вызвавшая естественную реакцию самозащиты со стороны правительственного аппарата.

В последовавшем затем бессмысленном и почти непрерывном противоборстве этих двух сил, словно на поле битвы, и была растоптана почва, на которой зарождались тогда первые побег будущей демократической России. Чем это кончилось, общеизвестно.

Но что, если, расчистив от ядовитых зарослей идеологии эту почвенную основу, вновь вернуться — на современном, разумеется, уровне — к тем исконно демократическим устоям нашей жизни, какие, не успев окрепнуть, были задавлены кровавыми глыбами последующих лихолетий?

Попробуем пофантазировать.

3

ОБЩЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

1. Взяв за основу уже существовавшее административно-территориальное деление страны, повсеместно образовать городские и сельские общины.

2. Каждая такая община является самоуправляемой и пользуется максимально возможной автономией в решении своих внутренних проблем.

3. Каждая такая община на основе всеобщего, тайного и ничем не ограниченного избирательного права выдвигает своего кандидата в коллегию выборщиков района, в состав которого она — эта община — входит.

4. Районный совет выборщиков, также путем тайного голосования, отбирает кандидатов в коллегию областных представителей, а те, в свою очередь, определяют членов Нижней палаты Учредительного собрания, являющегося высшим органом власти страны, выделяющим из своего состава Президента, Правительство и Верховный суд Российской Федеративной Земли.

Первое заседание Учредительного собрания ответственно решает, какую форму правления оно считает наилучшей в сложившейся ситуации (республика, авторитарная федерация или конституционная монархия).

(Подобная система позволяет, на мой взгляд, довести нарушения избирательного права до минимума и в то же время максимально приближает голосующего к своему избраннику, сокращая ставший уже традиционным в западной демократии разрыв между народом и властью.)

ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА

1. Верхнюю палату Учредительного собрания составляют представители национальностей, входящих или изъявивших добровольное желание войти в состав нового государства с равным количеством депутатов от каждого народа вне зависимости от его численности.

2. Верхняя палата принимает участие в голосовании по основополагающим государственным актам в

составе Учредительного собрания в целом и обладает правом «вето» на любой законопроект по национальным вопросам.

3. Выборы в Верхнюю палату — исключительная привилегия каждого входящего в состав Р.Ф.З. народа или национальности в отдельности.

4. Президент, Правительство и Верховный суд подотчетны только Учредительному собранию как суверенному представителю всего народа.

5. Вопросы, от которых зависит судьба государственной системы или общественного устройства, а также проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности общества и не терпящие отлагательства, решаются в ходе всенародных референдумов, на основе всеобщего, тайного и ничем не ограниченного голосования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

1. Россия — страна, в строительстве и становлении которой приняли самое активное участие многие народы и народности. Исходя из этого, будущее русское государство наделяет каждого своего гражданина, вне зависимости от политической, национальной или религиозной принадлежности, равными правами и обязанностями.

2. Всякий народ, входящий или пожелавший войти в состав Российской Федеративной Земли, имеет неотъемлемое право на свое самобытное национальное, культурное и религиозное развитие и сам определяет, какой язык является для него главенствующим.

3. Всякая дискриминация гражданина Р.Ф.З. по национальному, политическому или религиозному признаку является тягчайшим преступлением перед обществом.

ПРАВО

1. Будущая конституция Российской Федеративной Земли в своих принципиальных положениях должна исходить из Декларации Прав Человека, принятой Организацией Объединенных Наций.

2. Взяв за основу уже имеющееся законодательство и очистив его от внеюридических толкований и идеологических оговорок, вернуть ему — этому законодательству — подлинное правовое содержание.

3. Из существующего законодательства необходимо исключить лишь понятие «политическое преступление», ибо на территории Российской Федеративной Земли каждый гражданин имеет неотъемлемое право на любые взгляды, верования и доктрины, кроме тех, что исповедуют насилие или террор во всех их формах, а также **расовое, классовое или религиозное превосходство**, каковые должны подлежать **уголовному преследованию**.

4. Учитывая огромные разрушительные возможности средств массовой информации, должны быть также, по всей видимости, разработаны суровые меры против диффамации, дабы оградить общество от целенаправленного «промыывания мозгов», ибо полная свобода печати подразумевает также и полную ответственность перед обществом и каждой личностью в отдельности.

ЭКОНОМИКА

1. Экономическая система будущей федерации также, на мой взгляд, может отталкиваться от интересов и потребностей общины, группы общин, объединения общин и так, по восходящей, определить экономическую структуру государства в целом.

2. В стране была бы желательна свободная рыночная система, при строжайшем запрете крупных

картелей, трестов и монополий и всеобъемлющем контроле со стороны общества.

3. Не менее желательным было бы максимальное ограничение иностранных инвестиций и участия иностранных подданных в экономике страны, чтобы оградить ее от поглощения международными капиталовложениями.

(Участие иностранных финансов в отечественной экономике ни в коем случае не может решаться исполнительными органами без санкции законодательной власти в каждом отдельном случае.)

ЦЕРКОВЬ

1. Россия — страна традиционно православная. Роль Церкви у нас во все времена далеко выходила за пределы церковной ограды, куда ее загнала безбожная коммунистическая власть. В последние годы Церковь вновь медленно, но уверенно берет на себя пастырские обязанности по руководству и расширению возникающего сегодня в стране религиозного Возрождения, поэтому и значение ее для будущего России трудно переоценить.

2. Отделенная от Государства, Православная Церковь, тем не менее, должна принять самое активное участие не только в просвещении и воспитании общества, но и в его политической жизни наравне со всеми другими институтами Государства.

3. Богословие становится, хотя и факультативным, но равным с другими предметом в школьных и университетских программах.

4. То же самое относится и ко всем другим религиям, исповедуемым на территории Российской Федеративной Земли.

ПРАВА ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ

1. Такие меньшинства образуются в каждом обществе, каким бы совершенным оно ни было. Это обусловлено целым рядом социальных, духовных и психобиологических причин, заложенных в глубинах самой человеческой природы.

2. Общество, хочет оно того или не хочет, должно считаться с наличием подобного рода групп и отдельных личностей и, по мере возможности, обеспечить этим группам и лицам легальные возможности для гражданского и человеческого самоутверждения.

Прежде всего каждой такой группе и личности необходимо обеспечить максимальную гласность через обязательное создание специальных программ и отделов в средствах массовой информации и наделения этих групп правом внепарламентского представительства в Учредительном собрании, с привилегией совещательного голоса при обсуждении любых законодательных актов.

Все эти меры, на мой взгляд, если и не снимут проблемы в целом, то, во всяком случае, уменьшат опасность возникновения в обществе экстремистских тенденций.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Социальную заботу о каждой отдельной личности обязана взять на себя община, к которой она — эта личность — приписана в период старости, безработицы или болезни. Размер такого обеспечения целиком зависит не только от вклада личности в общественные фонды и ее действительных потребностей, но и от реальных возможностей данной общины.

2. Бюджет больничных и пенсионных фондов складывается из поступлений от местных налогов

(прямых и косвенных), благотворительных пожертвований и добровольных самообложений и контролируется самоуправлением общины, без всякого вмешательства со стороны Государства.

(Эта система, на мой взгляд, почти полностью исключает злоупотребления и обезличку, свойственную централизованному страхованию, и предупреждает зарождение новой социальной прослойки — паразитов, живущих за общественный счет.)

3. В централизованном порядке финансируется лишь сеть воспитательных и просветительных учреждений, что не исключает активного существования частных учреждений того же профиля на средства местных самоуправлений и отдельных лиц.

КУЛЬТУРА

1. В этой области была бы желательна максимальная децентрализация, с тем чтобы исключить возможность контроля, цензуры и любого другого вида вмешательства со стороны Государства.

2. Печать, искусство и литература функционируют в обществе на основе полной индивидуальной свободы или творческих групп, беспрепятственно объединенных по политическому, эстетическому или национальному признаку.

3. Безусловному запрету подлежит лишь пропаганда (в любой форме) расовой, классовой, религиозной и национальной розни, а также порнографии. Контроль за выполнением этого условия является исключительной прерогативой местных общин и самоуправлений. Государство может играть здесь только арбитражную роль.

ПАРТИИ И ПРОФСОЮЗЫ

1. Последние функционируют только в пределах общины, ни в коем случае не образуя централизованной структуры, дабы избежать их превращения в государство в государстве, способное парализовать жизнедеятельность общества в целом.

2. Высшей инстанцией в разрешении политических и трудовых конфликтов являются местные арбитражные суды, решение которых является окончательным и обжалованию не подлежит.

ГОСУДАРСТВО

1. Государство, контролируемое Учредительным собранием, сохраняет за собой монополию в области обороны, иностранных дел, общего бюджета и природных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, мои, сугубо личные и, если так можно выразиться, любительские предложения ни в коей мере не претендуют на универсальность, но, может быть, и они смогут когда-нибудь сослужить свою скромную службу грядущим нашим законодателям в качестве одного из множества подсобных документов или за частую весьма, с научной точки зрения, наивных свидетельств переживаемого нами смутного времени.

Но, сознавая это, я всё же беру на себя смелость с уверенностью повторить в заключение, что демократия западного типа, при всех ее несомненных достоинствах, дотягивает свой век, и, во всяком случае, едва

ли приемлема для обществ, переживающих сейчас соблазн и тернии коммунистического тоталитаризма.

9. 8. 79

От редакции: Статья является *проектом* программного документа нашего журнала и публикуется в порядке дискуссии.

ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДА

Настоящее время с полной ясностью говорит нам о реальности религиозного возрождения в России. Кризис государственной культуры и вяние нового духа молодежи явились определяющими событиями нашей жизни, которые постепенно подвигли Россию на путь религиозного возрождения. Духовное бесплодие и скудость чувств официальной жизни убивали всё живое — жить дальше в бессмысленной пустоте дней было невозможно, поэтому религиозные поиски и попытки осмыслить свое существование и существование своего народа стали для многих насущной потребностью их жизни. Но в нашей жизни нас лишили свободы. Всё то, что мыслилось каждым из нас как естественное право, позволявшее ему называться высоким именем человека, оказалось попраным, смятым, раздавленным. Нам отказывали в нашем единственном имени, предоставляя на выбор множество других и, пытаясь втиснуть нас в заранее очерченные схемы своих планов, за нас определяли пути нашего становления. Государство добилось регламентировать всё, в том числе и духовные запросы каждого. Оставалось заставить нас дышать по указке. Но сохраняя в себе иной образ, будучи связан с миром более глубокими, онтологическими корнями, человек преодолевает духовную смерть и возрождается к иной жизни, восставшим и освобожденным духом, животворя лежащий вокруг него мир. Это рождение и это становление человека не может быть радостным для тех, от чьей удушающей опеки он освобождается. Вполне понятными из этого оказываются страх и ненависть определенных органов в стране к возникшему движению: предчувствие грозности и глубины нарождающихся событий, ощущение их неотвратимости вызывает последний и отчаянный шаг в борьбе против человека —

уничтожение человека. Тогда всем становится видно настоящее лицо их, и на словах обещаема свобода на деле превращается в попытку уничтожения любых проявлений инакомыслия.

10-го января 1979 г. советским судом вынесен приговор Александру Огородникову, являющемуся одним из зачинателей системы религиозно-философских семинаров в стране. При отсутствии других возможностей религиозно-философские семинары стали одной из форм религиозной жизни молодежи, пытающейся сквозь ложь и бездушие, отчаяние и бесчеловечность нашего мира взойти к иным ценностям истины, красоты и добра, не разменивая и не продавая их каждым мгновением своей жизни, но заново открывая их себе и миру. Так возник в 1974 году религиозно-философский семинар, основателем которого явился Александр Огородников.

А около пяти лет, предшествующих семинару, прошло в духовных поисках и поисках единения молодежи. Всякий раз эти попытки оборачивались для Александра Огородникова изгнанием из института, в котором он в данный момент учился: московский университет, уральский университет и, наконец, ВГИК (институт кинематографии), где после просмотра фильма Пазолини «Евангелие от Матфея» рождаются его первые религиозные искания. Здесь, как и прежде у нас, обращение к молодежи, привнесение в её мир иных ценностей, отличных от установленных государством, вызывает тревогу государства. Во время обыска у Огородникова была изъята большая часть материалов к фильму о молодежи, над которым он работал со своими друзьями. После всех поисков и возникает, наконец, идея религиозно-философского семинара, как идея создания новой формы жизни. Семинар задумывается как определенная форма отношения к миру и определения себя в мире, как звено в попытке соединения внутри себя мира и Церкви, взаимно отринувших друг

друга. И характерной чертой этого соединения является глубокая личная причастность происходящему, когда боль взыскующего мира чувствуется как своя боль и трагедия оторванности мира и Церкви определяется как собственная трагедия, к чему добавляется присущая нашей жизни черта — оставленность своего народа Церковью Русской.

В 1978 году семинар с расширением своей деятельности вырастает в Семинар по проблемам религиозного Возрождения. Всё время своего существования Семинар находится под пристальным наблюдением органов КГБ, единственной целью и желанием которых является уничтожение семинара. Четыре года непрерывных гонений: от административных преследований до уголовных, — вот что сопровождает нашу жизнь. Последний год стал годом наибольшей активности КГБ: увольнения, обыски, допросы шли из месяца в месяц. И, наконец, как итог и заключительный момент этих действий, — арест и осуждение Александра Огородникова. Год заключения ему назначено отбывать в Хабаровском крае (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п/л ЯБ — 257/7, 13 отряд), где (около 10 тысяч км. от Москвы), как нам стало известно, ему реально угрожает увеличение срока заключения.

Мы считаем, что единственной причиной осуждения является нетерпимость органов государственной власти к проявлению религиозных убеждений Александра Огородникова, какими статьями закона ни руководствовались бы судьи при вынесении приговора: в этом случае система прав и обязанностей человека служит лишь средством последовательно применяемых карательных мер. Мы создаем приговор Александру Огородникову как репрессивную меру, направленную на уничтожение семинара, и как очередное преступление в ряду действий, направленных против религиозного движения в целом. Мы заявляем, что не-

смотря на всё это, семинар будет продолжать начатое дело, каким бы жестоким и бесчеловечным преследованиям оно ни подвергалось.

В христианской молодежи Запада мы видим ту реальную силу, которая может помочь нам в нашей защите. Не отдельно осознаем мы себя от других, но в единстве Тела Христова, где каждый член его непосредственно связан с другими членами, и болезнь любого из них становится заботой остальных, как бы освобождалось тело от преград на пути своего преобразования. Чувствуя себя в единстве со всеми христианами и как дети одного Отца, мы обращаемся к своим братьям с просьбой о помощи.

Члены Христианского Семинара по проблемам религиозного Возрождения:

Владимир Пореш, Виктор Попков

Владимир Бурцев, Лев Регельсон

Татьяна Щипкова, Александр Щипков

К ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СССР И ЗА РУБЕЖОМ

В январе 1979 г. был арестован 19-летний Сергей Ермолаев вместе со своим другом Игорем Поляковым. Сергей Ермолаев принимал участие в работе Христианского Семинара по проблемам религиозного Возрождения и одновременно участвовал в правозащитном движении. Молодым людям предъявлено обвинение в том, что они, находясь в нетрезвом состоянии в вагоне метро, высказывали критические замечания в адрес КПСС. Это действие квалифицировано как злостное хулиганство, которое, в соответствии с советским законом, карается несколькими годами заключения. Сейчас получены сведения, что Сергею Ермолаеву угрожает еще худшее: принудительное заключение в пси-

хиатрической лечебнице. Мы убеждены в том, что одной из действительных причин для преследования Сергея Ермолаева послужило его участие в работе нашего Семинара.

Поскольку мы не можем надеяться на справедливость советского закона, который используется в целях идеологической борьбы, то единственная наша надежда на помощь Божию и на братскую поддержку христианской общественности.

Члены Христианского Семинара по проблемам религиозного Возрождения:

*Владимир Пореш, Александр Щипков,
Виктор Попков, Лев Регельсон,
Татьяна Щипкова, Владимир Бурцев*

НЕКРОЛОГ

МАКС ХЕЙВАРД

18 марта в Оксфорде скончался выдающийся переводчик русской литературы XX-го века Макс Хейвард.

Хейвард родился в 1924 г. в рабочей семье в Лондоне; в 1946 окончил Оксфорд. С 1947 по 1949 занимал пост третьего секретаря британского посольства в Москве, с 1952 по 1955 возглавлял русскую кафедру в Лидском университете, после чего возвратился в Оксфорд, где вел научно-исследовательскую и преподавательскую работу в колледже Св. Антония, связь с которым он сохранил до конца своей жизни.

В 1969 г. Макс Хейвард стал одним из редакторов «Харвилл-Пресс», лондонского издательства, специализирующегося на переводной литературе, и в том же году — главным редактором Издательства им. Чехова* в Нью-Йорке, публикующего оригинальные произведения на русском языке.

В числе переведенных Хейвардом книг — произведения Бориса Пастернака, Александра Солженицына, Надежды Мандельштам, Исаака Бабеля, Евгении Гинзбург и других писателей послереволюционной эпохи. Кроме того, Хейвард принял участие в составлении и редактировании ряда художественных и литературоведческих книг, например — «Несогласные голоса в советской литературе» (совместно с Патрицией Блейк), «Советское государство против Абрама Терца и Николая Аржака», том стихотворений Андрея Вознесенского «Ностальгия по настоящему» (1978 г., совместно с Верой Данхэм).

* «Хроника защиты прав в СССР», № 32. Издательство «Хроника» основано в 1973 г. как филиал Издательства им. Чехова.

Оригинальные критические работы Хейварда (статьи, рецензии, предисловия) отличаются знанием русской литературы и советской действительности, глубиной и высокой литературной профессиональностью.

Сознавая всю ответственность, возлагаемую на него положением одного из «блюстителей русской литературы на Западе», Хейвард щедро и бескорыстно делился своими знаниями и редким лингвистическим даром с коллегами и со всеми, кто интересовался русскими проблемами, оказывая им моральную поддержку и практическую помощь.

Многое в личности Макса Хейварда роднило его с его любимым автором — Борисом Пастернаком. Среди прочего — любовь к югу (у Пастернака — к Грузии, у Хейварда — к Греции). И оба они последние годы своей жизни прожили и умерли в более суровом и обжигающем климате севера. Обоим был чужд фанатизм в любых его проявлениях. Оба противопоставляли идеологии европейскую культуру и человеческую порядочность — ценности, которые они отстаивали с упорством и страстью.

Макс Хейвард с глубоким сочувствием наблюдал за развитием правозащитного движения в СССР, встречался с покинувшими СССР инакомыслящими, оказывал им поддержку.

Он придавал большое значение развитию правосознания в России. Вот что писал он в предисловии к книге Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь»:

Россия издавна славится отсутствием правосознания, однако в 19-м веке появляется тенденция — даже в низовых слоях населения — роста уважения к закону. Ныне же появились признаки — одним из них является, в частности, книга Амальрика — того, что эта тенденция после десятилетий беззакония постепенно начинает заявлять о себе вновь. Пример Югославии, которая в своем развитии отошла дальше других от «чистого» тоталитаризма, показывает,

что прогресс в сторону государственного управления на основе законности возможен без радикального изменения политической структуры. Русская история 19-го века и начала 20-го (а теперь и постсталинского периода) свидетельствует о том, что исходящая из потребности в стабильности (в которой в конечном счете заинтересованы все) тяга общества к закону является единственным «естественным» анти-телом, какое способен выработать в себе общественный организм в борьбе с изнурительным недугом бюрократического беззакония. ...

Судя по продолжающимся арестам протестующих в Советском Союзе, нет признаков того, чтобы власти достаточно серьезно задумывались об этой проблеме. И, однако, есть существенное отличие от сталинских времен: они останавливаются перед тем, чтобы прибегнуть к огульному террору; наблюдающийся «бюрократический плюрализм» в какой-то мере уже сейчас приводит к относительной сдержанности, так, аресты находят нужным обосновывать формально, и желание соблюдать юридическую фикцию сейчас, пожалуй, явственнее, чем в эпоху Хрущева. Поэтому приходится признать, что призыв части советской интеллигенции к легалистическому прагматизму, который, возможно, соответствует исторической логике, не лишен основания.

Эдвард Клайн

Мы, правозащитники Польши и Советского Союза, объединенные общей борьбой за соблюдение Прав Человека, обращаемся к нашим чешским и словацким друзьям, ко всем людям доброй воли в наших странах и во всем мире, к правительствам и гражданам всех государств мира.

Мы призываем поднять голос в защиту чешских и словацких правозащитников, подписавших Хартию-77 и незаконно арестованных чехословацкими властями, — в защиту Ярмилы Беликовой, Вацлава Бенды, Отки Беднаржовой, Иржи Динстбира, Вацлава Гавела, Ладислава Лиса, Иржи Немеца и Даны Немцовой, Петра Угля, Ярослава Шабаты.

Мы уверены, что заключенные и преследуемые за провозглашение правды и защиту справедливости мужественные люди одержат победу над своими преследователями.

Мы верим, что идеи, за которые сейчас преследуют участников движения Хартии-77 и других защитников прав человека в Чехословакии, в Советском Союзе, в Польше и в других странах Восточной Европы, — что эти идеи победят и сблизят наши народы вопреки политике наших правительств. Мы уверены, что только под давлением мировой общественности наши чехословацкие друзья, арестованные в мае этого года, могут выйти на свободу. Сделаем же все возможное, чтобы сократить их пребывание в тюрьме, и будем верить, что в этом нам на помощь придут люди доброй воли всего мира.

31 июля 1979, Варшава — Москва

Комитет общественной самозащиты КОР: *Ежи Анджеевский, Станислав Баранчак, Конрад Белинский, Северин Блюмштайн, Богдан Борусевич, Анджей Целинский, Мирослав Хоецкий, Людвиг Кон, Ежи Фицовский, о. Збигнев Каминский, Веслав Кэнцик, Ян Келяновский, Лешек Колаковский, Анка Ковальская, Яцек Куронь, Эдвард Липинский, Ян Юзеф Липский, Ян Литынский, Антони Мацеревич, Адам Михник, Галина Миколайская, Петр Наимский, Ежи Новацкий, Войцех Онышкевич, Антоний Пайдак, Збигнев Ромашевский, Юзеф Рыбицкий, Юзеф Сренёвский, Анеля Стейнсбергова, Адам Щипёрский, Марья Восек, Генрик Вуец, о. Ян Зея.*

Члены московской Группы-Хельсинки: *Виктор Непелов, Татьяна Осипова, Мальва Ланда, Елена Боннэр, Юрий Ярым-Агаев, Наум Мейман, Софья Каллистратова. Ирина Жолковская, распорядитель Фонда помощи политзаключенным в СССР. Юрий Киселев, член Инициативной группы по защите прав инвалидов в СССР. Леонард Терновский, Вячеслав Бахмин, члены Рабочей комиссии по психиатрии. Георгий Владимов, писатель. Андрей Сахаров, Татьяна Великанова, Александр Лавут, Мария Петренко, Ирина Гривнина, Игорь Хохлушкин, Иван Ковалев, Нина Комарова, Владимир Малинкович.*

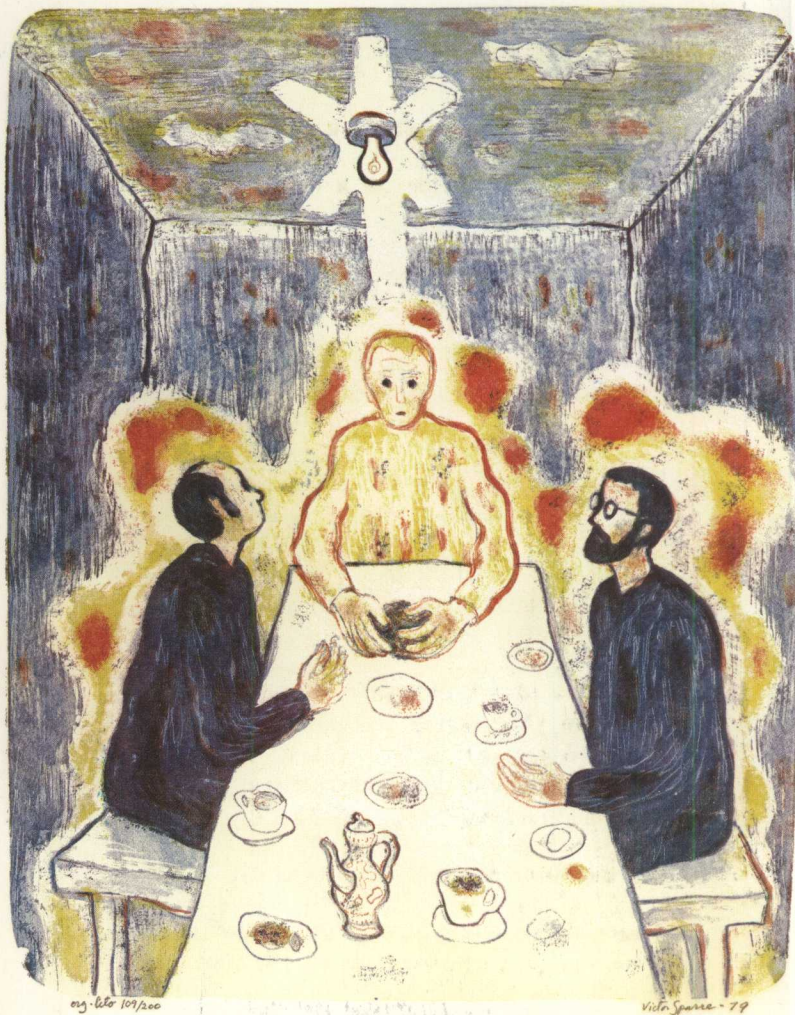
ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду трудностей коммуникации, польская и русская редакция текста, имея тот же смысл, не идентичны.



СПЕЦИАЛЬНАЯ АНКЕТА «КОНТИНЕНТА»

1. Ваше отношение к Западу в целом?
2. Каково ваше отношение к стране, в которой вы живете?
3. Ваша оценка демократической системы западного типа?
4. Считаете ли вы целесообразным перенесение этой системы на русскую почву в чистом, так сказать, виде?
5. Есть ли выход из дилеммы: западная демократия — восточный тоталитаризм?
6. Каким вы представляете будущее общественное и государственное устройство России или стран Восточной Европы?
7. Имеет ли право эмигрант, получивший политическое убежище в западном мире, на публичную оценку существующих здесь порядков и тенденции, даже если эти оценки носят крайне негативный характер?
8. Что означает для вас понятие «свобода»?

Редакция заранее благодарит своих авторов и читателей, которые откликнутся на эту анкету.



изд. № 109/200

Viktor Sparré - 79

Виктор Спарре. Александр Гинзбург и Анатолий Щаранский
в гостях у А. Д. Сахарова.